

ИЛЛЯ ЭРЕНБУРГ

Собрание
сочинений



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Редакционная коллегия

*Ф. Я. Прийма (главный редактор),
И. В. Абашидзе, Н. П. Бажан, В. Г. Базанов,
А. Н. Болдырев, П. У. Бровка, А. С. Бушмин,
Н. М. Грибачев, А. В. Западов, К. Ш. Кулиев,
Э. Б. Межелайтис, С. С. Наровчатов, В. О. Перцов,
Г. А. Рождественский], С. А. Рустам, А. А. Сурков,
Н. С. Тихонов, М. Т. Турсун-заде]*

—*—
*Большая серия
Второе издание*
—*—

С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Вступительная статья
С. С. Наровчатова

Составление
Б. М. Сарнова

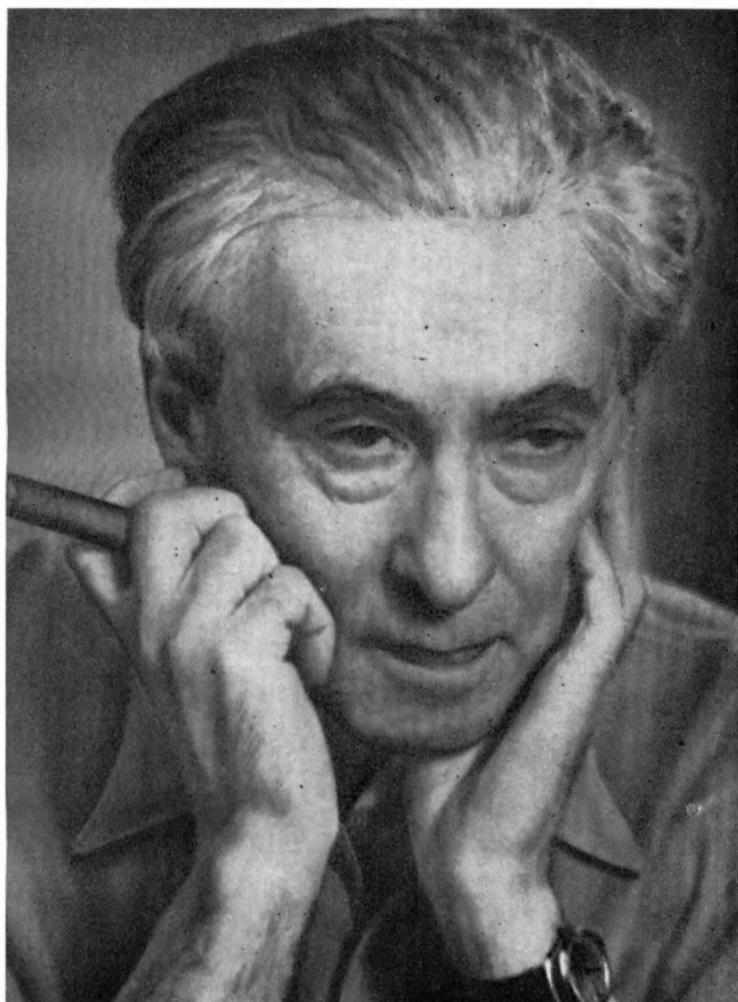
Подготовка текста и примечания
Н. Г. Захаренко

Проза и публицистика русского советского писателя и общественного деятеля Ильи Эренбурга (1891—1967) широко известны. Настоящее издание знакомит читателя с поэтическим наследием И. Эренбурга. В книге представлено лучшее и наиболее характерное из того, что он создал в поэзии на протяжении всей своей жизни, — от произведений, включенных в первые сборники (1910—1916), до впервые публикуемых стихотворений последних лет.

В книгу вошли оригинальные произведения И. Эренбурга — стихотворения, поэмы, драма в стихах, а также избранные переводы из французской, испанской и латиноамериканской поэзии.

При подготовке настоящего издания был использован архив писателя, материалы его личной библиотеки.

© Издательство «Советский писатель», 1977 г.



ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — ПОЭТ

1

Илья Эренбург вошел в наше сознание прежде всего как прозаик и публицист. Сравнительно узкий круг читателей знает его как поэта. Между тем при жизни писателя вышло в свет свыше двадцати сборников его стихотворений. В каждом из них, как правило, помещались только новые стихи. Сам Эренбург своему поэтическому творчеству придавал серьезное значение. Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что ощущал он себя больше поэтом, чем прозаиком. Люди, близко знавшие его, помнят, что лучшим путем к его сердцу было чтение стихов или разговор о поэзии.

Человек широчайшего кругозора, объездивший весь свет, встречавшийся со множеством людей, Илья Эренбург в своей поэзии отнюдь не ошеломляет читателя перечнем стран, имен, происшествий. Его стихи — большей частью — исповедь очевидца и участника событий. Таких событий немного, но каждое из них вбирает целую эпоху. Собственно говоря, это четыре войны: первая мировая, гражданская, испанская, вторая мировая. В этой трагичной последовательности тишина мирных передышек лишь подчеркивает громыханье военных колесниц. Постоянный мотив поэзии Эренбурга — сопоставление двух взаимоисключающих понятий — мира и войны. Соединяет их печальная нота разлуки.

Когда я был молод, была уж война,
Я жизнь свою прожил — и снова война.
Я всё же запомнил из жизни той громкой
Не музыку марша, не грозы, не бомбы,
А где-то в рыбацком селенье глухом

К скале прилепившийся маленький дом.
В том доме матрос расставался с хозяйкой,
И грустные руки метались, как чайки.
И годы, и годы мерещатся мне
Всё те же две тени на белой стене.

(«Когда я был молод, была уж война. . .»)

В событиях, определявших время, Илья Эренбург был действующим лицом, и это неизбежно должно было отразиться в его поэзии. И отразилось! Никогда он не скрывал своих пристрастий. Противник империалистической войны в первую мировую, яростный борец с фашизмом в испанскую и вторую мировую войны — таким выступает Илья Эренбург в разные годы своей жизни и творчества.

Эренбург — романист и публицист в известной мере заслонил Эренбурга-поэта. Между тем свой творческий путь он начинал именно со стихов. И первое осмысление жизни было у него поэтическим. Это обстоятельство надо все время иметь в виду. Далеко не случайно также, что наиболее зрелые стихи написаны им во второй половине жизни. Поэзия как бы обрамляет творчество писателя.

Исключения сплошь и рядом становятся в поэзии правилами. Обычно она считается занятием молодых, но вот тридцатилетний Уолт Уитмен выпускает «Листья травы», первую свою поэтическую книгу, принесшую ему мировую известность. Считается закономерным, что стихи предшествуют прозе, и поэт, становящийся под конец жизни прозаиком — «года к суровой прозе клонят», — не вызывает недоумения. Но Томас Гарди, прославленный романист, нарушает сразу два канона: не только в зрелости, как Уитмен, а на грани старости, в пятьдесят восемь лет, он выходит в свет с первым сборником стихов и с тех пор целиком посвящает себя поэзии. Илья Эренбург тоже приумножил ее парадоксы. Начав со стихов и отдавая себя поэзии в течение пятнадцати лет, он потом как стихотворец на пятнадцать лет умолкает. После такого долгого перерыва возникает поэт совсем иного порядка. В нем сохраняются и прежние черты, но духовно трансформированные. В своем месте мы скажем об этом.

Так как в дальнейшем нам все время придется сопоставлять стихи с биографией писателя, обозначим его основные жизненные вехи, чтобы читатель лишний раз не обращался к справочным изданиям.

Илья Григорьевич Эренбург родился в 1891 году в Киеве. Там же, в интеллигентской семье (отец был инженером), прошло его детство. Затем, уже в Москве, он учился в гимназии, из шестого класса которой был исключен за участие в работе большевистской органи-

зации. Был арестован в 1908 году, — здесь начальные его шаги совпадают с ранней биографией Маяковского, — а через несколько месяцев эмигрировал во Францию. В Париже он первое время продолжал вести революционную работу. К тому времени относится его знакомство с В. И. Лениным. В семье Ульяновых его называли «лохматым Ильей». ¹ Первые стихи он опубликовал в 1910 году, хотя сочинять, естественно, начал намного раньше. В 1911 году вышел его первый сборник стихов «Я живу». За ним последовали «Будни» и «Детское», изданные в 1913 и 1914 годах. К тому времени молодой поэт отошел от политической деятельности.

В годы первой мировой войны началась журналистская деятельность Эренбурга, прошедшая через всю его жизнь: он начал работать военным корреспондентом московских и петроградских газет «Утро России» и «Биржевые ведомости». Уже после Версальского мира, в 1920 году, наиболее значительные корреспонденции он объединил в книге «Лик войны». Поэзия корректировала его газетные выступления: «Стихи о канунах», вышедшие в 1916 году, были пронизаны антивоенными мотивами и ожиданиями социальных потрясений.

После падения самодержавия Эренбург возвратился в Россию. Годы революции и гражданской войны он встречает книгами стихов «Молитва о России» (1918) и «Огонь» (1919). Осмысление тех же пламенных лет пронизывает поэтические сборники «Кануны» и «Раздумья», изданные в 1921 году, книги «Зарубежные раздумья» и «Опустошающая любовь», опубликованные в 1922 году.

С 1921 года начинается творческая деятельность И. Эренбурга как крупного и серьезного романиста. Он выпускает «Необычайные похождения Хулио Хуренито...», произведение, выдержавшее множество изданий на многих языках. По свидетельству Н. К. Крупской, положительно оценил этот роман Владимир Ильич Ленин. ²

В следующие годы проза и публицистика оттесняют, а потом и вовсе вытесняют поэзию из творческого обихода писателя. Последние его стихи перед долголетним перерывом помечены 1923 годом. Конечно, этот перерыв заполнен значительными литературными и общественными свершениями, создавшими Эренбургу широкую известность, но для исследователя поэзии здесь невосполнимый пробел.

В 20—30-е годы Илья Эренбург становится одним из самых читаемых и популярных писателей не только у нас, но и за рубежом.

¹ Н. К. Крупская, Что нравилось Ильичу из художественной литературы. — В сб.: «В. И. Ленин о литературе и искусстве», М., 1976, с. 624.

² Там же.

«Тринадцать трубок», «Жизнь и гибель Николая Курбова», «Трест Д. Е.», «Любовь Жанны Ней», «Рвач», «В Проточном переулке» буквально не сходили с языка у публицистов и полемистов, критиков и читателей тех лет. В этих романах и повестях ставились острейшие проблемы того времени.

Частые выезды за рубеж способствовали близкому знакомству и дружеским отношениям Эренбурга с виднейшими деятелями литературы и искусства зарубежных стран. Барбюс и Роллан, Модильяни и Пикассо, Корбюзье и Хемингуэй, — нельзя, кажется, назвать известного писателя, художника, музыканта, с которым бы не виделся и не был знаком Эренбург. Позднее эти дружеские связи много способствовали объединению выдающихся людей в борьбе с фашизмом, а после — в борьбе за мир. Значительная роль Эренбурга в этих решающих общечеловеческих движениях века достаточно известна.

Тридцатые годы знаменуются в творчестве писателя романами «День второй» и «Не переводя дыхания», а в общественной деятельности — активным включением в антифашистскую борьбу. Совершенно естественным видится его участие в испанских событиях, когда впервые в XX веке революционный народ с оружием в руках вступил в смертный бой с фашизмом. Именно здесь, в огне первых сражений, поэзия вновь стала заполнять страницы фронтовых блокнотов Эренбурга гневными, сильными, печальными строками. У печали были глубокие основания — демократия потерпела поражение, фашизм поработил свободолубивую страну.

История готовила еще большие потрясения и катастрофы.

Эренбург оказался в Париже, когда гитлеровские солдаты прошли через Триумфальную арку на Елисейские поля. Пересказывать мысли и чувства, владевшие писателем, нет необходимости — они вместились в книгу «Падение Парижа», вышедшую по следам событий.

С первых дней Великой Отечественной войны Илья Эренбург целиком и полностью отдает свое перо, свой талант, всего себя делу победы над врагом. Все, кто пережил войну, помнят его разящие статьи и фельетоны в «Правде» и «Красной звезде», бичевавшие фашистских захватчиков, славившие защитников Родины.

Роман «Буря», увидевший свет вскоре после победы над немецким фашизмом, подытоживал впечатления и раздумья военных лет. Затем появляются роман «Девятый вал» и повесть «Оттепель».

Завершающим трудом последних лет И. Г. Эренбурга становятся его мемуары — «Люди, годы, жизнь».

Все это время, начиная с испанской войны, вместе и рядом с прозой, публицистикой, воспоминаниями, Эренбург пишет стихи. Поэзия снова становится его неразлучной спутницей, которой он доверяет самые сокровенные свои мысли и чувства. Ни один исследователь творчества писателя не может пройти мимо этой стороны его литературной деятельности. В жизни Эренбурга поэзия служит как бы камертоном, по которому настраивается вся духовная сущность писателя.

Мы не коснулись широкого круга общественных обязанностей И. Г. Эренбурга. Он настолько обширен, что перечисление всех форумов, в которых он участвовал, всех целевых поездок, сделанных им, всех почетных должностей и наград, присвоенных ему, заняло бы несколько страниц. Подчеркнем лишь, что до конца жизни он оставался решительным и последовательным борцом против угрозы новой мировой войны. Главным его оружием в этой борьбе за мир во всем мире был его многосторонний талант прозаика, публициста, поэта.

Важной частью творчества Эренбурга была и его переводческая деятельность. Советский читатель обязан ему близким знакомством с блестящими поэтами, сочинявшими стихи на французском и испанском языках, — Вийоном, Дю Белле, Рембо, Верленом, Манрике, Нерудой, Гильеном.

Илья Григорьевич Эренбург скончался в 1967 году, дожив до семидесяти шести лет. С поэзией он не расставался до последнего дня жизни. О развитии его поэтического дара мы попытаемся сейчас рассказать.

2

Первые стихи юный Эренбург сочинял в тревожное и трудное время, последовавшее за подавлением первой русской революции.

Молодыми поэтами, за редкими исключениями, владеет жажда оригинальности. Парадокс поэзии заключается, однако, в том, что чем сильнее эта жажда, тем труднее ее утолить. На неокрепшем таланте молодого поэта сказывается множество влияний. Не только поэтических, но и общественных, социальных, философских. Нужно обладать очень могучим даром, чтобы уже в самые ранние годы обрести полную своеобычность мысли и чувства. Таких поэтов в мировой литературе считанные единицы. И юный Эренбург к ним не принадлежал. Его ранние стихи колышутся из стороны в сторону символическими, акмеистическими, футуристическими веяниями. Часто они захлестываются богоискательскими и анархическими струями.

На склоне лет сам Эренбург назовет их ученическими и подражательными.

Читателю, даже поверхностно изучавшему историю поэзии, не составит труда разглядеть печать символизма уже на первом стихотворении, открывающем нашу книгу:

Так устали согнутые руки
От глубоко вставленных гвоздей,
Столько страшной, непосильной скуки
Умирать зачем-то за людей.

.. Сколько скуки было у Пилата,
Сколько высшей скуки пред собой,
В миг, когда над урной розовой
Руки умывал перед толпой.

.. Царство человеческого сына —
В голом поле обветшалый крест.
Может быть, поплачет Магдалина,
Да и ей не верить надоест.

А кругом — кругом всё то же поле,
Больше некуда и не на что взглянуть.
Только стражники без радости и боли
Добивают сморщенную грудь.

(«Так устали согнутые руки. . .»)

В XV веке мысль о напрасности искупления и мертвящей скуке, объемлющей равно спасителя и спасаемых, привела бы, наверное, поэта на костер. Но в 1910 году она становится лишь свидетельством юного скепсиса, облеченного в символистские одежды.

В ранних стихах поэта милая акмеизму «вещность» перемежается с символистской расплывчатостью образов. Но тяготение к «вещности» не следует смешивать с реализмом зрелой поэзии Эренбурга.

Я помню серый, молчаливый,
Согбенный, как старушка, дом,
И двор, поросший весь крапивой,
И низкие кусты кругом.
.. В уютной низенькой столовой
Пыхтящий круглый самовар,
Над чаем прихотливый пар

И на столе пирог фруктовый,
Старушку в кружевном чепце
С улыбкой важной на лице.

(«Я помню серый, молчаливый. . .»)

Картины и сцены ночного Парижа изобилуют эпатирующими строками, сближающими юного поэта с авторами первых будетлянских сборников:

Дико воют багровые фраки,
Скоро два, и пора по домам.
Уж мужчины сопят, как собаки,
Обнимая и тиская дам.

(«В ночном баре»)

Иногда молодого москвича осеняют совершенно невероятные сравнения. В одном из стихотворений того времени он уподобляет себя проститутке, а Париж — сутенеру:

Тебя, Париж, я жду ночами,
Как сутенер, приходишь ты
И грубо тискаешь руками
Все потаенные мечты.
И всё, чем был я свеж и молод,
Тебе даю я, как гроши,
Чтоб ты насытил блудный голод
И похоть жадную души.

(«Парижу»)

Читатель тех лет мог бы подумать бог знает что о молодом человеке, пишущем подобные стихи, если бы не помнил десятки аналогов из современной модернистской поэзии. В ней и не такие образы встречались! . .

Рядом с такими стихами ложатся на бумагу строки совершенно противоположного характера:

Что лучше зимнего рассвета,
И дыма синего у труб,
И еле слышного привета,
Слетающего с милых губ?
Часам к пяти, пока не поздно,
Приятно выйти погулять,
Кричать средь тишины морозной
И снег, притапывая, мять. . .

(«Год»)

Показательно, однако, что под всей этой стилистической и вкусовой мешаниной нащупывались живые корни, прораставшие в подлинную поэзию и в истинное искусство. Напрасно было бы искать строгую идею, определяющую творчество юного поэта. Здесь пока еще путаница, но перспективные линии можно наметить и теперь. Это антибуржуазность, любовь к родной стране, предчувствие социальных катастроф и перемен.

Ненависть к миру насилия и грабежа привита была Эренбургу еще в большевистских кружках. До конца дней помнил он свое заключение в тюремной одиночке: недели, проведенные там, стали таким курсом социального обучения, перед которым далеко отступал гимназический курс.

Антибуржуазность многих стихов раннего Эренбурга, конечно, несет явственные черты модернистских влияний, но в основе ее лежит естественное и незаимствованное чувство. Достаточно бегло перелистать первые страницы этой книги, чтобы убедиться в правильности сказанного. Правда, молодому поэту еще трудно представить, что именно противопоставляет он отрицаемому обществу. Иногда им овладевают руссоистские мотивы. Коренной горожанин, он внезапно провозглашает себя воинствующим антиурбанистом. В стихотворении «Возврат» вначале рисуется безрадостная картина будущего:

Будут времена, когда, мертвы и слепы,
Люди позабудут солнце и леса
И до небосвода вырастут их склепы,
Едким дымом покрывая небеса.

Однако —

Но тогда, я знаю, совершится чудо,
Люди обесселят в душных городах.
Овладеет ими новая причуда —
Жить, как прадеды, в болотах и в лесах.

И как следствие:

Далеко, почти сливаясь с небосводом,
На поля бросая мутно-желтый свет,
Будет еле виден по тяжелым сводам
Города истлевший и сухой скелет.

Конечно, такой неоруссоизм не мог быть прочен в сознании юного поэта. Здесь только поиски выхода, нащупывание пути. Более определенные мысли придут позже.

Юноша-эмигрант болезненно переносит разлуку с Россией.

В яростном отталкивании от чужого духа буржуазности обостряется чувство ностальгии:

И до утра над Сеною недужной
Я думаю о счастье и о том,
Как жизнь прошла бесследно и ненужно
В Париже непонятном и чужом.

(«Париж»)

А потом подлинная, ничем не прикрытая тоска:

Как я грущу по русским зимам,
Каким навек недостижимым
Мне кажется и первый снег,
И санок окрыленный бег,
И над уснувшими домами
Чуть видный голубой дымок,
И в окнах робкий огонек,
Зажженный милыми руками,
Калитки скрип, собачий лай
И у огня горячий чай.

(«Когда в Париже осень злая...»)

Если на время отрешиться от всех литературоведческих концепций и построений, мы увидим заброшенного мальчишку, в чужом городе неутешно тоскующего по московским улицам. Чего он только на себя не напускает, чтобы скрыть свое неприятное одиночество, показать себя в сотни раз опытнее, скептичнее, искушеннее, чем на самом деле!.. А со всем этим комок в горле:

И столько близкого и милого
В словах: Арбат, Дорогомилово...

(«О Москве»)

А то и всхлип:

Если ночью не уснешь, бывало,
Босыми ногами,
Через темную большую залу,
Прибегаешь к маме.

(«О маме»)

И вот в Латинском квартале он вспоминает о Плющихе, на Елисейских полях — о Девичьем поле. Мальчик!.. Несмотря на все свои

выверты — просто мальчик. Но в чужеземном далеке вынужденная самостоятельность постепенно формирует в нем взрослые качества. Начинаются они с серьезных раздумий. Вдруг его обжигает мысль, что он «слишком рано отнят» от России и может потерять с ней кровную связь. Но при этом все же с ним остается надежда, что когда-нибудь, лишь увидит он пограничную станцию, тут же:

Я пойму, как пред тобой я нищ и мал,
Как я много в эти годы растерял.
И тогда, быть может, соберу я снова
Всё, что сохранилось детского, родного,
И отдам тебе остатки прежних сил,
Что случайно я сберег и утаил.

(«России»)

В результате, конечно, окажется, что «в эти годы» он не только «много растерял», но и многое приобрел. И то «детское, родное», что заложено было в него с самого начала — любовь к России, — вызовет в нем неостановимое стремление отдать ей все свои силы. Но до этого еще пройдут годы.

Начавшаяся первая мировая война вызывает в Илье Эренбурге все нарастающее сопротивление. Резкие антивоенные ноты слышатся уже в декабрьских стихах 1914 года «О соборе Реймса»:

Но погоди! Ты слышишь — это плачет Каин
Над пеплом жертвенных даров.

Отношение к империалистической бойне как к кайнову делу упрочивается в других стихах: «В детской», «На войну», «После смерти Шарля Пеги», «На закате», «В августе 1914 года», «В пивной» — все эти стихи полны ненависти к войне. Разоблачительный их пафос, правда, несет пока не слишком большой социальный заряд. Политические адреса зачинщиков и инициаторов войны не называются, они, скорее, угадываются. Война в стихах молодого Эренбурга — это античеловеческий и антибожественный катаклизм, всенародная Голгофа, посланная людям в наказание за грехи. Отсюда заметное нарастание в тогдашней эренбургской поэзии мотивов покаяния и искупления.

Но, словно в средневековых мистериях, покаяние смешивается в его стихах с шутовством, искупление — с фарсом. Особенно явно это смешение в цикле из шести стихотворений, последовательно названных: «Прости меня — блудливого», «Прости меня —

богохульника», «Прости меня» — поэта», «Прости меня — нерадивого», «Прости меня — злобного», «Прости!». Последнее стихотворение, в котором сконцентрированы все первоэлементы покаяния, стоит того, чтобы привести его целиком:

Ты простил змее ее страшный яд!
Ты простил земле ее чад и смрад!
Ты простил того, кто тебя бичевал!
И того, кто тебя целовал,
Ты простил!

За всё, что я совершил,
И за всё, что свершить каждый миг я готов,
За ветром взрытое пламя,
За скуку грехов
И за тайный восторг покаянья
Прости меня, господи!

Труден полдень, и страшен вечер.
Длится бой.
За страх мой, за страх человечесий,
За страх пред тобой
Прости меня, господи!

Я лязг мечей различаю.
Длится бой. Я кричу: «Победи!»
Я кричу, но кому — не знаю.
За то, что смерть еще впереди, —
Прости, прости меня, господи!

Одни из самых красноречивых строк здесь: «Я кричу: «Победи!» Я кричу, но кому — не знаю». Эти стихи относятся к ноябрю 1915 года и входят в сборник Ильи Эренбурга «Стихи о канунах». Сборник этот не столько сложный, сколько путаный. В нем все навалом, все вперемешку; над стихами порой густым туманом плывет «священный сумбур» догадок и пророчеств. В стихах уже есть предощущение социальных перемен, но только предощущение:

Тебе поклоняюсь, буйный канун
Черного года!

(«Канун»)

Здесь рождается прямая ассоциация с известными лермонтовскими стихами, утверждавшими, что «настанет год, России черный

год, Когда царей корона упадет; Забудет чернь к ним прежнюю любовь, И пища многих будет смерть и кровь».

В двух поэмах того времени — «Повесть о жизни некой Наденьки и о вещих знамениях, явленных ей» и «О жилете Семена Дрозда» — обновляются библейские предания о чечевичной похлебке первородства и евангельское сказание о крестной казни и Савле, ставшем Павлом. Но через иносказания древних притч героине первой поэмы видится «большой город», где:

...сидят рабочие, и куют железо,
И кушают омара с майонезом,
И говорят: «Хорошо, черт возьми, на свете!»

А с героем второй поэмы, Семеном Дроздом, происходят еще менее реальные вещи, чем с библейскими персонажами. Семен Дрозд, решивший ограбить и «зарезать кого побогаче», войдя в ванную и увидев там голого фабриканта, в приступе покаяния и жажды искупления отказывается от своего злодейского намерения:

Семен глядел, как Игорь Сергеевич плакал,
Как с него вода текла на пол,
Глядел на короткие волосатые поги
И закричал вдруг: «Родненький!
Как же ты... нагишом?»
И бросил нож Семен,
Снял с себя жилетку:
«Вот, прикройся... возьми это!» —
И жилетом его покрыл.

Семена Дрозда уводят в тюрьму, и там ему снится Христос с крестом на плечах. Семен во сне помогает Спасителю нести крест. Но не принимайте всех этих идиллий полностью всерьез. Не так уж навен молодой Эрэнбург! Всего несколько лет отделяют его от язвительных сентенций Хулио Хуренито. «Омар с майонезом» благодушных рабочих сродни жилету Семена Дрозда. Поэма о его благочестивом подвиге кончается откровенной насмешкой:

Господа!
Молитесь за Семена Дрозда.

Действительно, господам куда как хорошо бы жилось, если бы Семены Дрозды вместо ножей в бок укутывали бы их жилетами.

Мистериальные мотивы, с их смешением трагического и шутовского, как уже говорилось, настойчиво звучат в поэзии Эренбурга тех лет.

Не следует преувеличивать и религиозность его тогдашних стихов. То и дело в них выкрикиваются богохульства, провозглашается прямое отрицание бога, иногда покаяние сменяется неприкрытым цинизмом: «помянуть тебя всеу — и то пригодится». Но язык библейских притч, весь религиозный антураж — привычная и удобная форма для поэтических иносказаний. Вспомним молодого Маяковского, вступившего в литературу с куда более сильным революционным задором, чем Эренбург. Его ранние стихи и поэмы были полны библеизмов, — вспомним хотя бы «Облако в штанах».

В ощущении гибели старой Европы, сжигающей себя в огне войны, в предчувствии и ожидании непонятной, но очевидной новизны, встающей с полей России, Илья Эренбург встречает весть о падении самодержавия. В июле 1917 года с группой эмигрантов он после долгого перерыва вступает на русскую землю. Начинается новый этап его жизни и поэзии.

Как горько пророчествовал Илья Эренбург в стихах 1913 года, он действительно был «слишком рано отнят от груди России» и не сразу понял исторические перемены, происшедшие с ней в его отсутствие. Во многом ему приходилось начинать с азов. Октябрьскую революцию он вначале воспринял как модификацию мужичьего бунта, росплеск «Пугачевой крови», — так, кстати говоря, называлось определяющее стихотворение нового сборника Эренбурга «Молитва о России». Всего спустя три года сам поэт оценит свою книжку как «художественно слабую, идеологически беспомощную и ничтожную». В этой самооценке, конечно, крен в другую сторону. Вряд ли можно назвать ничтожными строки: «Россия! Умереть бы только с тобой!» или стихотворение «В переулке»:

Целуются, и два облачка у губ дрожащих
Сливаются в одно.

...А вот люди могут так любить
На глазах у Смерти!

«Два облачка» дыханий, сливающихся на декабрьском морозе в поцелуй, — это, разумеется, всего лишь хорошо увиденная частность. Бесконечно жаль, что на более глубокие обобщения в этом сборнике у молодого поэта не хватило душевных сил. В других стихах тех лет он редко шел дальше неконкретизированных деклараций:

Смерть земли? Или трудные роды?
Я летел, и горел, и сгорел.
Но я счастлив, что жил в эти годы, —
Какой высокий удел!

(«Я не знаю грядущего мира. . .»)

Максимально возможным для поэта приближением к реальным задачам революционного дня были в ту пору такие стихи, опять-таки общего порядка, как «Слава труду» и трагедия «Ветер», написанные в 1919 году.

В трагедии, созданной по мотивам испанской революции прошлого века, сделана попытка показать решение современных задач на давнем материале. В пьесе ошутима боязнь поражения революции. «Хоть биты, да сыты», — провозглашает после крушения революционной власти торжествующее мещанство. В конце трагедии возвещается приход грядущей смены борцов за народное дело.

В стихах «России», созданных в 1920 году, скорбная гордость своей страной не может не тронуть читателя, но гордость эта очень книжна:

Суровы роды, час высок и страшен,
Не в пене моря, не в небесной синеве,
На темном гноище, омытый кровью нашей,
Рождается иной, великий век.

Гражданская война завершается полной победой Советской власти, и Эренбург сперва в Москве, а потом за рубежом пишет стихи уже по следам отхлынувших событий. Он говорит о золотом веке будущего, когда разыщут его стихи и в них увидят

.. человека, умирающего на пороге,
С лицом, повернутым к нему.

(«Кому предам прозренья этой книги? . .»)

Трагичность этих строк — в непонимании поэтом того, что порог уже перейден. Перейден революционным народом, шагнувшим в новую эпоху.

Зарубежные стихи начала 20-х годов полны презрения к обьевшейся буржуазной Европе и горестного восхищения далекой голодной Россией, прорвавшей завесу будущего. В послеверсальской сытой Франции ему, по древнему реченью, «гульба, прохлад на ум нейдут», и Россия с ее бедами, болями, голодом, но зато и высокой миссией остается для него духовным образцом.

Один из последних поэтических сборников Эренбурга, изданный накануне долгого перерыва, назван им «Опустошающая любовь». Это точное наименование для стихов, в которых смешиваются пламя истинной страсти и холод разъедающего скепсиса, пафос восторженной любви и отчаянье непонимания. Отныне Эренбурга сопровождает чувство такой привязанности к эпохе, что сам себе он кажется то трубой, в которую дует всевластное время, то глиной в «руках горшечника».

Горшечник-время неутомим в своей вечной работе:

И каждый оттиск губ и рук,
И каждый тиск ночного хаоса
Выдавливали новый круг,
Пока любовь не показалась.

... И кто-то год за годом льет
В уже готовые обличия
Любовных пут тягучий мед
И желчь благого еретичества.

(«Уж сердце снизилось, и как! ..»)

Пройдут долгие годы, и отплеск этих стихов достигнет «Гончара в Хаэне», но в 30-е годы любовь примет совсем иные очертания, чем теперешняя, а «благое еретичество» останется лежать где-то между страниц «Хулио Хуренито».

Одно из последних стихотворений первого периода поэтического творчества Эренбурга дает нам возможность бросить беглый взгляд на молодого поэта, создававшего эти стихи:

Остановка. Несколько примет.
Расписание некоторых линий.
Так одно из этих легких лет
Будет слишком легким на помине.

Где же сказано — в какой графе,
На каком из верстовых зарубка,
Что такой-то сжигивал в кафе
И дымил недодымившей трубкой?

Ты ж не станешь клевера сушить,
Чиркать ногтем по полям романа.
Это — две минуты, и в глуши
Никому не нужный полустанок.

Даже грохот катастроф забудь:
Это — задыханья, и бураны,
И открытый стрелочником путь
Слишком поздно или слишком рано.

(«Остановка. Несколько примет. . .»)

Оставим же на творческом полустанке молодого поэта над грудой написанных неразборчивым почерком стихов. В них много путаницы, сбивчивости, непонимания событий, но никто не отнимет у этих строк покоряющей искренности, с которой автор признается в любви к России, людям, человечеству. Он верит в новые пути своей родины, хотя еще не может различить, куда они ведут. Участь Эренбурга — это участь значительной части русской интеллигенции, не сразу разобравшейся в путях революции.

Оставим поэта на пятнадцать лет, чтобы опять встретить его с той же недодымившей трубкой, но уже не в парижском, а в мадридском кафе 1938 года, склонившегося над походным блокнотом.

3

Перед нами тот же и не тот же Эренбург. От поэта начала 20-х годов осталась печальная озабоченность человеческими судьбами, стремление в малом увидеть большое, графичность поэтического почерка. Исчезли экзальтированность, субъективные решения политических вопросов, непрерывная смена модернистских увлечений и влияний. Пришли подлинная интернациональность, точная политическая ориентация, широта мышления, строгость пера. И — главное для поэта — появились превосходные стихи, без которых становится немислимой любая антология советской поэзии:

И сердце зрелое — тот мир просторный,
Где звезды падают и всходят зерна.

(«Нет, не зеницу ока и не камень. . .»)

Зрелое сердце диктовало новые стихи, которые стал писать Эренбург после пятнадцатилетнего перерыва. Карандаш его теперь, когда он рисует «свирепость, солнце и величье Сухого каменного дня» гражданской войны в Испании, как правило, точен и четок. Впервые здесь с оружием в руках столкнулись фашизм и революция. Эренбург послан сюда корреспондентом «Известий». Московские читатели, каждый день развертывая газету, искали информации и статьи Эрен-

бурга, посланные с переднего края событий. Но для полного мысли и чувствования писателю недостаточно корреспонденций, утолить духовную жажду могут только стихи. Если расширительно истолковать строку «где звезды падают и всходят зерна», то можно сказать, что Эренбургу еще предстоит увидеть упавшую за исторический горизонт трагическую звезду республиканской Испании и взрастить в своих стихах яростные всходы неугасимой ненависти к фашизму.

Одно из лучших стихотворений поэта тех лет называется «Разведка боем». Его следует процитировать с первой до последней строки:

«Разведка боем» — два коротких слова.
Роптали орудийные басы,
И командир поглядывал сурово
На крохотные дамские часы.
Сквозь заградительный огонь прорвались,
Кричали и кололи на лету.
А в полдень подчеркнул штабного палец
Захваченную утром высоту.
Штыком вскрывали пресные консервы.
Убитых хоронили как во сне.
Молчали.

Командир очнулся первый:
В холодной предрассветной тишине,
Когда дышали мертвые покоем,
Очистить высоту пришел приказ.
И, повторив слова: «Разведка боем»,
Угрюмый командир не поднял глаз.
А час спустя заря позолотила
Чужой горы чернильные края.
Дай оглянуться — там мои могилы,
Разведка боем, молодость моя!

До конца жизни люди, воевавшие в Испании, будут оглядываться на эти могилы. Хемингуэй, интербригадовцы, наши летчики и танкисты. Да разве только они! Незаживающей раной в сознании миллионов людей во всем мире останется память о поражении республиканцев. Дорого обошлась эта война человечеству. Символом интернационального братства остались могилы советских добровольцев на испанской земле и могила лейтенанта Ибаррури в Волгограде. Сын легендарной Долорес, защищавший твердыню на Волге, он стал посмертно Героем Советского Союза.

Илья Эренбург живо и остро ощущал братскую связь двух героических народов. В сражающемся Мадриде он слышит:

... вдруг доносится, как смутный гул прибоя,
Дыхание далекой и живой Москвы.

(«Говорит Москва»)

Особенно ощутима эта связь в стихотворении «В кастильском нищенском селенье...». Здесь в церкви показывают кино:

И, памятью меня измаяв,
Расталкивая всех святых,
На стенке бушевал Чапаев,
Сзывал живых и неживых.
Как много силы у потери!
Как в годы переходит день!
И мечется по рыжей сьерре
Чапаева большая тень.
Земля моя, земли ты шире,
Страна, ты вышла из страны,
Ты стала воздухом, и в мире
Им дышат мужества сыны.

Возможны ли были такие стихи у Эренбурга пятнадцать лет назад? Конечно, нет. А сейчас они для него органичны. И — отметим для себя афористическую четкость прекрасных строк: «Земля моя, земли ты шире, Страна, ты вышла из страны». Здесь широта мышления, интернационалистичность, патриотизм соединены в крепко спаянной цельности.

К лучшим стихам того времени надо отнести «Гончар в Хаэне», о котором мы вспомнили в предыдущем разделе. Это спокойные и мудрые стихи, проникнутые, если можно так выразиться, печальным оптимизмом. Пересказывать стихи — неприятное занятие, переводить их в прозу — терять главное, но по необходимости сведем к нескольким словам отлично выписанную картину разбитого фашистской бомбардировкой дома. А потом — главное:

А за углом уж суета дневная,
От мусора очищен тротуар.
И в глубине прохладного сарая
Над глиной трудится старик гончар.
Я много жил, я ничего не понял

И в изумлении гляжу один,
Как, повинувшись старческой ладони,
Из темноты рождается кувшин.

Эти стихи, пожалуй, один из кульминационных взлетов поэтического творчества Эренбурга. Вечность народа, создающего непреходящие ценности, несмотря на мертвящее человеконенавистничество фашизма, рисуется в этом стихотворении с впечатляющей и убеждающей силой.

Сам жизненный и поэтический характер Эренбурга претерпел глубокие изменения в сравнении с давними временами первых его стихов. «Умом мы жили и пустой усмешкой», — говорит он о своем прошлом в одном из нынешних стихотворений, а теперь

Осталась жизни только сердцевина:
Тепло руки и синий дым овина,
Луга туманные и зелень бука,
Высокая военная порука —
Не выдать друга, не отдать без боя
Ни детства, ни последнего покоя.

(«Всё простота: стекольные осколки. . .»)

Давно ушли в прошлое модернистские эскапады молодого Эренбурга, и теперь Эренбург-реалист воспринимает подлинную жизнь, ее суровый путь — в простых и честных проявлениях. Они действительно очень просты, но твердая честность их такова, что, если бы все люди следовали ей, на белом свете стало бы гораздо легче жить.

Наступает последний акт трагедии. Республиканские войска отступают через северную границу во Францию. Траурной музыкой реквиема звучат стихи Эренбурга:

В сырую ночь ветра точили скалы.
Испания, доспехи волоча,
На север шла. И до утра кричала
Труба помешанного трубача.

...Что может быть печальней и чудесней —
Рука еще сжимала горсть земли.
В ту ночь от слов освобождались песни
И шли деревни, будто корабли.

«В январе 1939»)

На долгие десятилетия опускается над Испанией черный франкистский занавес. Эренбург оказывается во Франции. Здесь его настигает вторая мировая война.

Эренбург остро переживает наступление гитлеровских войск, военный разгром Франции. С этой страной у него связано полжизни. В его теперешних стихах о ней один почерк, одна мысль, одно чувство. Это лирический дневник, где смена душевных движений так же естественна, как в исповеди. После взятия Парижа немцами он пишет:

Не для того писал Бальзак.
Чужих солдат чугунный шаг.
... Не для того — камням молюсь —
Упал на камни Делеклюз.
Не для того тот город рос,
Не для того те годы гроз...

... Глаза закрой и промолчи, —
Идут чужие трубачи,
Чужая медь, чужая спесь.
Не для того я вырос здесь!

(«Не для того писал Бальзак...»)

Новое злодеяние на счету фашизма.

В эти скорбные дни «бедная больная сумасбродка, хлопотунья вечная душа» не только вбирает в себя несчастья прекрасного народа. Эренбург обращается к давней проблеме войны и искусства:

Я перечитывал стихи Ронсара,
И волшебство полуденного дара,
Игра любви, печали легкой тайна,
Слова, рожденные как бы случайно,
Законы строгие спокойной речи
Пугали мир ущерба и увечий.
Как это просто всё! Как недоступно!
Любимая, дышать и то преступно...

(«Не раз в те грозные, больные годы...»)

Трагические стихи. По душевной природе своей человек активной дисгармоничности, мятущийся, ироничный, резкий, Эренбург всю жизнь тянулся к гармонии. Идиллические картины мирного бытия, которые он часто противопоставляет ужасам войны, не что иное, как овеществленные мечты поэта о гармоничном существовании вне жи-

тейских зол и обид. И в процитированном стихотворении тема, возникающая в строках: «Законы строгие спокойной речи Пугали мир ушерба и увечий», завершается горькими словами: «Как это просто всё! Как недоступно! Любимая, дышать и то преступно...». Стихотворение сильное, но раскрывающее лишь одну сторону взаимоотношений искусства и войны. Подчеркивается их враждебность, несовместимость, взаимоотторженность. В мире убийства «дышать и то преступно», а искусство — то же дыхание свободного человека на мирной земле. Конечно, кому как не Эренбургу знать о наступательной функции искусства, о его боевом значении! Но в сознании поэта одно не перечеркивает другого. Война грозит не только соборам, памятникам, картинным галереям, — она враждебна и самой поэзии, самой духовной сущности человека. Этот глубинный смысл стихотворения Эренбурга не может не волновать нас спустя многие годы после его создания.

По-прежнему всем душевным строем поэт повернут в сторону далекой и близкой Москвы.

Но вдруг, как моря склянки, для мира и для нас
Кремлевские куранты вызванывают час, —

пишет он в стихотворении «У приемника», созданном в Париже 1940 года.

Напомним, что все виденное и пережитое Эренбург описал в книге «Падение Парижа». Здесь проза закрепила мгновенные поэтические прозрения. И все-таки поэт не выговорился до конца, и спустя три года, в 1943-м, он создает поэму «Париж».

Возвратившийся вскоре после падения французской столицы в Москву Илья Эренбург, естественно, не мог знать тот город Сопrotивления, каким стал Париж в последующие годы. Но, помня дух свободолюбивого народа, наследника Марата и Бабефа, Делеклюза и Жореса, он легко мог представить своих бесстрашных героев и героинь в беспощадной схватке с немецкими фашистами. Осязаемо вставали перед его взглядом враги — он видел гитлеровцев на парижских улицах.

В поэме Эренбурга воспето французское Сопrotивление, а вместе с ним антифашистская борьба всей поработенной Европы. Патриотический подвиг Андре, погибшего в гитлеровском застенке за свободу Франции, поправшего смертью смерть, очерчен строгим и вдохновенным пером. Светлым предвещанием звучат заключительные строки поэмы:

Париж победы первый хлеб надрежет.
Тугие гроздьа срежут в октябре

Там, где весной еще сновали мины.
Париж отстроится. На пустыре,
Где, кровью обливаясь, пал Андре,
Распустятся большие георгины.
Другие песни будут дети петь.
Но нет, оно не может умереть,
Любви высокое воспоминанье,
Короткое горячее дыханье,
На час согревшее больную медь.
Подруга юности, любовь народа,
Бессмертная и чистая Свобода!

Обратим внимание и на другую поэму Эренбурга, продиктованную тем же пафосом Сопротивления, но уже в другой стране: «Прага говорит». Она создана в том же 1943 году, в ней поэтизируется подвиг чешских подпольщиков, через радиопередатчик призывавших к борьбе с захватчиками. Широкий размах интернационализма ощущаем мы в этой поэме:

Я славлю, тишина, твое звучанье,
Казалось бы, бесчувственный эфир,
Его мучительные содроганья.
Клянется Осло, молится Эпир,
Коротких волн таинственные сонмы,
Подобны ангелам, обходят мир.

Фашисты убивают Власту, ведущую передачи, но вместо голоса погибшей другой девичий голос звенит над страной, призывая к патриотическим делам и действиям. Поэма заканчивается трагическим апофеозом Свободы, достигающейся ценою многих жизней:

Прости, Свобода! В прежней жизни часто
Твои шаги глушила славы медь,
И думала ли хохотушка Власта,
Что за тебя придется умереть?
Казалось всё простым: и свет, и звуки,
И мрамор статуй на большом мосту.
Она не знала, сколько нужно муки,
Чтоб выстрадать такую простоту,
И бились окровавленные руки,
Как крылья птицы, сбитой на лету.
Но никогда так не блистали звезды,

Так не цвели спаленные луга,
И прежнего милее черный воздух,
И каждая былинка дорога.

В июне 1941 года гитлеровские войска без предупреждения напали на Советскую страну. Перо Эренбурга с первых дней Великой Отечественной войны было отдано сражающемуся народу. Стихи его говорили о том же, о чем гремела его проза и публицистика, но на своем поэтическом языке. Советская поэзия тех лет удивляет многообразием талантов, но строки Эренбурга не затерялись среди многих. В стихотворении «1941» четко обозначена вся яростная суть этого страшного года. Вся земля поднялась на врага:

Ополчились нивы и луга,
Разъярился даже горчицвет,
Дерево и то стреляло вслед,
Ночью партизанили кусты
И взлетали, как щепы, мосты,
Шли с погоста деды и отцы,
Пули подавали мертвецы,
И, косматые, как облака,
Врукопашную пошли века.

Здесь рукой Эренбурга водит истинная поэзия. Дальше, в поддержку этих мощных образов, приходят жизненные реалии тех дней:

Затвердело сердце у земли,
А солдаты шли, и шли, и шли,
Шла Урала темная руда,
Шли, гремя, железные стада,
Шел Смоленщины дремучий бор,
Шел глухой, зазубренный топор,
Шли пустые, тусклые поля,
Шла большая русская земля.

Собственно говоря, это стихотворение — ключ ко всей военной лирике Эренбурга. В нем начало всех ее основных мотивов: ненависть к фашизму, скорбь об утратах и потерях, призыв к яростной борьбе за освобождение родной земли от захватчиков. Далеко еще до победы, но взгляд поэта все время видит ее отблеск в каждом выстреле советского солдата, в каждой орудийной вспышке.

Тяжки первые месяцы войны, полные горечи отступлений и

поражений. Враг захватывает наши деревни и города. Фашисты взяли Киев, родину поэта.

«Киев, Киев! — повторяли провода. —
Вызывает горе, говорит беда».

Не одна горечь, но и твердая надежда живет в груди поэта:

«Киев, Киев!» — надрывались журавли.
И на запад эшелоны молча шли.
И от лютой человеческой тоски
Задыхались крепкие сибиряки. . .

(«Привели и застрелили у Днепра. . .»)

Ненависть к врагу находит выход не только во множестве публицистических статей, опубликованных Эренбургом в газетах того времени. Боль, скорбь, ненависть народная концентрируются в его стихотворениях 1941—1942 годов:

За сжатый рот твоей жены,
За то, что годы сожжены,
За то, что нет ни сна, ни стен,
За плач детей за крик сирен,
За то, что даже образа
Свои проплакали глаза. .

(«Убей!»)

Ненависть к врагу вырастает во всенародное чувство. «Судьба Германии в тот час решалась Над мертвой девушкой, у шаткого моста», — пишет поэт в другом стихотворении 1942 года.

Но кроме ненависти в душе живут и другие чувства:

Нет, ненависть не слепота —
Мы видим мир, и сердцу вновь
Земли родимой красота
Средь горя, мусора и крови.

(«Знакомые дома не те. . .»)

Эренбурга не оставляют раздумья о сопротивляющейся фашизму подневольной Европе. Стихи его вместе со статьями и фельетонами выполняли общее высокое назначение. Ненависть к фашистам у солдат была естественна и неостановима, но эренбургские строки

обостряли, нацеливали ее и давали ей, вместе со всероссийским и все-советским, всечеловеческое обоснование. Солдат, читая Эренбурга, ощущал себя прежде всего защитником родной земли, но наряду с этим — соратником французских маки, югославских партизан, всех антифашистов мира. Творчество Эренбурга в годы войны помогало советским людям ощутить свое первенствующее место во всемирной борьбе с фашизмом. Это равно относится к его прозе, публицистике, поэзии

Такие стихи, как «Моряки Тулона», «Большая черная звезда. . .», «Я помню. . .», «Европа», поэмы «Париж» и «Прага говорит», напоминали советскому человеку, что он не одинок в борьбе с немецким фашизмом. Но это понимание и ощущение единства в общей борьбе было бы мертво без любви. И любовь вела перо Эренбурга, когда он писал:

Горячий камень дивного гнезда,
Средь серы, средь огня, в ночи потопа,
Летучая зеленая звезда,
Моя звезда, моя Европа!

(«Европа»)

Советский народ возглавил народы Европы, яростно боровшиеся с гитлеровскими захватчиками. Многие стихи поэта посвящены героизму наших воинов. Одно из них заканчивается строками:

Врага он встретит у обочины.
А вдруг откажет пулемет,
Он скажет: «Жить кому не хочется» —
И сам с гранатой поползет.

(«Он пригорюнится, притулится. . .»)

Строки такого рода часты во фронтовой лирике поэта.

Мир кажущийся таким далеким в разгаре войны, рисуется днем безбрежного покоя — это всегдашняя неосуществимая мечта Эренбурга:

Было в жизни мало резеды,
Много крови, пепла и беды.
Я не жалею на свой удел,
Я бы только увидеть хотел
День один, обыкновенный день,
Чтобы дерева густая тень
Ничего не значила, темна,
Кроме лета, тишины и сна.

(«Было в жизни мало резеды. . .»)

Он размышляет о месте поэта в чреде **событий**:

Ракеты салютов. Чем небо черней,
Тем больше в них страсти растерзанных дней.
Летят и сгорают. А небо черно.
И если себя пережить не дано,
То ты на минуту чужие пути,
Как эта ракета, собой освети.

(«Ракеты салютов. Чем небо черней. . .»)

Не минуту, а долгие военные годы освещало творчество Эренбурга сперва пути отступлений, а потом дороги побед.

Пришла долгожданная победа. Бесспорная и окончательная. «Я ждал ее, как можно ждать любя, Я знал ее, как можно знать себя». Но на лице ее поэт увидел трагические черты невозвратимых утрат.

Она была в лиялой гимнастерке,
И ноги были до крови натерты.
Она пришла и постучалась в дом.
Открыла мать. Был стол накрыт к обеду.
«Твой сын служил со мной в полку одном,
И я пришла. Меня зовут Победа».
Был черный хлеб белее белых дней,
И слезы были соли солоней.
Все сто столиц кричали вдалеке,
В ладоши хлопали и танцевали.
И только в тихом русском городке
Две женщины, как мертвые, молчали.

(«Она была в лиялой гимнастерке. . .»)

В эти первые послевоенные дни, месяцы, годы поэт остро переживает противоречивость жизни, с трудом входящей в мирную колею. Задумывается он и над своей жизненной линией. В одном из стихотворений он уподобляет себя большому дереву, в дни «кроткой росы» и «ласковых небес» оставшемуся на своем посту, как «солдат, которому доверили Прикрыть собою высоту». Дерево умирает. «Дерево» — таково название нового сборника Ильи Эренбурга. В нем встречаются стихи пронзительного лирического звучания, говорящие о жизни и смерти, бессмертии и вечности:

Умру — вы вспомните газеты шорох,
Ужасный год, который всем нам дорог.

А я хочу, чтоб голос мой замолкший
Напомнил вам не только гром у Волги,
Но и деревьев еле слышный шелест,
Зеленую таинственную прелесть.
. . Уйду — они останутся на страже,
Я начал говорить — они доскажут.

(«Умру — вы вспомните газеты шорох. . .»)

И все-таки, все-таки, все-таки — цепкая память все время возвращает его в годы войны. То щемящими сердце строками воскрешает в ней песня французского Сопротивления:

Мы жить с тобой бы рады,
Но наш удел таков,
Что умереть нам надо
До первых петухов.

(«Французская песня»)

То напомним ржевскую битву: «Прохожий, подойди. Лежим в могиле братской. . .» Нет, конечно, эта память не умирает. В простреленной шинели, в стоптанных сапогах, в окровавленных бинтах, она все время приходит к поэту.

Но уже новые тревоги встают рядом с ней. Грозный призрак атомной войны поднялся из зарева Хиросимы и Нагасаки. И опять появляются стихи обнаженной прямоты, четкие свидетельства новых трагедий. К ним относится «Дождь в Нагасаки». Начало стихотворения зловеще. Страшные капли падают на землю:

Дождь этот с пеплом, в нем тихой смерти заправка,
Кукла ослепла, ослепнет девочка завтра.
. . Злоба — как дождь, нельзя от нее укрыться,
Рыбы сходят с ума, наземь падают птицы.

Но люди найдут выход:

Мы не дадим умереть тебе, Нагасаки!

В 50-х годах Илья Эренбург становится одним из видных борцов за мир, и поэзия встает с ним плечом к плечу в этой благородной деятельности.

Муза Эренбурга откликается на события века, и каждый раз по-своему и неповторимо. Множество стихов было написано о

первом спутнике Земли, запущенном нами в 1957 году. Но лишь у Эренбурга он ассоциировался с сорокалетием советского строя и превратился в неожиданный и впечатляющий образ:

В глухую осень из российской пуши,
Средь холода и грусти волостей,
Он был в пустыне небеса запущен
Надеждой исстрадавшихся людей.
Ему орбиты были незнакомы,
Он оживал в часы глухой тоски,
О нем не говорили астрономы,
За ним следили только бедняки.
...Но в смертный час над потрясенной Волгой
Он будущее мира отстоял.
Его не признавали: «Это — опыт»,
В сердцах твердили: «Это — русских дурь»,
Пока не увидали в телескопы
Его кружение средь звездных бурь.
Не знаю, догадаются, поймут ли...
Он сорок лет бушует надо мной,
Моих надежд, моей тревоги спутник,
Немыслимый, далекий и родной.

(«Спутник»)

Этими сильными стихами, глубоко раскрывающими духовную сущность Ильи Эренбурга — поэта и человека, можно было бы закончить наш очерк. Но ими не заканчивается путь поэта. Еще десять лет после создания этих строк он отдавал себя творчеству, общественной деятельности. В стихах последнего десятилетия его жизни звучат те же ноты, что определяли его поэзию прошлых лет. И прежде всего — это память войны в «Сердце солдата». «До Петушков рукой податы!» Этот призыв давних военных лет вырастает в одном из его стихотворений в символ, и уже сам поэт, обращаясь к своим современникам, говорит:

Друзья и сверстники развалин
И строек сверстники, мой край,
Мы сорок лет не разувались,
И, если нам приснится рай,
Мы не поверим.
Стой, не мешкай,
Не для того мы здесь, чтоб спать!

Какой там рай? Есть перебежка —
До Петушков рукой подать!

(«Сердце солдата»)

Это настоящий гимн динамичной, напряженной, деятельной жизни!

Часто возвращается он к стихам наступательного мира — так можно назвать эту тему в творчестве Эренбурга. Это не лозунговая поэзия, перо поэта бывает очень тонким. В одном из стихотворений он пишет о девушке, читающей любовную записку на заснеженной улице. И когда поэт слышит «на громких сборищах Про ненависть, про бомбы и про стронций», он вспоминает

. . .улицу морозную
И облако у каменного зданья,
Огромный мир с бесчисленными звездами
И крохотное, слабое дыханье.

(«Был пятый час среди январских сумерек. . .»)

Снова и снова задумывается он о назначении и путях искусства, о своем месте в жизни:

Но ты ответишь перед всеми
Не только за себя — за Время.

(«Мы говорим, когда нам плохо. . .»)

А искусству он отдает самые лучшие слова:

Искусство тем и живо на века —
Одно пятно, стихов одна строка
Меняют жизнь, настраивают душу.
Они ничтожны — в этот век ракет —
И непреложны — ими светел свет.
Всё нарушал, искусства не нарушу.

(«Сонет»)

Десять стихотворений объединяются заглавием «Старость». Стихи мудрости и прозорливости. В них вновь и вновь раскрывается мягущаяся, беспокойная, страстная натура Эренбурга. «Молодому кажется, что к старости Расступаются густые заросли, Всё измерено, давно погашено. . .»

Всё не так. В моем проклятом возрасте
Карты розданы, но нет уж козыря,
Страсть грызет и требует по-прежнему,
Подгоняет сердце, будто не жил я,
И хотя уже готовы вынести,
Хватит на двоих непримиримости. . .

(«Молодому кажется, что к старости. . .»)

Но не одна непримиримость удерживает поэта на земле. В сердце у него еще много любви и доброты:

Если держит еще — не надежда,
А густая и цепкая нежность,
Что из сердца не уберется,
Если сердце всё еще бьется.

(«Позабыть на одну минуту. . .»)

Приходит извечное человеческое ощущение: «Я сколько жил, а всё не дожил, Не доглядел, не долюбил». Но дверь уже закрывается, и ее не удержать ослабевшими руками. И перед захлопнутой дверью остается повторить слова поэта: «Умрет садовник, что сажает семя, И не увидит первого плода. . .»,

Но нежная звезда давно погасла,
И виден мне ее горячий свет.

(«Умрет садовник, что сажает семя. . .»)

Этим строкам поэт не придавал значения самоэпитифии, но мы их адресуем непосредственно Эренбургу. Лишь один эпитет хотелось бы изменить: не «нежная», а колючая звезда вела поэта по градам и весям сущего мира.

В 1967 году И. Г. Эренбурга не стало. Что хотелось бы сказать напоследок? Под разными углами зрения можно смотреть на его поэзию. Возьмем хотя бы такой аспект. Перед нами прошла жизнь одного из интереснейших людей эпохи. Причем рассказанная им самим, может быть, с большей достоверностью, чем в мемуарах, где прошлые реалии согласовывались с поздними оценками. А в стихах все горячее с пылу, все — каждодневная исповедь. Нет имен, нет происшествий, зато есть большее — события, время и свое отношение к ним. Вы прикасаетесь к обнаженному нерву века, и он напрягается, дрожит, вибрирует под вашими пальцами.

Есть и другой аспект: поэзия Эренбурга имеет самодовлеющее значение, и можно разбирать ее от стиха к стиху, от строки к строке. Столкновение декаданса и реализма в раннем творчестве поэта и бесспорная победа реалистической тенденции в его поздних стихах станет тогда предметом внимания. Путь многих талантливых писателей, начинавших еще до революции и прошедших страдальный путь от всевозможных модернистских течений к социалистическому реализму, был путем Эренбурга.

Но с какой бы точки зрения ни взглянуть на его поэзию, она останется поэзией страсти и борьбы. Безмерную страсть вложил поэт в дело всей своей жизни — борьбу за свободу против фашизма, за мир против войны, за людское счастье. По основному счету в этом — главное значение поэзии Ильи Эренбурга.

Сергей Наровчатов

СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Так устали согнутые руки
От глубоко вставленных гвоздей,
Столько страшной, непосильной скуки
Умирать зачем-то за людей.

Им так скучно без огня и жара
Кровь мою по полю разносить,
Чтобы с всплеском нового удара
Руки кверху снова заносить.

Сколько скуки было у Пилата,
Сколько высшей скуки пред собой,
В миг, когда над урной розовой
Руки умывал перед толпой.

А теперь несбыточного чуда
Так напрасно ждут ученики.
Самый умный сгорбленный Иуда
Предал, и скорее, чем враги.

Царство человеческого сына —
В голом поле обветшалый крест.
Может быть, поплачет Магдалина,
Да и ей не верить надоест.

А кругом — кругом всё то же поле,
Больше некуда и не на что взглянуть.
Только стражники без радости и боли
Добивают сморщенную грудь.

Между маем и июлем 1910

2. ПАРИЖ

Тяжелый сумрак дрогнул и, растаяв,
Чуть оголил фигуры труб и крыш.
Под четкий стук разбуженных трамваев
Встречает утро заспанный Париж.
И утомленных подымает властно
Грядущий день, всемогущ и несует.
Какой-то свет тупой и безучастный
Над пробужденным городом разлит.
И в этом полусвете-полумраке
Кидает день свой неизменный зов.
Как странно всем, что пьяные гуляки
Еще бредут из сонных кабаков.
Под крик гудков бессмысленно и глухо
Проходит новый день — еще один!
И завтра будет нищая старуха
Его искать среди мусорных корзин.

А днем в Париже знойно или туманно,
Фабричный дым, торговков голоса, —
Когда глядишь, то далеко и странно,
Что где-то солнце есть и небеса.
В садах, толкаясь в оступевшей груди,
Кричат младенцы сотней голосов,
И женщины высовывают груди,
Отвисшие от боли и родов.
Стучат машины в такт неторопливо,
В конторах пишут тысячи людей,
И час за часом вяло и лениво
Показывают башни площадей.

По вечерам, собираясь в рестораны,
Мужчины ждут, чтоб опустилась тьма,
И при луне, насыщены и пьяны,
Идут толпой в публичные дома.
А в маленьких кафе и на собраниях
Рабочие бунтуют и поют,
Чтоб завтра утром в ненавистных зданиях
Найти тяжелый и позорный труд.

Блуждает ночь по улицам тоскливым,
Я с ней иду, измученный, туда,

Где траурно-янтарным переливом
К себе зовет пустынная вода.
И до утра над Сеною недужной
Я думаю о счастье и о том,
Как жизнь прошла бесследно и ненужно
В Париже непонятном и чужом.

Апрель или май 1911

3. ВОЗВРАТ

Будут времена, когда, мертвы и слепы,
Люди позабудут солнце и леса
И до небосвода вырастут их склепы,
Едким дымом покрывая небеса.
Будут времена: не ведая желаний
И включивши страсть в обычные дела,
Люди станут прятать в траурные ткани
Руки и лицо, как некогда тела.

Но тогда, я знаю, совершится чудо,
Люди обессият в душных городах.
Овладеет ими новая причуда —
Жить, как прадеды, в болотах и в лесах.
Увлекут их травы, листья и деревья,
Нивы, пастбища, покрытые травой.
Побредут они на древние кочевья,
Стариков и женщин увлекут с собой.
Перейдя границы города — заставы,
Издали завидев первые поля,
Люди будут с криком припадать на травы,
Плакать в исступленье и кричать: «Земля!»

В парах падая на травяное ложе,
Люди испугают дремлющих зверей.
Женщины впервые без стыдливой дрожи
Станут прижимать ликующих мужей.

Задыхаясь от нахлынувшего смеха,
Каждый будет весел, исступлен и наг.
И ответит на людские крики эхо
Быстро одичавших кошек и собак.

Далеко, почти сливаясь с небосводом,
На поля бросая мутно-желтый свет,
Будет еле виден по тяжелым сводам
Города истлевший и сухой скелет.

Апрель или май 1911

4. НА ВОКЗАЛЕ

Помнишь ты на вокзале
Грохот, крик, суету,
Затаенной печали
Только вздох на лету?
Было странно средь давки,
Беспокойно дрожа,
Говорить об отправке
Твоего багажа.
Разрыдаться б, как дети...
Но с улыбкой тупой
О каком-то билете
Мы болтали с тобой.
И лишь в миг расставанья
Я увидел, о чем
Мы в минуты свиданья
Тосковали вдвоем.

(1912)

5

Я скажу вам о детстве ушедшем, о маме
И о мамином черном платке,
О столовой с буфетом, с большими часами
И о белом щенке.
В летний полдень скажу вам о вкусе черники,
О червивых, изъеденных пнях
И о только что смолкнувшем крике
Перед вами в кустах.
Если осень придет, я скажу, что уснула
Опьяневшая муха на пыльном окне,
Что зима на последние астры дохнула
И что жалко их мне.

Я скажу вам о каждой минуте, о каждой!
И о каждом из прожитых дней.
Я люблю эту жизнь, с ненасытной жаждой
Прикасаюсь я к ней!

Март или апрель 1912

6

Мне двадцать первый год. Как много!
Апрель ушел, и предо мной
Сухая, пыльная дорога,
И духота, и летний зной.
Еще есть мама, сестры где-то,
И кто-то «мальчиком» зовет.
Но вот пройдут зима и лето,
Какой-нибудь случайный год,
И, отданный суровым думам,
Осыпется весны цветок,
И станет жестким и угрюмым
Неясный очерк пухлых щек.

Март или апрель 1912

7

Мне никто не скажет за уроком «слушай»,
Мне никто не скажет за обедом «кушай»,
И никто не назовет меня Илюшей,
И никто не сможет приласкать,
Как ласкала маленького мать.

Март или апрель 1912

8

Как скучно в «одиночке», вечер длинный,
А книги нет.
Но я мужчина,
И мне семнадцать лет.
Я, «Марсельезу» напевая,
Ложусь лицом к стене,

Но отдаленный гул трамвая
Напоминает мне,
Что есть Остоженка, и в переулке
Наш дом,
И кофе с молоком, и булки,
И мама за столом.
Темно в передней и в гостиной,
Дуняша подает обед. . .
Как плакать хочется! Но я мужчина,
И мне семнадцать лет. . .

Март или апрель 1912

9

Когда встают туманы злые
И ветер гасит мой камин,
В бреду мне чудится, Россия,
Безлюдие твоих равнин.
В моей мансарде полутемной,
Под шум парижской мостовой,
Ты кажешься мне столь огромной,
Столь беспримерно неживой,
Таишь такое безразличье,
Такое нехотенье жить,
Что я страшусь твое величье
Своею жалобой смутить.

Март или апрель 1912

10

Я помню серый, молчаливый,
Согбенный, как старушка, дом,
И двор, поросший весь крапивой,
И низкие кусты кругом.
Прохладные пустые сени,
Крыльцо и бабу на ступени,
В саду мальчишек голоса
И спящего на солнце пса.
В уютной низенькой столовой
Пыхтящий круглый самовар,

Над чаем прихотливый пар
И на столе пирог фруктовый,
Старушку в кружевном чепце
С улыбкой важной на лице.

Март или апрель 1912

11

Когда в Париже осень злая
Меня по улицам несет
И злобный дождь, не умолкая,
Лицо ослепшее сечет, —
Как я грущу по русским зимам,
Каким навек недостижимым
Мне кажется и первый снег,
И санок окрыленный бег,
И над уснувшими домами
Чуть видный голубой дымок,
И в окнах робкий огонек,
Зажженный милыми руками,
Калитки скрип, собачий лай
И у огня горячий чай.

Март или апрель 1912

12

Я знаю: ты глядишь часами
На чисто выметенный двор,
На окна с пыльными цветами,
На облупившийся забор,
На крышу, где за корку хлеба
Дерутся с криком воробьи,
И на клочок пустого неба,
Едва сереющий вдали.

.
О, сбрось тупое безразличье
И, не мечтая об ином,
Пойми убогое величье
Происходящего кругом.

Март или апрель 1912

13

Как радостна весна родная:
 И в небе мутном облака,
 И эта взбухшая, большая,
 Оковы рвущая река.
 И я гляжу, как птичья стая
 Слетает на верхи берез
 И как ее пугает, лая,
 Веселый и продрогший пес.

Март или апрель 1912

14

Когда ты с грустью терпеливой
 Положишь у креста венки,
 И небо полночью слезливой
 Размоет глину и песок,
 И колокол, тупой и медный,
 Мне годовщину пропоет,
 И всё, что было мной, бесследно
 Исчезнет, сгинет и пройдет, —
 Тогда туман, густой и синий,
 Пойдет от тающей земли,
 И кашки расцветут в долине,
 И пропоет рожок вдали.
 Кадите вы, поля, кадите
 Свои волшебные хвалы,
 Нагую землю взбороздите
 Вы, терпеливые воли!
 И вся земля живи и смейся,
 Лучи серебряные пей,
 И где-то в глубине развейся
 Остаток горечи моей!

Март или апрель 1912

15

Если ты к земле приложишь ухо,
 То услышишь: крыльями звеня,
 В тонкой паутине бьется муха,
 А в корнях изъеденного пня

Прорастают новые побеги,
Прячась в хвое и в сухих листьях.
На дороге вязнут и скрипят телеги,
Утопая в рыхлых колеях.
Ты услышишь: пробегает белка,
Листьями пугливыми шурша,
И над речкой пересохшей, мелкой
Селезень кряхтит среди камыша.
И поет бадья у нашего колодца,
И девчонки с ягодой прошли.
Ты услышишь, как дрожит и бьется
Сердце неумолчное земли.

Март или апрель 1912

16. ГОД

Что лучше зимнего рассвета,
И дыма синего у труб,
И еле слышного привета,
Слетающего с милых губ?
Часам к пяти, пока не поздно,
Приятно выйти погулять,
Кричать среди тишины морозной
И снег, притаптывая, мять.
А вечером с тобою снова
У вспыхивающих углей
Мы дремлем в маленькой столовой,
И ты становишься нежней.
И к чаю сливное варенье,
И ложек серебристый стук,
Сверчка задумчивое пенье,
Метели голоса, и вдруг
Усталое прикосновенье
Твоих неуловимых рук.
Что радостней весной дыма
Недавно вспаханных полей
И тонкой, еле уловимой,
Прозрачной зелени ветвей?
Забывши о недавнем снеге,
Уж анемоны расцвели,

И рвут корявые побеги
Пласты тяжелые земли.
Средь стада бубенец смеется,
Вдали гудят колокола,
И взносится и раздается
Неповторимая хвала.
И юноша, покинув келью,
В леса пушистые идет
И тихо плачущей свирелью
Подругу робкую зовет.
И пахнут солнцем, пахнут прелью
Бугры изрытые болот.
Что слаще и острее лета:
Его сомнений и тревог,
До боли жалящего света
И пыльных солнечных дорог?
Соседней рощицы опушка
Уж начинает опадать,
И голосистая кукушка
Перестает в ней куковать.
И в полдень уж длиннее тени,
И в поле уж желтее рожь,
И ты наивной и весенней
Передо мною не пройдешь.
Гроза. Под крышей на соломе,
Раскинув руки, я лежу
И в наплывающей истоме
На небо тусклое гляжу,
И в этом блеске, в этом громе
Свою тревогу нахожу.
Сильней всего люблю я осень,
Покойно и легко я пью
Ее задумчивую просинь
И ветра ровную струю.
Последняя полоска сжата,
И овдовели тополя,
И пахнут горечью и мятой
Необозримые поля.
Затихла песня трудовая,
Готово новое вино,
И падает струя хмельная
С веселым разговором на дно.

И всё ушло, и всё далёко —
И нежно-серебристый май,
И леса шум, и гул потока,
И крикнуть хочется «прощай!»
Какой-то птице одинокой,
Отставшей от пролетных стай.

Март или апрель 1912

17. ОСЕНЬЮ

О чем-то скучно и лениво
Досказывает мокрый лес.
Обрывки туч дрожат пугливо
И жмутся на краю небес.
Кой-где дубки, орешник мелкий,
А за кустами тишь и глушь,
Лишь слышен шорох юркой белки
Да ноги хлюпают меж луж.
Что я скажу тебе сегодня,
Когда еще желтей листва,
Когда темней и безысходней
Мои ненужные слова?
А там уж кружит птичья стая.
Куда она летит опять?
И высь такая голубая,
Что не измерить, не понять.
И, слыша крик, душа, как птица
С дробинкой маленькой в крыле,
Еще наверх взлететь стремится
И грузно падает к земле.

(1913)

18. ВЕЧЕРОМ

Ветер разогнал серебряные тучи,
Ослабел и в низеньких кустах залег.
Я иду вдоль зелени колючей,
Мокрая трава дрожит у ног.
Сжатые поля — как шашечные доски.
Падает снопами золотой овес.

И, цепляясь за кустарник хлесткий,
По дороге вязнет полный воз.
И под лай собаки розовое стадо
Тянется с поросших вереском холмов.
Может, сердцу ничего не надо,
Кроме песни дальней бубенцов,
Кроме голосов мальчишек, там, в селенье,
Где над крышами ползет и тает дым,
Кроме позднего недоуменья
Перед миром детским и простым.

(1913)

19. РОССИИ

Ты прости меня, Россия, на чужбине
Больше я не в силах жить твоей святыней.
Слишком рано отнят от твоей груди,
Я не помню, что осталось позади.
Если я когда-нибудь увижу снова
И носильщиков, и надпись «Вержболово»,
Мутный, ласковый весенний день,
Талый снег и горечь деревень,
На дворе церковном бурые дорожки
И березки хилой тонкие сережки, —
Я пойму, как пред тобой я нищ и мал,
Как я много в эти годы растерял.
И тогда, быть может, соберу я снова
Всё, что сохранилось детского, родного,
И отдам тебе остатки прежних сил,
Что случайно я сберег и утаил.

Февраль или март 1913

20

.
Я бы мог прожить совсем иначе,
И душа когда-то создана была
Для какой-нибудь московской дачи,
Где со стенок капает смола,
Где идешь, зарею пробужденный,

50

К берегу отлогому реки,
Чтоб увидеть, как по влаге сонной
Бегают смешные паучки.
Милая, далекая, поведай,
Отчего ты стала мне чужда,
Отчего к тебе я не приеду,
Не смогу приехать никогда?..

Февраль или март 1913

21. СУМЕРКИ

Злобный ветер, злобный холод,
Мутный вечер настает,
И колючий острый голод
Дико гложет мой живот.
Ветер взносит хлопья пыли
С едкой, грязной мостовой,
И жужжат автомобили,
Как густой осиный рой,
И, блудливо строя глазки,
Старичок идет, свистя,
И у женщины в коляске
Жалобно мычит дитя.
И тоска, и пыль, и холод,
Мутный вечер настает,
И колючий острый голод
Дико гложет мой живот.

Февраль или март 1913

22. ВЕРЛЕН В СТАРОСТИ

Лысый, грязный, как бездомная собака,
Ночью он бродил забытый и ничей.
Каждый кабачок и каждая клоака
Знали хорошо его среди гостей.
За своим абсентом молча, каждой ночью
Он досиживал до «утренней звезды»,
И торчали в беспорядке клочья
Перепутанной и неопрятной бороды.

Но, бывало, Муза, старика жалея,
Приходила и шептала о былом,
И тогда он брал у сонного лакея
Белый лист, залитый кофе и вином.
По его лицу ребенка и сатира
Пробегал какой-то сладостный намек,
И, далек от злобы и далек от мира,
Он писал, писал и не писать не мог. . .

Февраль или март 1913

23. О МОСКВЕ

Есть город с пыльными заставами,
С большими золотыми главами,
С особняками деревянными,
С мастеровыми вечно пьяными,
И столько близкого и милого
В словах: Арбат, Дорогомилово. . .

Февраль или март 1913

24. О МАМЕ

Если ночью не уснешь, бывало,
Босыми ногами,
Через темную большую залу,
Прибегаешь к маме.
Над кроватью мамина аптечка —
Капли и пилюли,
Догорающая свечка
И белье на стуле.
Посидишь — и станет почему-то
Легче и печальней.
Помню запах мыла и уюта
В полутемной спальне. . .

Февраль или март 1913

Может, можно отойти, вернуться
 В маленький и пыльный городок,
 Где какой-нибудь Барбос иль Куцый
 С громким лаем носится у ног.
 Может, можно?

Февраль или март 1913

26—27. ВЗДОХИ ИЗ ЧУЖБИНЫ

1

ПЛЮЩИХА

Значит, снова мечты о России —
 Лишь напрасно приснившийся сон;
 Значит, снова дороги чужие,
 И по ним я идти обречен! .
 И бродить у Вандомской колонны
 Или в плоских садах Тюльери,
 Где над лужами вечер влюбленный
 Рассыпает, дрожа, фонари,
 Где, как будто веселые птицы,
 Выбегают в двенадцать часов
 Из раскрытых домов мастерицы,
 И у каждой букетик цветов.
 О, бродить и вздыхать о Плющихе,
 Где, разбуженный лаем собак,
 Одинокий, печальный и тихий
 Из сирени глядит особняк,
 Где, кочуя по хилым березкам,
 Воробьи затевают балы
 И где пахнут натертые воском
 И нагретые солнцем полы...

ДЕВИЧЬЕ ПОЛЕ

Уж слеза за слезою
 Пробирается с крыш,
 И неловкой ногою
 По дорожке скользишь.
 И милей и коварней
 Пооттаявший лед,
 И фабричные парни
 Задевают народ.
 И пойдешь от гуляний —
 Вдалеке монастырь,
 И извощичьи сани
 Улетают в пустырь.
 Скоро снег этот слабый
 И отсюда уйдет
 И веселые бабы
 Налетят в огород.
 И от бабьего гама,
 И от крика грачей,
 И от греющих прямо
 Подобревших лучей
 Станет нежно-зеленым
 Этот снежный пустырь,
 И откликнется звоном,
 Загудит монастырь.

Март 1913

28. КАК УМРУ

Комната в том же отеле, — обвиты углы паутиной.
 Я лежу на высокой постели, придавленный тяжелой пери-
 ной. Обои с цветами. Книг нелепая груда. Зеркало в пыш-
 ной раме. И табак, и табак повсюду. . .

Сосед по лестнице всходит, ключом гремит неуклю-
 же. . .

Мне сегодня ни лучше, ни хуже, и нет никаких откρο-
 вений, о которых вы столько писали, только больше обыч-
 ной лени и немного меньше печали.

Май 1913

29. ФРАНСИСУ ЖАММУ

Часто, блуждая вечером по Парижу, я ваш скромный домик снова вижу.

Зимнее солнце сквозь окна светит, на полу играют ваши дети. У камина старая собака, греясь, спит и громко дышит, в камине трещат еловые шишки. Вы говорите, а я слушаю и думаю, откуда в вас столько покоя, думаю о том, что меня ждет дорога угрюмая, вокзал и пропахший дымом поезд.

Если моя душа в Париже не погибла, спасибо вам за это, Жамм! Спасибо! Еще кружат надо мной метели темными стаями, еще душа не смеет назвать Того, к Кому обращается. Но вы, нашедший для своей молитвы восторг непересохшего ручья, молясь за всех, немного помолитесь за то, чтоб мог молиться я!

Ноябрь 1913

30

Боже, милый, ласковый, как ты мне близок минутами, как ты тешишь сердце сказками, сказками, прибаутками. Разве не дети мы, разве ты не балуешь нас грозами, дождями летними, сухими морозами?

Когда я большую собаку глажу и чую на руке ее язык горячий и влажный, за собакой, что меня робко лижет, я тебя, господи, вижу.

Ноябрь 1913

31

Если бы ты была козой, я бы выгонял тебя в поле, ходил бы за тобой и давал бы тебе соли.

Но ты не коза, а девушка, с гребенками, с платьями, с юбками, с пальцами слишком тонкими, с мечтами слишком хрупкими. И я боюсь с тобой говорить, боюсь заглянуть в твою душу, как дети боятся разбить дорожную игрушку.

Ноябрь 1913

Звезд у бога много — целый светлый рай, а ты у меня одна на свете, обожди, не умирай! А когда умрешь всё же и станешь звездой в раю, ты так скажи господу:

«Боже, исполни просьбу мою!»

Он исполнит, и ты вернешься ко мне назад в своей ночной рубашке, длинной, длинной до пят.

Я буду в твоей комнате тогда и, глядя на небо, скажу: «Упала звезда!..»

Ноябрь 1913

Полдевятого, пора в школу. Ранец от книг тяжелый...

Допиваю кофе крупными глотками, темно еще, лампа горит. Хочется, перед тем как идти, забежать к маме.

«Ты не знаешь, мама спит?»

В темной спальне большой мраморный умывальник...

И теперь, после стольких лет разлуки, после стольких тяжелых лет, помню я, как утром мамины руки пахли мылом «Vera Violette».

Ноябрь 1913

От лампы ровный круг, тихо вокруг. Только кто-то поднимается по лестнице громко, может быть, подойдет сейчас к двери и спросит:

«Эренбург, вы дома?»

Нет, никто не пришел. Я гляжу на заваленный книгами стол. Сколько за эти пять лет прожито, из нового ничего не вышло, а старое... старое ушло, и странно думать, что сейчас где-то в Москве на Остоженке мама сидит и пишет:

«Я послала тебе русский чай, смотри не простудись и не скучай...»

Ноябрь 1913

Когда вы уйдете навек, я буду верить, как будто вы вышли из комнаты, не прикрыв плотно двери.

Когда вы уснете навек, я скажу вам:

«Спокойной ночи».

И сестрам скажу:

«Тише, папа спать хочет...»

Я скажу:

«Мама задремала в кресле. С ней нельзя говорить, но скоро мы будем вместе. Мы будем снова ждать папу к обеду в нашей столовой. Папа выйдет, взглянет своими добрыми близорукими глазами, от радости как-то выпрямится весь и спросит у мамы:

„А дети все здесь?..“»

Ноябрь 1913

Иногда вспоминаю костры на снегу, иногда даже их вспоминать не могу.

Утренний ветер марта особенно дик и свеж, но не двинется с места барка моих последних надежд. Погоди! Кто-то тащит весь непосильный груз...

Боже! Имя твое всё чаще срывается с этих уст...

(1914)

В нежном свете гаснущего газа мелькают женщины, как летучие мыши. На улице пустой и влажной шелест тонкого шелка слышен.

Я сяду в маленьком баре, ко мне прилетит летучая мышь и скажет: «Ты снова печален, ты снова один сидишь».

Как тонко сделаны губы, среди позднего золота мак, и целую ночь я буду глядеть на их тайный знак.

Будет тихо и пусто меж нами; жадно прильнув к стеклу, выпьет она сухими губами белую мутную мглу. Не станет абсента в стакане, не станет больше огней, и меня, и меня не станет со всей тяготой моей. И ярче на шляпе

алого банта, и ярче на шее коралловых бус — раскроется дивная рана богом рассеченных уст.

Но утром опять, тяжела и бела, сквозь окна вольется мутная мгла. И будет утру чуждым и лишним последний взмах крыла летучей мыши .

(1914)

38

Вечера, тенистые, как пальмы, вы всего понятней и родней.

Я опять слежу на площади зеркальной легкий бег испуганных огней. Как они убегают быстро, и за ними гонятся тени, похожие на огромных птиц; иногда расцветают на тонких стеблях нарциссы девичьих лиц.

Я стою, прислонившись к стене, хорошо и покойно мне. Ласковый холод стены, дождик и запах весны, запах смутный, ненужный каждой маленькой лужи. Я половодья, и гула, и ветра не помню; у мокрой стены хорошо мне. . .

Только сны о золоте Рима я от теплых дождей берегу: круглые, они горят, как апельсины, на каком-то темном берегу.

(1914)

39

Мы плясали с тобой долго, как два дрессированных волка. Тоска-укротитель держала свой хлыст наготове, и это мы звали любовью.

Синяя стелется мгла. Зимний вечер ласков и чист.

Ты ушла. . . Я целую поломанный хлыст. . .

В книге оставляют закладку, чтобы опять опьяняться теми же страницами. Если б вернуться обратно к далекому, почти позабытому.

В эти ночи весенние на каком-то прочитанном скучном романе я пишу: «Флоренция, Флоренция», и буквы рвант.

Всё, что было хорошего в жизни, прошло среди низких холмов, где ветер гонит из Пизы стада небесных во-

лов, где вечером у Арно тепло и сыро и дрожат огоньками лавочки ювелиров, где англичане бродят толпами, где закатами тихими и долгими, как свеча, горит кампанило за всю земную любовь, где вместе с нею мы были и где не будем вновь.

Так много — три года! . . . И не вернуться обратно к далекому, почти позабытому. . .

Одна закладка меж двумя страницами. . .

(1914)

40

Ты знаешь, Он не Добрый Пастырь! Я дик и, может быть, лукав, я ночью чую слишком часто дурман неукротимых трав. Я тонкую кору подрезал, чтоб выпить сок горячий и телесный, я тронул черное железо опавшего пустого леса. Падал я, глядя на желтые тучи, как им завидовал я! Веру в Него я мучил, как мальчик воробья.

Но Он в минуту заката мне дал вино тоски и тьмы, такое крепкое, что, зыпив, я заплакал и вспомнил серые глаза Фомы.

Между январем и мартом 1914

41. ДО КОНЦА

Есть жизни точно тонкие тропинки,
Они скрываются средь зелени густой,
Отравленные синей дымкой
И ускользающей мечтой.
Но жизнь моя — просторная дорога,
Она от пыли белая, она — навек.
Ты долго шел? Но дней у бога много!
И где привал? И где ночлег?

Еще давно, еще вначале,
Когда кусты мою дорогу прикрывали,
Когда казалось, что идти недалеко,
А если далеко, то так легко, —

Мне встретилась простая женщина,
Такая светлая и незаметная, как все,
Но птицы вдалеке звенели — легкие
бубенчики,

И было всё в росе.
Она мне отдала свое большое сердце,
Тяжелое, как все сердца.
Отдав его, закуталась в туман, померкла.
Но этот груз мне сладок до конца.
Она мне отдала свое большое сердце,
Тяжелое, как все сердца.

Март 1914

42

Я сегодня вспомнил о смерти,
Вспомнил так, читая, незначай.
И запрыгало сердце,
Как маленький попугай.
Прыгая, хлопает крыльями на шесте,
Клюет какие-то горькие зерна
И кричит: «Не могу! Не могу!
Если это должно быть так скоро —
Я не могу!»

О, я лгал тебе прежде, —
Даже самое синее небо
Мне никогда не заменит
Больного февральского снега.

Гонец, ты с недобрым послан!
Заблудись, подожди, не спеши!
Божье слово слишком тяжелая роскошь,
И оно не для всякой души.

Май 1914

На холму унынье и вереск,
 И пастух на холму задремал.
 Я знаю, ты не поверишь,
 До чего я идти устал.
 Рога окунули коровы
 В красное море и спят.
 Куда идти мне снова,
 Когда потухает закат?
 Где-то бубенчик звякнул,
 Такой убитый.
 Залаяла собака,
 И снова всё тихо...

И если ты белый месяц увидишь —
 Его не увидит пастух на холму.
 И если споешь ты о прежней обиде —
 Я песни твоей не пойму.

Июнь 1914

44. О СОБОРЕ РЕЙМСА

Доходил смердящий ветер
 И по улицам носил дитя потерянное.
 И стучали тихие калеки
 Деревом.
 Господень ларь, уныл и дымчат,
 Стоял расщепленный, как дуб,
 Лишь обратив на запад стылый и пустынный
 Последний суд.
 И семь птенцов, голодные, взлетали,
 В ночи не видя ясного лица,
 На грозный и сулящий палец
 Окаменелого творца.
 Пришла ко мне ты, тяжкая, нагая,
 Спросить, готов ли я.

Готов!

Но погоди! Ты слышишь — это плачет Каин
 Над пеплом жертвенных даров.

Декабрь 1914

Если б сегодня пророк пришел,
Я забыл бы о трудной свободе, —
Как некий сказочный волк,
Я лизал бы его благодатные ноги.

Но никто не хочет меня победить.
Еще вспоминая, я плачу,
Но молитвы — из книг,
Слезы — негорячие.
Утро пришло, не тушу свечу,
Гляжу на нее и молчу.
Сейчас запоеет будильник,
Заведенный к чему-то вчера.
Пора! Пора! Пора!
Готов, но еще усилье. . .

Ты, глядящая в море испытующим взглядом,
Смотри — недвижимен средь вод,
Горит омраченный корабль,
И матрос на мачте поет.

Декабрь 1914

«Атаки отбиты. . . победа. . .»
Маленькие, ровные слова.

Над бедным усталым ковчегом
Всё тех же ночей синева.
Последние выси
Покрыла вода.
И дальше астральных чисел
Никому не понять никогда.

Но дикий ангел бросит сети
В глухие воды и уснет.
Он, засыпая, не приметит
Какой-то праздный огонек.

И будет волн разбег сердитый,
Небесной степи синева.
...Он может тихо спать, и ныне не затмится
Тупая святость божества.

Декабрь 1914

47. ГОГОЛЬ

Неуклюжий иностранец,
Он сидел в кофейне «Греко».
Были ранние сумерки
Римского лета,
Ласточки реяли над серыми церквами.
Завлекла его у ног мадонны
Ангельская тягота и меч,
А потом на Пьяцца Спанья запах розы...
(Медные тритоны
Не устанут извиваться и звенеть.)

Вспомнил он поля и ночи,
Колокольцев причитанье
И туман Невы.

Странный иностранец,
Он просил кого-то
(Вечер к тонкому стеклу приник):
«От летучих, от ползучих и от прочих
Охрани!»
Сумрак, крылья распуская,
Ласточек вспугнул.
В маленькой кофейне двое
Опечалились далекой синевой.
...И тогда припал к его губам сладчайший,
Самый хитрый, самый свой.

Январь 1915

48. МОИ СЛОВА

В час, когда далекая заря,
Усмехаясь, тихо пенит
Белые, безликие моря, —
Маленький рождается младенец,
А смеется, как старик
Посмеявшись, умирает, — это лучше!
День за днем, и я привык
К этим глазкам, к их пугающей воде
И к тому, что руки, нет, не руки — ручки
Отбиваются от близких бед.
(Милый трупик,
Забелит тебя рассветный снег!)

Тоненький огарок знает,
Как заря их крестит, крестит-отпевает.
Встали и очнулись.
Утро наконец.
Одного еще качаю в люльке —
Тоже не жилец. . .

Январь 1915

49

Н. А. Милюковой

Когда еще не совсем стемнело,
Зажигают на площади газовый рожок.
Расплывается пламя белое
Среди небесных песков.
Если б знать, зачем он, никем не замеченный,
Смотрит в сизую даль
В час, когда влага весеннего вечера
Еще не тронула теплый асфальт.

О, не надо, не надо бессмертья!
Слишком трудно думать о нем.
Только порадуйте бедное сердце
Одним ответным огнем!

Январь 1915





Люблю немецкий старый городок —
 На площади липу,
 Маленькие окна с геранями,
 Над лавкой серебряный рог
 И во всем этот легкий привкус
 Милой романтики.

Летний дождик каплет.
 Люб мне бледно-красный цвет моркови
 На сером камне.
 За цветными стеклами клетчатая скатерть,
 И птица плачет о воле,
 О нежной, о давней.

А в церкви никто не улыбнется, —
 Кому молиться? Зачем?
 И благочестивые уродцы
 Глядят со стен.
 Сторож тихо передвигает стулья.
 Каплет дождик.
 Уродцы уснули.

Январь 1915

51—61. ИЗ ЦИКЛА «РУЧНЫЕ ТЕНИ»

1

Е. Ш.

Каторжница, и в минуты злобы
 Губы темные на всё способны.
 От какой Сибири ты взяла эти скулы,
 Эту волю к разгрому, к распаду, к разгулу?
 Жизни твоей половодья, пороги
 И пожары далеких усобиц. . .
 Сколько раз этих щек провалы
 Синели от слез и от жалоб,

А бровей иступленные крылья
Распускались, сбирались и бились!..

Но господь обрел в этом пепле
Живой огонь и глаза затеплил,
Разъятые жалостью, дымом, гарью —
Огромные, темные, карие.

Февраль 1915

2

М. Н.

В маленькой клетке щебечет и мечется,
Что-то повторяет бесконечное.
Войдешь — расспросы за расспросами,
Хлопоты знакомые.
Только как странно смотрят глаза раскосые,
Зеленые глаза, обреченные.
Бойтся, что наскучила,
На минуту отходит в угол,
Но если вы даже сделаете из птицы чучело,
Как глаза ее будут глядеть испуганно... .

Февраль 1915

3

Н. А. Милюковой

Твои манеры милой тетки
Из бледно-розовой гостиной,
И голос медленный и кроткий,
И на груди аквамарины.
Но взор твой, ускользя праздню
В тупой и безразличной лени,
Таит все прихоти соблазна,
Все смены прежних наслаждений.
Как странно встретить у ребенка,
В минуту тихого мечтанья,
Какой-то след усмешки тонкой
Непоправимого познанья!..

Январь 1912

Веры Инбер

Были слоны из кипарисового дерева,
Из бронзы, из кости, еще из чего-то.
Не помогли амулеты — маленькие слоны,
Не помогли даже рифмы «Ленотра и смотра»...

Вижу вас — вечно новая шляпка
И волосы ветра полны.
Голос капризный, лукавый:
«Где вы? Скажете еще! Неправда...»

Не помогли амулеты.
Испить вам дано
Жизни думы и годы —
Не хмельную печаль, не чужое вино,
Только холодную воду.

Февраль 1915

Маревны

Ты смеешься весьма миловидно и просто,
И волосы у тебя соломенные.

Ах, как больно глазам от известки
Заплясавших, задрыгавших домиков!
Жарко три дня подряд.
Что ж, купайся, пей лимонад!
Нет, я лучше у горячих стен
Потанцую под «Кармен»,
Потанцую, подурачусь, покричу —
В домике оставил я трескучую свечу!..

Но болезненное святое дитяtko
Не потерпит никакой беды,
Чтоб залить огонь, у бога выпросит
Маленькую капельку воды.

Май 1915

Пляши вокруг жара его волос!
 Не пытай, как он нес
 Постами
 Этот легкий звенящий пламень.
 Но иди домой и отдай подруге
 Один утаенный и стынувший уголь.
 Когда же средь бед и горя
 Он станет уныл и черен,
 Скажи, но только негромко:
 «Прости, я сегодня видел Бальмонта...»

Апрель 1915

Елей как бы придуманного имени
 И вежливость глаз очень ласковых.
 Но за свитками волос густыми
 Порой мелькнет порыв опасный
 Осеннего и умирающего фавна.
 Не выжата гроздь, тронутая холодом...
 Но под тканью чуется темное право
 Плоти его тяжелой.
 Пишет он книгу,
 Вдруг обернется — книги не станет...
 Он особенно любит прыгать,
 Но ему немного неловко, что он пугает прыжками.
 Голова его огромная,
 Столько имен и цитат в ней зачем-то хранится,
 А косматое сердце ребенка,
 И вместо ног — копыта.

Февраль 1915

Ты сидел на низенькой лестнице,
 Модильяни.
 Крики твои — буревестника,
 Улыбки — обезьяньи.

А масляный свет приспущенной лампы,
А жарких волос синева! . .
И вдруг я услышал страшного Данта —
Загудели, расплескались темные слова.
Ты бросил книгу,
Ты падал и прыгал,
Ты прыгал по зале,
И летящие свечи тебя пеленали.
О безумец без имени!
Ты кричал: «Я могу! Я могу!»
И четкие черные пинии
Вырастали в горящем мозгу.
Великая тварь —
Ты вышел, заплакал и лег под фонарь.

Апрель 1915

9

В. Н.

Собирает кинжалы, богов китайских,
Пишет стихи и стихи читает,
Но в душе запустенье и дрема,
Темный чад непроветренных комнат.
Одинок пьет алкоголь и, бессильный,
Что-то бубнит о коврах королевы Матильды,
О случайно прочитанной книжке —
О Бергсоне, Рабле или о «Трупe в нише».
Хочется бить, ломать, бедокурить, —
Ах, ковры не застлали купеческой дури! . .
На лице очки и пухлые щеки,
А глаз не видно, глаз не найдете.
Ставни закрыты, никто не знает,
Как безобразит тихий хозяин,
Как плачет, и слезы ползут неловко
По пыльным, по сделанным щёкам. . .

Февраль 1915

Люблю твое лицо — оно непристойно и дико,
 Люблю я твой чин первобытный,
 Восточные губы, челку, красную кожу
 И всё, что любить почти невозможно.
 Как сросся ты со своей неуклюжей собакой,
 Из угла вдруг залаешь громко внезапно
 И смущенно глядишь: «Я дикий,
 Некомнатный, вы извините! . . .»
 Но страшно в твоей мастерской: собака,
 Прожженные трубки, ненужные книги и девичьих
 статуй

От какого-то ветра загнутые руки,
 Прибитые головы, надломленные шеи, —
 Это побеги лесов дремучих,
 Где кончала плясать Саломея. . .
 Ты стоишь среди них удивлен и пристыжен —
 Жалкий садовник! Темный провидец!

Февраль 1915

Горбится, мелкими шажками бежит
 Туда и обратно.
 Тонкие пальцы от всех обид
 Скручены как-то.
 Раздумчивый глаз
 И усмешка:
 Кое-что знаю про вас,
 Все мы здешние, все мы грешные!
 Жизнь нелегка,
 И очиститься нечем.
 Убьешь паука —
 Отойдешь и повесишься.
 Поглядит и бежит куда-то —
 Туда иль обратно.
 И, отвисшие, к ночи засохшие

(От молитвы иль только от страсти скрытой?),
Жадно ловят комнатный воздух
Губы семита.

Июнь 1915

62. КАНУН

На площади пел горбун,
Уходили, дивились прохожие:
«Тебе поклоняюсь, буйный канун
Черного года!
Монахи раскрывали горящие рясы,
Казали волосатую грудь.
Но земля изнывала от засухи,
И тупился серебряный плуг.
Речи говорили они дерзкие,
Поминали Его имена.
Лежит и стонет, рот отверст,
Суша, темна.
Приблизился вечер.
Кличет сын.
Ее вы хотели кровью человеческой
Напоить!
Тяжелы виноградные гроздья,
Собран хлеб.
Мальчик слепого за руку водит.
Все города обошли.
От горсти земли он ослеп.
Посыпал ее на горячие очи,
Затмились они.
Видите — стали белыми ночи
И чернью покрылись дни.
Раздайте вашу великую веру,
Чтоб пусто стало в сердцах!
И, темной ночи отверстые,
Целуйте следы слепца.
Ничего не таите — ибо время
Причаститься иной благодати!»
И пел горбунок о наставшем успении
Его преподобной матери.

Февраль 1915

63. НАД КНИГОЙ ВИЙОНА

Бедный мэтр Франсуа!
В таверне «Золотой осел» сегодня весело.
Пришел, усмехнулся даме
(Все мы грешные!),
Кинул на стол золотое экю.

На твоём Завещании
Три повешенных.
И горек твой дар
Моей печали
В этот желтый и мокрый март,
Когда даже камень истаял.

Пошел — монастырский двор,
И двери раскрыты к вечерне.
Маленький черт
Шилом колет соперника.
Всё равно!
Пил тяжелое туренское вино.
Ночи лик клонился ниже.
Пели девы: «Вот Он! Вот Он!»
Петухи кричали. Трижды
От Него отрекся Петр.

Февраль 1915

64. ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО МАРТА

Под золотом марта снега в оврагах вскипали.
На высокой паперти стоял слепой мальчик.
Простер он руку свою, прося подаянья,
Не к толпе прихожан, и не к пашне, синевшей
в тумане,
Но к желтому небу.

Это день исцелений! Гроза среди снега!
Бесплодные вдовы и девы в церкви. Он слушал,
Как о нежном сыночке голосила кликуша.
Он тянулся к небу, и в полдень
Кто-то золотом руку его наполнил.

Девять лун отойдут, и звезда загорится в Сочельник.
Погорюет жена над пустой колыбелью.
Но, боже, как будет он плакать, маленький мальчик,
Когда последние капли уйдут сквозь сжатые крепко
пальцы!..

Март 1915

65

Майское утро, и плачет шарманка,
Но сегодня я больше не встану.
Вы, в своем милосердии
Приносящая крест,
Расскажите о чьей-нибудь смерти,
Чтоб я не боялся чудес.
Нет, перестаньте,
Прогоните лучше его!..
Я знаю, что этот же самый шарманщик
Стоял над калекой Рембо.

Как совладать с весенними днями,
Они сочатся сквозь шторы, сквозь ставни.
Пароход, уплывающий в Харрару, —
Это не пьяный корабль!
Скоро ль, устав наконец,
Курчавому доброму негру
Я отдам золотой бубенец
И за это возьму его веру?
Но негр не приходит, не уходит шарманка.
Я сегодня больше не встану... .

...Вот казнь, и нет ни плахи, ни меча,
И даже кровь, и даже кровь не горяча!

Март 1915

66. В ДЕТСКОЙ

Рано утром мальчик просыпался,
Слушал, как вода в умывальнике капала.
Встала — упала, упала — и жалко...
Ах, как скулила старая собака,
Одна, с подшибленной лапой.

Над подушкой картинку повесили,
Повесили лихого солдата,
Повесили, чтобы мальчику было весело,
Чтоб рано утром мальчик не плакал,
Когда вода в умывальнике капает.
Казак улыбается лихо,
На казаке папаха.
Казак наскочил своей пикой
На другого, чужого солдата,
И красная краска капает на пол.

Март 1915

67. СВАДЬБА НА ПЛОЩАДИ

Уж звезды глядели подслеповато —
Хитрые глазки бабки,
Что, пристойно вздыхая и ноя,
Чистит и моет покойника.
Господин с «проспектом»
Жадно ловил человека:
«Кайтесь, покайтесь!
Ныне только это средство покупайте!»
Простер он руку к вывеске, зревшей
В сизых далях,
Где сорок приученных бесов
Вдоль огромных букв кувыркались.
На столб взобрался кутила
В грязном цилиндре, и, правя стеклом,
Темную площадь кропил он
Жиденьким светом.

К у т и л а

Господа, соблюдайте уважение к божьему
месту.

Сейчас должны прийти жених и невеста.
В церкви темно. Вы же беситесь.
Так не полагается.
Черный жрец с пылающей лестницей,
Вас приглашаю я.

Ф о н а р щ и к

Плетется собака,
Ложится у фонаря.

Черная собака,
Что ты ходишь зря?
Обведу вокруг огня я круг.
Забьются искры.
От белого беса круг
И от мглистого.
Мгла ты, мгла,
Что ты наплела?
Бродишь, ходишь около.
Ты не балуй, мгла,
Я фонарщик расторопный,
Обхожу четыре черные угла,
Одиннадцать овец гоню на закланье.
Зажигаю одиннадцать светильников в храме:
Первый для тени, что рядом тащится,
Второй для улыбчивой дамы,
Третий для пришедшего с моря тумана,
Четвертый для слепца,
Пятый для рекламы,
Шестой для хмельного гонца,
Седьмой для всякой собаки,
Восьмой для Адама,
Девятый для юной плясуньи, для грешной
причастницы,
Десятый для отца,
А одиннадцатый так себе...

Л о ш а д ь

Я — лошадь!
Я покорно тащила черную ношу
Дел ваших.
Собирала зерно
И снова его увозила на пашню.
На бойню влекла гимны певших баранов.
И в кружевном домино
Развозила усопших и пьяных
Домой.
Вы глаза мои окутали тьмой.
Но сегодня брызнул в них день.
Скинула вашу ношу.
О, какой огневой слепень
Жалил старую лошадь?

Я несла туда, за дома, за заставы,
Я несла, несла и упала.
Облепили меня люди, люди — лошадь,
Точно липкие бескрылые мошки.
Не слетали, не пугались,
Снова волокли по яркому асфальту...
Напрасно губы мои сосут железо,
Взывая о воде ключевой.
Видишь ты, человечья невеста,
Двое нас, двое...

Гимназисты

Мы учили теорию словесности...
Ах, какие крылышки небесные!
Мы у мух вырывали лапочки милые,
Мушинные лапочки, ангельские крылышки...

Продавец

Купите, господа, открыточки невинные!
Дама с очень пышными формами!
Голенькая дамочка, и при ней мандолина...
Купите — недорого!

Кутила

Не слушайте его, дети!
Сейчас перед вами предстанет добродетель.
Жених — манекен от лучшего портного.
Какой покрой! Какое нежное сердце, и ни слова.
Невеста голенькая, но в чулках и в шляпе.
Она может очень стыдливо улыбаться.
Тише, господа, тише!

Бабка

Ах ты, бедненький, что ж у тебя рукава
болтаются.
Безрукий ты, неприкаянный!
Безногий ты, безголовый, с палочкой,
Что ж ты по людям балуешься?
Сними с себя труху эту хитрую,
В рогожку простую завернись ты!
Вместо головы возьми ты тыкву
Да иди помаленьку, причитывая,

Чтоб не оступиться, не разбиться,
К милостивому Пантелею.
Поклонись ему, скажи: «Меня жалеючи,
Ты приставь, прилепи эту голову,
Без головы житье мое невеселое!
От беса всё, и где ж это видано,
Чтоб нагишом, да при всех, бесстыдница! . . .»

Невеста

Ах, он не умеет беседовать!
Но, боже, какая нега
Ласкать весенним вечером
Эту грудь, эти плечи клетчатые.
О, какой торс,
И ног его нежный ворс!
Я люблю тебя, прах веселенький,
Отрок маленький!
Как сладко, как страстно колются
Воротнички крахмальные!

Кутила

Женишок мой, хорошенький выкидыш,
Согласен ли ты после ночи рассыпаться?
Согласен ли ты в поту и в мыле
Снова стать прахом и пылью,
Безголовый, безрукий, безногий,
Висеть в гардеробе
Вовеки?
Но ты ведь не можешь ответить. . .
Невеста, согласна ли ты родить чудище,
Не из плоти — из желтой кости,
Кормить его сохлой грудью,
Чтоб он издыхал и рождался каждую осень
И, достигнув девятого года,
Пришел бы на эту площадь дикую:
Руки длинные до пят, голова как у носорога
И на животе кружок испупительный?

Господин

О, я его обязательно куплю для моей коллекции
Божков Центральной Африки.

Невеста

Мне так стыдно, что хочется раздеться —
Снять эту шляпу!

Кутила

Он придет! В беспамятстве скинув парик,
Лысая старуха за ним понесется.
Скажет: «Я тоже, сметая стыд,
Кусала свое тело — дряблую грушу без сока.
В блюде кричала, падала, снова кричала, вставши,
Возьми меня, княжич павших! . . .»
Всех подберет, всех потащит
На свою веселую дачу!
И меня, кутилу — твоего пленника, —
Возьми с собой на задки!
О, тобой мы давно беременны
И плачем, и лижем сухие пески! . .

Кутила упал со столба, он лежал среди площади.
Ругались и пели, его объезжая, слепые извозчики.
Только при входе в ресторан «Олимпия»,
Вертя зеркальные двери, кружа их, под шелка шум,
Плакал и шагал в безумном лабиринте
Черный грум.

Март 1915

68. НАТЮРМОРТ

От этой законченной осени
Душа наконец ослабла.
На ярком подносе
Спелые, красные яблоки.
Тяготейте вы над душой ослабшей,
Круглые боги, веские духи,
Чую средь ровного лака
Вашу унылую сущность.
Всё равно, обрастая плотью,
Душа моя вам не изменит.
Зреет она на тяжелом подносе
В эти тихие дни завершений.

Март 1915

69. В ВАГОНЕ

В купе господин качался, дремал, качаясь
Направо, налево, еще немножко.
Качался один, неприкаянный,
От жизни качался от прожитой.
Милый, и ты в пути,
Куда же нам завтра идти?
Но верю: ватные лица,
Темнота, чемоданы, тюки,
И рассвет, что тихо дымится
Среди обгорелых изб,
Под белым небом, в бесцельном беге,
Отряхая и снова вбирая
Сон, полусон, —
Всё томится, никнет и бредит
Одним концом.

Апрель 1915

70

Марии Моравской

Слышишь, как воет волчиха,
Собирая отсталых волчат?
В поле просторно и тихо.
Куда ты ушел наугад?
Ясный панёнок,
Маленький пан,
Отчего твой зеленый
Алеет жупан? ..

Май 1915

71. НАПУТСТВИЕ

О летящая мимо,
Ты падешь на скаты голые,
На ржавую глину,
Разогретую солнцем.
Станешь снова таять и париться,
Ноги свои удивленно тронешь,

Малой тварью
Затрусишь полегоньку.

Помяни и того, кто был создан
Из той же глины хрупкой,
Кто остался слишком поздно
Сидеть на приступочке,
Распевая: «Барышни хорошие,
Благолепные барышники,
Подайте один только грошик
Спившемуся,
Развалившемуся! . . .»

Май 1915

72. НА ВОЙНУ

Уходили маленькие дети —
Ванечки и Петеньки,
Уходили на войну.
Ну! Ну!
Пейте! Бейте!
Бейтесь! Смейтесь!
На вокзальной скамейке!

Какой пухлый профиль,
И заботливо прицеплена фляжка.
Он сегодня утром еще пил кофе
С мамашей.
Пили и забыли.
Уходили.
Не глядели, не скорбели.
Пили, пели.

Чад ли? Жар ли?
Солнце в лужи тычется.
Скоро снег последней марли
Скроет личико.
Вечер светится.
Отдыхают усталые люди.
А нового Петеньки
Больше не будет.

Май 1915

Ни к богатым, ни к косматым,
 Ни к мохнатым медвежатам,
 Ни к арапам косолапым,
 Ни к собакам, ни к чертякам, —
 Шла смерть в мою клетушку,
 За мой стол, до моих детушек.
 Я просил: «Не тронь детенышей!»
 А она взяла и тронула.
 «Ты не гладь» — она погладила,
 Всем дала по виноградине,
 Увела и след приметила,
 Замела хвостами песьими,
 А к себе пришла, проклятая,
 Завизжала и заплакала,
 Плача, пеленала трупики,
 Пестовала и баюкала:
 «Я-га-га! У-лю-лю!
 На-по-ю! На-кор-млю!»

Май 1915

74. ПОСЛЕ СМЕРТИ ШАРЛЯ ПЕГИ

В дни Марны на горячей пашне
 Лежал ты, семени подобен,
 Следя светил, спокойно протекавших,
 Далекие дороги.
 А жирные пласты земли
 Свои упрашивали, угощали снедью жаркой,
 Свои упрашивали и враги.
 В дни сентября мы все прочли:
 На Марне
 Убит Пегги.
 О господи, все виноградники Шампани,
 Все отягченные сердца
 Налились темным соком брани
 И гнут бойца.
 А там, при медленном разливе Рейна,
 Ты, лоза злобы, зацвела.

Вы, собутыльники, скорее пейте
У одного стола!
Над этой бедной бездыханной плотью,
О, чокнитесь!

Май 1915

75. НА ЗАКАТЕ

На закате
Было особенно душно.
Приходили оловянные солдатики
И стреляли из маленьких пушек.
Старший цедил какую-то шутку.
Дымила трубка.
Дрогнули тела, повалились рядами,
Сокрушенные зорким огнем.
И видел и плакал Каменщик
Над гиблым трудом.
К ночи пришли влюбленные девы,
Грудью прильнули к вспаханному полю,
К полю, сытому от цельного хлеба
И от соли.
(О, как нежные губы жжет
Смертный пот!)
А в деревне выла собака,
Вспоминая жильё,
Выла, что что-то было
И что иссякло
Всё.

Май 1915

76. В АВГУСТЕ 1914 ГОДА

Издыхая и ноя,
Пролетал за поездом поезд,
И вдоль рельс на сбегаящих склонах
Подвывали закланые жены.
А в вагоне каждый зуав
Пел высокие гимны.

(И нимфы
Стенали среди дубрав.)
«Ах, люблю я Мариетту, Мариетту.
Эту.
Всё за ней хожу.
Где мы? Где мы? Где мы?
Я на штык мой десять немцев
Насажу!»
Дамы на штыки надели
Чужеземные цветы — хризантемы.
А рельсы всё пели и пели:
«Где же мы? Где мы?»
И кто-то, тая печаль свою,
Им ответил: «В раю».

Май 1915

77. P.S. ¹

Я знал, что утро накличет
Этот томительный вечер;
Что малая птичка
Будет клевать мою печень;
Что, на четыре части переломанный,
Я буду делать то, что надо
И чего не надо:
Прыгать на короткой веревочке
Мелким шагом,
Говорить голоском заученным
Про свою тоску,
Перечитывать житье какого-нибудь мученика
Или кричать: а-а! ку-ку!
Глуп-глуп! мал-мал!
Я это знал,
И всё же, когда любовь пришла, я не понял —
Где это? что это? то или это?
Заплакал и отдал картонной мадонне
Ключи погибающей крепости...

Май 1915

¹ Постскрипtum (лат.). — *Ред.*

78. В ПИВНОЙ

Приходили четыре безногих солдата.
Пили горькое пиво.
О лихих, о далеких атаках
Говорили лениво.
Говорили, смотрели
На женские прелести.

«Пушка ты, пушечка,
Как тебя не назвать?
Душечка!
Семьдесят пять!
Рушь ты немчиков,
Розовых младенчиков!
Всё разрушишь —
Тихо будет к вечеру.
Дай, моя пушечка,
Я поцелую твое плечико! . . .»
Девки целовали солдат,
Какая кого, наугад.
«Пригожие мои, видные,
Румяные.
Ножки у вас не какие-нибудь —
Деревянные!»
Целуйте, какая кого! Не спорьте!
Горько! Горько!
Солдат вынул образок,
Лег на скамью, как в гроб.
Плакал Никола-чудотворец,
Застилал одинокую душу.
А золотое, прошлое горе
Всё еще пенилось в кружках.

Июнь 1915

79. ARS ¹

Я бродил, я любил здесь когда-то,
А теперь, разлюбив, позабыв,
Я касаюсь мрамора статуй
Среди тощих низких олив.

¹ Искусство (лат.). — *Ред.*

Я дрожу, — ни тоска, ни трепет
Эту белую плоть не пронзит.
Только изредка летний ветер
По глянцу листвы скользит.
Не хочу! Не хочу вашей правды!
Вы всего мудрей и ясней,
Но даже малая травка
Не взойдет из этих камней.
Облаками большими, тяжелыми
Скрыты синие очи Отца.
Но в душе не осталось золота,
Чтоб отлить иного тельца.

Июнь 1915

80. ЛЕТНИМ ВЕЧЕРОМ

Я приду к родимой, кинусь в ноги,
Заору:
«Бабы плачут в огороде
Не к добру.
Ты мне волосы обрезала,
В соли омывала,
Нежная! Любезная!
Ты меня поймала!
Пред тобой, перед барыней,
Я дорожки мету.
Как комарик я
Всё звеню на лету —
Я влюблен! Влюблен!
Тлею! Млею!
Повздыхаю! Полетаю!
Околею!»

Июль 1915

81. ПРОГУЛКА

В колбасной дремали головы свиньи,
Бледные, как дамы.
Из неподвижных глаз сочилось уныние
На плачущий мрамор.

Что в моем ведре плавает,
Кричит: «Не сливай, а то залаю!»
Это все знают, только ты не знаешь.

Но ты знаешь, как я жил раньше,
И «Я живу», и «Одуванчики»,
И то, как я лаял малость,
И то, как лай мой ты слушать устала,
И сказки, и ласки, и ночи, и очи,
И прочее, прочее, прочее...

«Знаете, этот поэт-то помер!..»
— «Да что вы? Ну, комик!»
— «Все умрем». — «Попробуй — умри!»
— «Умру».
— «Кри-Кри!»
— «Фру-Фру!»

Где же ты? Уж кричит петух.
Пот сотри! Облегчи тоску!
Дай мне разрешенье!

«Послушайте, одно из двух:
Или кричите кукареку,
Или пойте хорошенько,
Вот как я пою:
«И раба твоего Илию...»
Послушайте, вы снова?..»
— «Будьте здоровы!»

Ноябрь 1915

83—88

1

ПРОСТИ МЕНЯ — БЛУДЛИВОГО

Утром не было письма.
Тело было бело — белей бельма.
Качал стул.
До обеда три раза зевнул.

Сколько? Четыре? Четверть пятого —
Как рано!

(И мухи, и патока.)

Я глазами прощупал сквозь блузку — ага!
что-то новое...

Со скуки разве попробовать?

На диван присели.

... Как мухи засидели Боттичелли!..

Ку-ку, Венера,

Нашла кавалера?

Знаешь, милый, нет дня —

Поцелуй меня!

Знаешь, так лучше, не надо огня —

Поцелуй меня!

Я люблю его! Господи, неужели как всех?

Господи, грех?

Знаешь, это дудки!

Не затем диван.

Грудки твои, грудки,

Точно марципан.

Цепляемся за руки, за волосы, за плечи! О владыко!

Выплыть хочется! Выплыть!

Не надо! Слышишь! Не надо!

И падаем!..

Так птица с дробинкой в груди падает в землю,
упершись крылами,

Так падает в воду камень,

Так падает старый бродяга, прикончив четверть,
в последний раз,

Так падает час!

От тел горячих этот запах терпкий.

Господи! Трупы простерты, смотрим мы в око
смерти!

И, как плиты, чужие плечи.

А сказать друг другу нечего!

«Милый, где мы?»

— «У меня». — «Отвернись, я оденусь!»

Не глядел ей в глаза. Страшно!

Я знаю всё, и какая на ней рубашка.
Выпил три кружки пива.

Господи, прости меня — блудливого!
За то, что я спал в детской кровати
(С сеткой). Касался плоти матери.
За то, что в тринадцать лет я плакал,
Не в силах понять твоего знака.
За то, что я ночью бегал — лицо мокрое —
И щипал свою грудь, щипал до крови,
За то, что делать — просто делать нечего,
И с четырех так долго еще до вечера,
За то, что я пил пиво,
За то, что я блудливый,
Прости, прости меня, господи!

2

ПРОСТИ МЕНЯ — БОГОХУЛЬНИКА

Тик-так.
Вот так так.
Сосед где-то прыснул, фыркнул, харкнул.
И сладкий запах лекарства.
Глупости! Просто
Сосчитаю до ста.
Двадцать, двадцать пять...
Страшно помирать.
Двадцать шесть...
А если что-нибудь есть?..
Помирает сыночек.
(Ночью, всё ночью!)
Тридцать девять и восемь.
Доктор, просим! Просим.
Господи, вот его повозка,
Шапка матросская.
«Адмирал».
Он в «Адмирале» только «А» знал.

Ну-ну!
Видно, сегодня не усну.

Помрешь — будет скверный дух,
Вырастет из тебя лопух.

А в гробу жить хочется,
Волосы растут и ноготочки.
Уж кричит летух.

Хорошо бы угостить конфетами дюжину старух,
Показать им, на прощанье,
Как приятно баловаться в бане.

Я не плачу —
Я визжу по-поросячьи,
Так визжал Петр: «И! и! и!
Твои и мои и твои!»
Так визжит мать в ногах у профессора. «Лучше?»
— «Сударыня, надейтесь, бывают случаи. . .»
Так визжит кошка: «Ой-я, ой-я!
На помойке, на помойке!»

Кончено.

Лучше хлебнуть коньячку, а потом лимончиком. . .
Эта икона какого письма? Какого века?
Экземпляр! И триста — недорого это. . .
Какая наивность!
Простите, перебил вас, — вы коньячку или пива?

Озирис. Будда. Христос.
Позвольте, один вопрос —
Будет или не будет
Хотя бы сковородка?
Господи, за что ты?
И сил больше нет. . .
Что сегодня на обед?
Хе! Еще поживем на этом свете.
Скажу вам — паштетик!
В раю и на стуле.

Господи, прости меня — богохульника.
За то, что я, похоронив в саду Жучку,
Оглянулся, сказал: «Ничего нет и скучно».
За то, что ты любишь загадки
И с нами играешь в прятки.
За то, что я кричал «ау! ау!»,

За то, что я еще живу,
Не оставив записки: «Засим довольно,
Погуляли, никого не нашли и уходим по доброй
воле!»

За то, что ночью уговаривает маятник:
Так всё начинается, так всё и кончается.
За то, что я, как в раю, на стуле,
За то, что я богохульник,
Прости, прости меня, господи!

3

ПРОСТИ МЕНЯ — ПОЭТА

Заберусь в уголок,
Напишу стишок.
Размечтаюсь, покаюсь,
Затоскую.
Но «Христа» и «креста»
Обязательно срифмую.

Дай мне тот платок вязаный!
Знаешь, это покойной. . . Сегодня что-то
вспомнилось разное. . .
Посиди со мной! Так здесь невесело. . .
Помню, у нас дома была под лестницей. . .

Обожди — платок! платочек!
Очень хорошо! очень!
Тише! тише!
Два четверостишия.
Тебе лучше не жить,
А то, а то я теряю нить.

Я его хлестал, по щекам хлестал,
И он закрыл свои щеки руками:
«Довольно!»
Но я писал.
Она умрет.
Посвящу мою книгу великой печали,
Отшедшей музе и так далее.

Я мерзость чиню пристойно.
Так делили твои ризы воины,
Так за рубль продают серебряный крестик,
Так воют шакалы, на мокром месте
Так плакальщицы идут за покойником
И стыдливо смотрят вниз.

Эй, дай мне клочок его риз!
Вечерние тернии,
И гвозди, и грозди! . .
Вам нравится это? .
Господи, прости меня — поэта
За то, что я прежде не знал, с чем рифмуется
«бог»,

И глумиться еще не мог.
За то, что я первый стишок написал почти плача,
Тайком, от любви неудачной.
За то, что я признан «избранными», потом буду
признан всеми,
За то, что у меня к себе только отвращенье!
За то, что теперь я строчу эффектный куплет,
За то, что я «милостью божьей» — поэт,
Прости, прости меня, господи!

4

ПРОСТИ МЕНЯ — НЕРАДИВОГО

Вдалеке
Кто-то прыгает.
А я в гамаке
И не двигаюсь.
Дай мне спичку
И чаю, только с клубничным.

«Жив-здоров, пришли еще денег!».
Пальцы дрожат.
И как носила, и как рожала,
И как простилась, и как не стало. . .

Ни любви! Ни ненависти!
Но вполне беспристрастно!

Вы любите хризантемы?
А я астры.
Впрочем, и хризантемы прекрасны!

Она ждет ребенка —
Женка! Женка! Женка!
Отрицаю бога!
Мне мила свобода!
Я поеду поразвлекься
И за ширмами
Поглядеть на бабьи плечи
Очень жирные.
Как поле в год засухи,
Как чрево монахини,
Как в бюро — «Вы за пособием?
Вот месячные, а вот еще три на гробик».
Запомните это —
Гробик с газетом!
Как молитва поэта! Как в блуднице семя,
Так велико мое нерадение.

«Папа, хочу тебя скушать!»
Нет, я дам тебе горбушку
В моем ведении
Недоеденную.

Я безгрешен,
Никого не вешаю!
Застрелил бы я утку —
Не заряжено ружье.
Я растлил бы Анютку —
Да в тюрьме какое житье!

Лучше чистеньким
Заниматься мистикой!
Помянуть тебя всеу —
И то пригодится.
Вы хотите крови? Не торгую,
Вот в графине чистая водица.

Лежу в гамаке под ивой.

Господи, прости меня — нерадивого!
За то, что я плакал, прыгал и бегал,
За то, что в первый раз, не доев ломтя хлеба,
Я удивился — не понял!
За то, что пусто в твоём доме!
За то, что, как камень, ложится на сердце
каждая книга,
За то, что никто не прощает обиды,
Прости за то, что меня не прощали,
За то, что я нынче зубы скалю
За чашкой чая, под ивой,
За то, что я нерадивый,
Прости, прости меня, господи!

5

ПРОСТИ МЕНЯ — ЗЛОБНОГО

На подоконнике приятен мушиный лазарет.
У этой крылышка, у этой ножки нет.
С платком на окошке.
Ножки вы, ножки!

Снег скучный, снег белый.
Ты меня рассмешила!
Хорошо бы, если б на снегу задымилась...
«Что ты делаешь?..»
— «Ах, родимая,
Кровь задымилась бы.

Не твоя — а мушиная».

— «Милый, отчего ты заходишь так редко?»

— «Занят».

— «Страшно мне вспомнить про это!..»

— «А ты сходи в баню».

И я не кричу.

Я молчу.

Так молчат дрессированные грешники.

Так молчат на пожаре головешки.

Так молчат коты, облизываясь.

Так молчат, развернув бонбоньерку «с сюрпризом».
Так молчат после травли усталые гончие.
Так молчат, когда всё, когда всё уже кончено!

Я сегодня выгляжу немного лучше.
Ночью было малость —
Щипал деткины ручки.
Утешался.
Знаете, это от бога. . .
Господи, прости меня — злобного!

За то, что я грудь мамки зубами кусал,
Но не знал!
За то, что, увидев впервые битую бабу,
Я спросил тебя: «И это надо?»
За то, что без крови и мухе скучно,
А с кровью, а с кровью не лучше.
За то, что сладко пахнут моченые розги,
За то, что ты, а не он меня создал,
За то, что всё ведь от бога,
За то, что я злобный,
Прости, прости меня, господи!

6

ПРОСТИ!

Ты простил змее ее страшный яд!
Ты простил земле ее чад и смрад!
Ты простил того, кто тебя бичевал!
И того, кто тебя целовал,
Ты простил!

За всё, что я совершил,
И за всё, что свершить каждый миг я готов,
За ветром взрытое пламя,
За скуку грехов
И за тайный восторг покаянья
Прости меня, господи!

Труден полдень, и страшен вечер.
Длится бой.

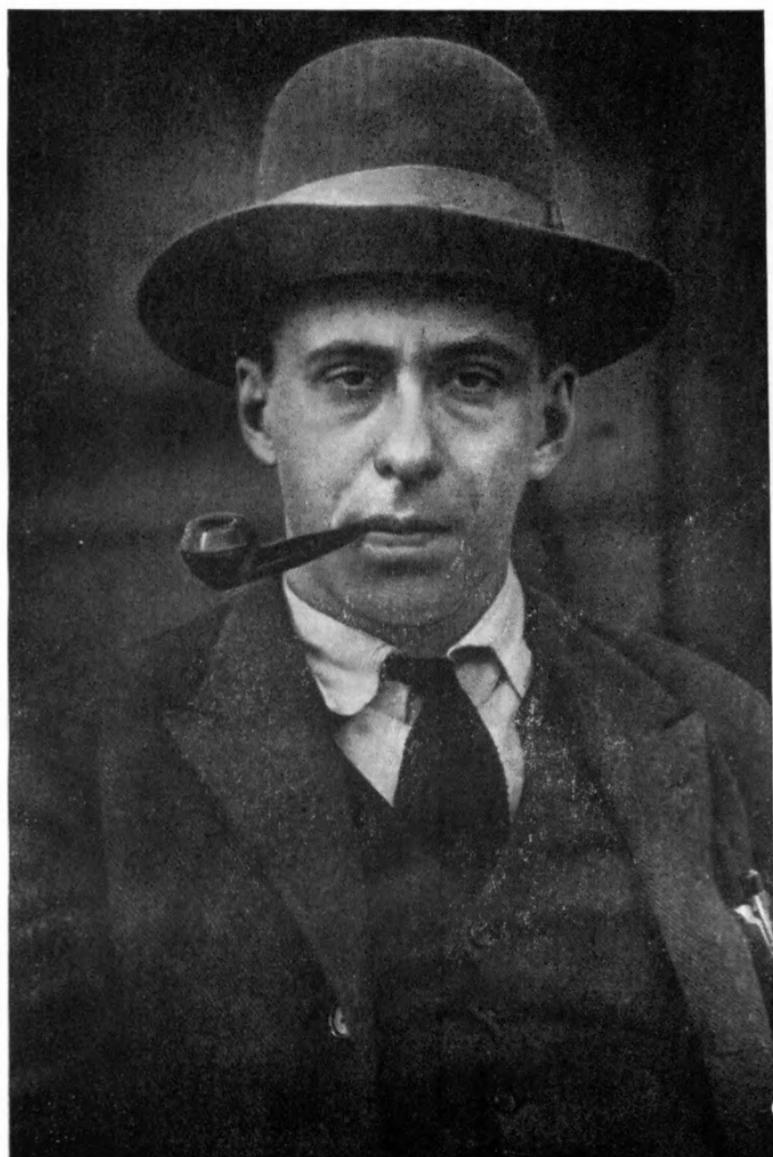
За страх мой, за страх человеческий,
За страх пред тобой
Прости меня, господи!

Я лязг мечей различаю.
Длится бой. Я кричу: «Победи!»
Я кричу, но кому — не знаю.
За то, что смерть еще впереди, —
Прости, прости меня, господи!

Ноябрь 1915

89. ПУГАЧЬЯ КРОВЬ

На Болоте стоит Москва, терпит:
Приобщиться хочет лютой смерти.
Надо, как в чистый четверг, выстоять.
Уж кричат петухи голосистые.
Желтый снег от мочи лошадиной.
Вкруг костров тяжело и дымно.
От церквей идет темный гуд.
Бабы всё ждут и ждут.
Крестился палач, пил водку,
Управился, кончил работу,
Да за волосы как схватит Пугача.
Но Пугачья кровь горяча.
Задымился снег под тяжелой кровью,
Начал парень чихать, сквернословить:
«Уж пойдем, пойдем, твою мать! . .
По Пугачьей крови плясать!»
Посадили голову на кол высокий,
Тело раскидали, и лежит оно на Болоте.
И стоит, стоит Москва.
Над Москвой Пугачья голова.
Разделась баба, кинулась голая
Через площадь к высокому колу:
«Ты, Пугач, на колу не плачь!
Хочешь, так побалуйся со мной, Пугач!
. . . Прорастут, прорастут твои рваные рученьки,
И покроется земля злаками горючими,
И начнет народ трясти и слабить,
И потонут детушки в темной хляби,



Парашютистка Мина Камнева с писателями.
В центре: М. Р. Блок, И. Эренбург, Б. Пастернак,
Паоло Ливини, Н. Тихонов и др.

1962
Б. Кудряков



И пойдут парни семечки грызть, тешиться,
И станет тесно, как в лесу, от повешенных,
И кого за шею, а кого за ноги,
И развернется Москва смрадными ямами,
И начнут лечить народ скверной мазью,
И будут бабушки на колокольни лазить,
И мужья пойдут в церковь брюхатые
И родят, и помрут от пакости,
И от мира божьего останется икра рачья
Да на высоком колу голова Пугачья!»
И стоит, и стоит Москва.
Над Москвой Пугачья голова.
Желтый снег от мочи лошадиной.
Вкруг костров тяжело и дымно.

1916

90. У ОКНА

Темно.
Стреляют.
Мы? Они? Не всё ли равно!
Это день или месяц? Не знаю!
Может, снится? Отчего ж так долго?
Пуля пролетела. Отчего же мимо?
А снег лежит сухой, тяжелый —
Его не сдвинуть.
Пьяный солдат поет:
«Вставай! Подымайся! . . .»
Кричит вороньё,
Да в сторожке баба завывает:
«На кого ты меня оставил? . . . Боренька!
Родненький! . . .»
И пойду я по миру. . .»
Если б злоба — стрелять в этих хмурых солдат! . . .
Если б слезы были — заплакать. . .
«Товарищи! Час настал! . . .»
Бегут куда-то. . .
Снег на них, на земле, на сердце,
Не сойдет. . . И зачем весна?
«Ура!» Это кто-то бредит пред смертью,

А может, и так, спяна. . .
Что же! Прыгай да пой по-новому,
И шуми, и грозись, и стреляй! . .
Лихая ты! Непутевая!
Родная моя! Прощай!
«Всеми! Всеми! Воззвание.
Спасайте! Стреляйте! Вперед!»
Закроют глаза пятаками,
И ветер один пропоет:
«Вечная память!»
Придут другие, чужие,
Над твоей посмеются судьбой.
Нет, не могу! Россия!
Умереть бы только с тобой! . .

*Декабрь 1917
Москва*

91. В ПЕРЕУЛКЕ

Переулок. Снег скрипит. Идут обнявшись.
Стреляют. А им всё равно.
Целуются, и два облачка у губ дрожащих
Сливаются в одно.
Смерть ходит разгневанная,
Вот она! За углом! Близко! Рядом!
А бедный человек обнимает любимую девушку
И говорит ей такие старые слова:
«Милая! Ненаглядная!»
Стреляют. Прижимаются друг к другу еще
теснее.
Что для Смерти наши преграды?
Но даже она не сумеет
Разнять эти руки слабые!
Боже! Зимой цветов не найти,
Малой былинки не встретить —
А вот люди могут так любить
На глазах у Смерти!
Может, через минуту они закачаются,
Будто поскользнувшись на льду,
Но, так же друг друга нежно обнимая,
Они к тебе придут.

Может, в эти дни надо только молиться,
Только плакать тихо. . .
Но, господи, что не простится
Любившим?

*Декабрь 1917
Москва*

92

Утром в Иванов день
К озеру приехал граф Арнальдос.
Он увидел большой корабль.
На нем были паруса из шелка,
На нем были мачты из серебра,
На нем были мачты из золота.
На палубе стоял моряк,
И пел он чудесную песню.
И, слыша, как поет моряк,
Затихали бурные волны,
И, слыша, как поет моряк,
Опускались птицы на мачты,
И, слыша, как поет моряк,
Выскакивали из озера рыбы.
Граф Арнальдос спросил моряка:
«О чем твоя чудная песня?»
И ответил моряк ему,
И слышал ответ граф Арнальдос:
«Я скажу это только тому,
Кто со мною вместе отчалит».

(1918)

93

Нет, я не поэт, я или пророк,
Или только жалкий юродивый,
Что, задрав рубашку, на брюхе ползет
И орет: «Это будет! Это будет сегодня!»
Это будет! И сердце полно предчувствий.
Что будет? Вечный живот? Или смерть?

Не знаю, но знаю, что будет, и вьюсь я,
Как раздавленный червь.
Не поэт я! Вы слушаете:
Вот раздадутся звуки плавные,
И наши истомленные души
Заночуют в тихой гавани.
А мои стихи выползают — голые птенчики,
Розовые, пискливые, еще не обсохшие.
И вы кричите: «Оденьте их!
Мы не можем! Стыдно, тошно нам!»
Во что одену их? У поэтов пышные облачения,
А я не поэт — я нищий.
У меня нет даже дерева,
Чтоб сорвать хоть один фиговый листик.
Я могу визжать про свою муку,
Прыгать с перешибленной лапой,
Как старый развратник, сюсюкать
И по-ребячески плакать.
Вы кричите: «Уберите его!
Довольно он здесь кривлялся!»
А я мог бы так любить вас,
Такая у меня ко всем жалость. . .
Но вот встаю, кричу — опомнитесь!
Я не могу — вы легли! Вы уснули!
Он придет, а вы заперлись в ваших комнатах,
Вы не успеете выбежать на улицу!
Прочтете стихи, мой скулящий голос послушаете,
На миг раздражитесь и уйдете безответные,
Чтоб упасть, как на мягкие подушки,
На стройные строфы — не мои — поэтовы.
И забудете того, кому тоже было стыдно

и горько,

Кто, как вы, хотел любви, радости тихой,
Но не мог, ибо прыгал и корчился,
Слыша то, что вы не расслышали.
Лишь когда запоеет труба архангела
И ослиные копыта прозвенят на площади

каменной —

Вы скажете: «Ведь и тот кривляка
Кричал: „Осанна! Осанна!“»

Январь 1918

94. ПРОСЛАВЛЕНИЕ ЗЕМНОЙ ЛЮБВИ

Ночью такие звезды!

Любимые, покинутые, счастливые, разлюбившие
На синей площади руками ловят воздух,
Шарят в комнате, на подушке теплой ищут.
Кого? Его ль? Себя? Или только второго человека?
Так ищут! Так плачут! Так просят!
И от стоустого жаркого ветра
Колышутся звездные рощи.
Звезды опустились, под рукой зашелестели
И вновь цветут — не здесь, а там! . . Прости!

Не мучай!

Только всё еще от смятых постелей
Подымаются молящие руки.

Верная жена отрывает руки от шитья.
Щеки застывает сухая белизна.
Стали глаза, не сойдут, стоят.
Шепчет она:
«Что же, радуйся моей верной верности!
Я ль согрешу? А сердце горит,
Бедное, неумное сердце.
Ну, бери! Бери! Бери!»

Двое на тесной кровати.
Взбухли жилы. Смертный пот.
И таких усилий тяжкий вздох.
С кем вы тягаетесь, страшные ратники?
Нет, это не осаждают крепость,
Не барку тянут, не дробят гранит —
Это два бедных человека
Всё хотят еще стать одним.
Гм! Гм!
Всё весьма прекрасно в мире:
Раздеваться, целоваться, спать,
Вставать, одеваться, раздеться опять.
 $2 \times 2 = 4$.
 $5 \times 5 = 25$.

Господи, спасибо! Есть любовь ясная!
И куца гимназистка шестого класса,

Вот и она подойдет, пригубит,
И бьются под узким передником девичьи груди.
«Я хотела вас просить об одном. . .
Только не смейтесь. . . это так глупо. . . нет,

не выходит. . .

Я скажу, не теперь. . . потом. . .
Боже, что со мной сегодня? . . .
Не зовите меня. . . просто Марусей. . .
Ну и сказала. . . всё равно. . . пусть! . . .»
Легче гору поднять — так трудно!
Что это? Его глаза или море?
И жадно пьют пухлые губы
Нашу сладкую горечь.
Пей! Никогда не забыть эту боль, испуг
И щемящую грусть этих розовых губ. . .

Там, в моем Париже, на террасе ресторана,
Как звезда на заре, доцветает дама,
И от гаснувшего газа, и от утреннего света
Еще злее губы фиолетовые.
И, облизывая ложечку — каштановый крем, —
Ей хочется вытянуться, ногой достать спинку кровати,
И горько шепчет она: «Je t'aime! Je t'aime!»¹
Ему? Или ложечке? Или заре, над городом плачущей?
И где-то в эту же ночь
Папуас под себя подбирает папуаску.
Господи, спасибо! Ведь есть любовь,
Любовь такая ясная!

Мы подем шли. Остановились оба сразу.
Глядеть — не глядели. Ждать — не ждали.
Горько пахла земля сухая.
Разве мы знали,
Чьих слез она чает?
Мы стояли. Мы не знали. Ничего не знали.
Мы друг друга искали.
Будто не стоим мы рядом, будто меж нами
Весь мир с морями, с холмами, с полями.
Губы дышали зноем земли.
«Ты здесь? Ты здесь?» —

¹ Я тебя люблю! (Франц.) — *Ред.*

Пальцы спрашивали
И нашли.
Господи, спасибо! Ведь есть
Любовь такая тяжкая!
Наши слезы смешались — где мои? Где твои?
Горько пахла земля, но земля ли? И где мы?
Боже, разве мало такой любви,
Чтоб напоить всю жаждущую землю?
«Ты видишь?» — «Да, землю и тебя».
Ты засмеялась, слезы всё бежали, легкие слезы.
А после спросил я:
«Ты видишь?» — «Да, тебя и звезды».

Январь 1918

95

Враги, нет, не враги, просто многие,
Наткнувшись на мое святое бесстыдство,
Негодую, дочек своих уводят,
А если дочек нет — хихикают.
Друзья меня слушают благосклонно:
«Прочтите стихи», — будто мои вопли
Могут украсить их комнаты,
Как стильные пепельницы или отборное общество.
Выслушав, хвалят в меру,
Говорят о ярких образах, о длиннотах, об ассонансах
И дружески указывают на некоторые странности
Безусловно талантливого сердца.
Я не могу сказать им: тише!
Ведь вы слышали, как головой об стену бьется

человек. . .

Ах, нет, ведь это только четверостишия,
А когда меня представляют дамам, говорят: «поэт».
Зачем пишу? Знаю — не надо,
Просто бы выть, как собака. . . Боже!
Велика моя человеческая слабость.
А вы судите, коль можете. . .
Так и буду публично плакать, молиться,
О своих молитвах читать рецензии. . .
Боже, эту чашу я выпью,
Но пошли мне одно утешение:

Пусть мои книги прочтет
Какая-нибудь обыкновенная девушка,
Которая не знает ни газэл, ни рондо,
Ни того, как всё это делается.
Прочтет, скажет: «Как просто! Отчего его
все не поняли?»

Мне кажется, что это я написала.
Он был одну минуту в светлой комнате,
А потом впотьмах остался.
Дверь заперта. Он бьется, воеет.
Неужели здесь остаться навек?
Как же он может быть спокойным,
Если он видел такой свет?
Боже, когда час его придет,
Пошли ему легкую смерть,
Пусть светлый ветер раскроет тихо
Дверь».

Февраль 1918

96

Наши внуки будут удивляться,
Перелистывая страницы учебника:
«Четырнадцатый. . . семнадцатый. . . девятнадцатый. . .
Как они жили? . . Бедные! . . Бедные! . .»
Дети нового века прочтут про битвы,
Заучат имена вождей и ораторов,
Цифры убитых,
И даты.
Они не узнают, как сладко пахли на поле брани розы,
Как меж голосами пушек стрекотали звонко стрижи,
Как была прекрасна в те годы
Жизнь.
Никогда, никогда солнце так радостно не смеялось,
Как над городом разгромленным,
Когда люди, выползая из подвалов,
Дивились: есть еще солнце! . .
Гремели речи мятежные,
Умирили ярые рати,
Но солдаты узнали, как могут пахнуть подснежники
За час до атаки.

Вели поутру, расстреливали,
Но только они узнали, что значит апрельское утро.
В косых лучах купола горели,
А ветер молил: обожди! минуту! еще минуту! . .
Целуя, не могли оторваться от грустных губ,
Не разжимали крепко сцепленных рук,
Любили — умру! умру!
Любили — гори, огонек, на ветру!
Любили — о, где же ты? где?
Любили — как могут любить только здесь, на мятежной
и нежной звезде.

В те годы не было садов с золотыми плодами,
Но только мгновенный цвет, один обреченный май!
В те годы не было «до свиданья»,
Но только звонкое, короткое «прощай».
Читайте о нас — дивитесь!
Вы не жили с нами — грустите!
Гости земли, мы пришли на один только вечер.
Мы любили, крушили, мы жили в наш смертный час,
Но над нами стояли звезды вечные,
И под ними зачали мы вас.
В ваших очах горит еще наша тоска.
В ваших речах звенят еще наши мятежи.
Мы далеко расплескали в ночь и в века, в века
Нашу угасшую жизнь.

Март 1919

97

Я не знаю грядущего мира,
На моих очах пелена.
Цветок, я на поле брани вырос,
Под железной стопой отзвенела моя весна.
Смерть земли? Или трудные роды?
Я летел, и горел, и сгорел.
Но я счастлив, что жил в эти годы, —
Какой высокий удел!
Другие слагали книги пророчеств,
Пламена небес стерегли.
Мы же горим, затопив полярные ночи
Костром невозможной любви.

Небожители! Духи! Святые!
Вот я, слепой человек,
На полях мятежной России
Прославляю восставший век!
Мы ничего не создали,
Захлебнулись в тоске, растворились в любви,
Но звездное небо нами разодрано,
Зори в нашей крови.
Гнев и смерть в наших сердцах,
На лицах отсвет кровавый —
Это мы из груди окаменевшего творца
Мечом высекали новую правду.

Март 1919

98. СЛАВА ТРУДУ

Я шел, я упал, я снова иду.
Слава труду!

Мы строим великие города.
Их рушит ветер, смерть, года.
Но мы снова строим, камень кладем на камень,
Шаг за шагом всходим к небесам,
И гудят над дальними полями
Красные кирпичные леса.
Мы зажигаем огни — их гасит ветер.
Мы песни слагаем — их забывают дети.
Ржавеет железо. Рассыпается камень.
В сердце нет воспоминаний.

Но если солнце отгорит навсегда,
Если помертвеет наша звезда,
Последний младенец на жаре сердца расплавит
ЗОЛОТО

И будет ковать на краткий век
Никому не нужное солнце.
Ибо не может живой человек
Опустить свой неистовый молот.

Города и слова умрут,
Истлеют в ночи века.

Слава тебе, нетленный труд,
Занесенная к небу рука!

Творец, иступленный работник,
Шесть дней клонился над глыбой света,
Высек горы, доли, рощи
И улыбчивого человека.
Кузнецы, раздувайте печи рдяные!
Пахарь, звездное семя бросай!
Мы из ночи высечем новых Адамов,
В сердцах насадим зеленый рай.

Розы печей расцветают, сталь безумная льется.
Работай! Работай!
Еще кровь земли не остыла
В черных чугунных жилах.
Стучат машины, дышат шахты разверстые —
Еще трепещет земное сердце,
Трудись, рабочий!
Пусть видят звезды холодные,
Как плещут в надмирные ночи
Пожары твоих заводов.

Селянин, идет весна.
Ждет тебя на ложе сонная жена.
Да размягчит ее суровую плоть
Твой труд и твоя любовь!
Припади к ней, лобзая, истомив ее острым плугом.
Глубже кинь в нее семя чудное.
Понесет она. На солнце грея дивное чрево,
Родит зеленые цветущие посевы.

Собери хлеба. Пусть гуляет твой серп.
Пусть она лежит нагая и немая, как смерть.
Вновь придет весна,
Разметавшись, тебя призовет она.
Иди же поступью мощной, не ведая страха,
Вечный пахарь!
Пусть вражьей рати, саранча великая,
Недозревшие нивы вытопчут, —
Трудись, ибо одна жена и одна мать,
Ибо земля не устанет рожать,

Ибо ты, разрывая сухую землю,
Засевая нивы бесплодные,
Постигаешь тайники вселенной,
Мира темную утробу.

Ты, поэт, трудись и пой!
Твои думы — огненные пчелы,
Из мирской души, немой и слепой,
Они высасывают звонкое золото.
Надо столько мук и тоски,
Столько страдной работы,
Чтобы вырвать из сердец людских
Эти песни легкие и беззаботные.
Работай, камень дроби,
Броди среди будней унылых,
Пока не отыщешь в глуби
Слов златоносные жилы.
Каждый стих — это светлый гонец
В века, в миры, от сердца к сердцу, —
Смертное сердце горит на быстром огне,
Но в песне оно бессмертно.

Звонкий голос — как ветер в поле,
Тяжкий пот — как роса в небесном саду,
И как розы — жесткие мозоли.
Слава, слава труду!
Ныне правит миром смерть. Конец! Конец!
Но мы не уйдем, не уступим,
Жарче раздуем мехами пламя сердец,
Над землей распластаем окровавленные руки.
Будем строить, сеять и петь, —
Человек не может умереть!
Всколосись, любовь, на пожарищах злобы!
Умирая, работаем мы.
Мы в работе творцу подобны,
Отделившему свет от тьмы.
Никогда не сможет остановиться
Наша сумасшедшая земля. . .
За работу! Мы впишем новую страницу
В древнюю книгу Бытия.

Март 1919

Не уйти нам от теплой плоти,
 От нашей тяжелой земли.
 Кто уйдет — всё равно вернется,
 Только ноги будут в пыли.
 Кружись вокруг себя, холодеющий шар,
 Мастери игрушку, новый Икар,
 Слепцы, пролагайте по небу пути, —
 Всё равно никуда не уйти.
 Огонь Прометея, Марсия песни,
 Всё, чем дерзкое сердце живет, —
 Только круженье на месте,
 Темный водоворот.
 Ошибиться и то нельзя —
 У земли ведь своя стезя,
 И в чужие миры, что за этим путем,
 Не прольется она золотым дождем.
 Сердце, и что твой бунт?
 Выполни молча оброк —
 Господь закружил среди звезд и лун
 Еще один малый волчок.
 Будь же гордым, умей не заметить,
 Не убегай от любви,
 Эти святые цепи
 Трижды благослови.
 Кружись и пой за годом год,
 Как мудрый каторжник поет,
 Припав к печальному окну,
 Свою острожную весну.

Сентябрь 1919

Ветер летит и стонет.
 Только ветер. Слышишь — пора.
 Отрекаюсь, трижды отрекаюсь
 От всего, чем я жил вчера.
 От того, кто мнился в земной пустыне,
 В легких сквозил облаках,

От того, чье одно только имя
Врачевало сны и века.
Это не трепет воскрылий архангела,
Не господь Саваоф гремит —
Это плачет земля многопамятная
Над своими лихими детьми.
Сон отснился. Взыграло жестокое утро,
Души пустыри оголя.
О, как небо чуждо и пусто,
Как черна родная земля!
Вот мы сами паства и пастырь,
Только земля нам осталась —
На ней ведь любить, рожать, умирать,
Трудным плугом, а после могильным заступом
Ее черную грудь взрезать.
Золотые взломаны двери,
С тайны снята печать,
Принимаю твой крест, безверье,
Чтобы снова и снова алкать.
Припадаю, лобзаю черную землю.
О, как кратки часы бытия!
Мать моя, светлая, бренная,
Ты моя, ты моя, ты моя!

Январь 1920

101

Из желтой глины, из праха, из пыли
Я его вылепил.
Я создал его по своему подобию,
Плоть и кровь ему дал.
Я сделал ему короткие ноги,
Чтоб, земной, он крепко на земле стоял.
Я вручил ему меч возмездия и славы,
Чтобы он разил меня,
И сам его тем мечом окровавил,
Чтобы он походил на меня.
Я дал ему имя бренное,
Заставил его резвиться среди наших жасминов
и роз,

И, чтоб мне презирать мою землю,
Я его на небо вознес.
И, чтоб был он как слепой и безумный,
Чтоб огонь вовек не погас в аду —
Я припал к нему и в мокрую глину вдунул
Мой бушующий смутный дух.
А потом, взывав, будто зверь веселый,
Молод, темен и слеп,
Высоко я занес мой торжественный молот
И землю отдал земле.

Господа нет, а звери рычат,
Леса шумят.
В гробике розовом
Земле предают младенца,
И сыплются мертвые звезды,
Светлые, тленные.
Есть ветер,
И листьев трепет,
И шорох, и шелест,
И всхлип метели,
И моря рокот, ропот, волн топот,
И громы.
И легкий прерывистый шепот
Влюбленных.
Есть только круженье, смятенье, вращенье,
В дикой и темной алчбе
Есть только время
И бег.

Между январем и мартом 1920

102

Боролись с ветром, ослабли,
Пали, над нами поет непогода.
Ныне выходит наш страшный корабль .
В незнакомые черные воды.
Руль брось, рулевой! Старых карт не пытай,
Сигнальных огней не ищи вдали,
Но отвернись и морю отдай
Ладанку с горстью былой земли.

111

Не время роптать и молиться,
Диких светил никто не поймет,
Мудрец не ответит, и тихий святитель
Не осветит этих вод.
Кого оплакивают гаснущие звезды?
Кого встречает волн рассветный хор?
Какое солнце будет сыпать смерть и розы
На новый человеческий шатер?
Благословите, братья, ночь незнания,
Нерадостную и суровую весну,
Настанет час — мы смертным потом и слезами
Смягчим земли жестокой целину.
И правнуки, резвясь в тени дубравы,
Припомнят ночь, корабль и нас впереди,
Скрестивших руки на груди,
Глядящих на восток кровавый.

Между январем и мартом 1920

103

Мои стихи не исповедь певца,
Не повесть о любви высокого поэта —
Так звучат тяжелые сердца,
Тронутые ветром.
Я не резвился с музами в апреля навечерия,
Не срывал Геликона доцветающих роз —
Лиру разбил о камень севера,
Косматым руном оброс.
На развалинах мира молчи,
Пушкина полдневная цевница!
Варвар смеется, забытый младенец кричит,
Бьет крылами вспугнутая птица.
Не о себе говорю — о многих и многих,
Ибо нем человек и громка гроза.
Одни приходят — другие уходят,
Потупляют, встретившись, глаза.
Все одной непогодой покрыты,
И протяжная поет труба,
Медная, оплакивает павшего владыку
И приветствует раба.

112

Имя мое забудут, стихи прочитав, усмехнутся:
Умирающая мать, грустя,
Грусть свою тая, в последний раз баюкала
Новое безлюбное дитя.

Март 1920

104

Блузник, на лбу твоём пот,
Руки черны от работы,
Пожалей же нежалевшего, ибо горек плод,
Не окропленный потом.
Тяжелее рубищ — багряница,
И владыке тесен дольний мир.
Страшно иерею в вековой темнице
Сторожить скудеющий потир.
Золото ласкают легкими перстами —
Горше нет такой любви,
Не живут, но только оживляют камень
Теплотой скудеющей крови.
Одному был дан, чтоб править, скипетр,
А другому — молот, чтоб державу раздробить.
Не кляни, но мертвых и забытых,
Путь свой завершивших, погребви.
Полюби не лепоту, но время
И, дары земли легко даря,
Претвори властителя бывшее бремя
В утреннюю песню косаря.

Март 1920

105. ОТРЫВОК ИЗ НЕНАПЕЧАТАННОЙ «ОДЫ»

Секите сердца златоруды!
Кровь весела, и темный легок оброк.
Други, трубите в трубы,
Славьте новый Восток!
Умри, певец, на груди зари рыжекудрой,
Душу вдунув в огненный рог!
Запевай! Отвечай! Выходи на вспененный борт!
Огни зажигай на мачте высокой!

Это не дальний архангельский хор —
Человеческий рык и топот.
Всё, чем мы были иль быть не смогли,
Смыли черные волны.
Смейся громче, дитя земли,
В руне твоём новое солнце!
Пролетают года, и пред ними паду ль
Иль корабль проведу в золотые века?
Глядите — впервые легла на трепещущий руль
Жилистая, черная рука.
Запевала-ветер, начинай!
«Свобода! . . Свобода! . . »

1920

106

Кому предам прозренья этой книги?
Мой век среди растущих вод
Земли уж близкой не увидит,
Масличной ветви не поймет.
Ревнивое встает над миром утро.
И эти годы не разноязычий сечь,
Но только труд кровавой повитухи,
Пришедшей, чтоб дитя от матери отсечь.
Да будет так! От этих дней безлюбых
Кидаю я в века певучий мост.
Концом другим он обопрется о винты и кубы
Очеловеченных машин и звезд.
Как полдень золотого века будет светел!
Как небо воссинеет после злой грозы!
И претворятся соки варварской лозы
В прозрачное вино тысячелетий.
И некий человек в тени книгохранилищ
Прочтет мои стихи, как их читали встарь,
Услышит едкий запах седины и пыли,
Заглянет, может быть, в словарь.
Средь мишуры былой и слов убогих,
Средь летописи давних смут
Увидит человека, умирающего на пороге,
С лицом, повернутым к нему.

Январь или февраль 1921
Москва

Скрипки, сливки, книжки, дни, недели.
 Напишу еще стишок — зачем?
 Что это — тяжелое похмелье
 Или непроветренный Эдем?
 У Вердена лимонад в киосках.
 Выше — тщательная синева.
 Остается, прохладившись просто,
 Говорить хорошие слова.
 Время креповую сажу счистит —
 Ведь ему к тому не привыкать.
 Пусть займется остальным статистик,
 А поэту должно воспевать.
 Да, моя страна не знала меры,
 Скарб столетий на костер снесла.
 И обугленные нововеры
 Не дают уюта иль тепла.
 Да, конечно, радиатор лучше!
 Что же, Эренбург, попал в Париж,
 Это щедрое благополучье
 В холеные оды претвори.
 Но язык России дик и скорбен,
 И не русский станет славить днесь
 Победителя, что мчится в «форде»
 Привкус смерти трюфелем заесть.
 Впрочем, всё это различье вкусов,
 И невежливо его просить,
 Выпив чай, к тому ж еще вприкуску,
 На костре себя слегка спалить.

Июль 1921

Я не трубач — труба. Дуй, Время!
 Дано им верить, мне звенеть.
 Услышат все, но кто оценит,
 Что плакать может даже медь?
 Он в серый день припал и дунул,
 И я безудержно завыл,
 Простой закат назвал кануном
 И скуку мукой подменил.

Старались все себя превысить —
О ком звенела медь? О чем?
Так припадали губы тысяч,
Но Время было трубачом.
Не я, рукой сухой и твердой
Перевернув тяжелый лист,
На смотр веков построил орды
Слепых тесальщиков земли
Я не сказал, но лишь ответил,
Затем что он уста рассек,
Затем что я не властный ветер,
Но только бедный человек.
И кто поймет, что в сплаве медном
Трепещет вкрапленная плоть,
Что прославляю я победы
Меня сумевших побороть?

Июль 1921

109

Разграбив житницы небес,
Дитя вселенской суматохи,
Как я могу, засевши в бест,
Сбирать любви златые крохи?
О, парадизов преснота
И буколические встречи!
Припомнив дикие лета,
Чем осолою свой ранний вечер?
Еще, пожалуй, десять лет
(Мне тридцать минуло) готовься —
Придется этот скудный хлеб
Солить слезою стариковства.
Конечно, одуванчик мил
И Беатриче цель поэта,
Но я сивуху долго пил
И нечувствителен к букету.
Я очень, очень виноват,
Что пережил свое безумье, —
Неразорвавшийся снаряд
Еще валяется на клумбе.

Август 1921

116

Будет день — и станет наше горе
 Датами на цоколе историй,
 И в обжитом доме не припомнят
 О рабах былой каменоломни.
 Но останется от жизни давней
 След нестертый на остывшем камне,
 Не заглохшие без эха рифмы,
 Не забытые чужие мифы,
 Не скрижали дикого Синая —
 Слабая рука, а в ней другая,
 Чтобы знали дети легкой неги
 О неупомянутой победе
 Просто человеческого сердца
 Не над человеком, но над смертью.
 Так напрасно все ветра пытались
 Разлучить хладеющие пальцы.
 Быстрый выстрел или всхлипы двери,
 Но в потере не было потери.
 Мы детьми играли на могиле.
 Умирая, мы еще любили.
 Стала смерть задумчивой улыбкой
 На лице блаженной Суламиты.

Август 1921

Тяжелы несжатые поля,
 Золотого века полнокровье.
 Чем бы стала ты, моя земля,
 Без опустошающей любви?

Да, любовь, и до такой тоски,
 Что в зените леденеет сердце,
 Вместо глаз кровавые белки
 Смотрят в хаотические сферы.

Закипает глухо желчь земли,
 Веси заливаает бунта лава,
 И горит Нерукотворный Лик,
 Падает порфировая слава.

О, я тоже пил твоё вино!
Ты глаза потупила, весталка,
Проливая в каменную ночь
Первые разрозненные залпы.

Январь 1922

112

Тело нежное строгаёт стругом,
И летит отхваченная бровь,
Стружки снега, матерная ругань,
Голубиная густая кровь.

За чужую радость эти кубки.
Разве о своей поведать мог,
На плече, как на голландской трубке,
Выгрызая черное клеймо?

И на Красной площади готовят
Этот теплый корабельный лес, —
Дикий шкипер заболел любовью
К душной полноте её телес.

С топором такую страсть вспыхнет,
Так прекрасен пурпур серебра,
Что выносят за смертью стрельчиху,
Повстречавшую глаза Петра.

Сколько раз в годину новой рубки
Обжигала нас его тоска
И тянулась к трепетной голубке
Жадная, горячая рука.

Бьётся в ярусах чужое имя.
Красный бархат ложи, и темно.
Голову любимую он кинет
На обледенелое бревно.

Январь 1922

118

Громкорыкого хищника
 Пел великий Давид.
 Что скажу я о нищенстве
 Беспризорной любви?

От груди еле отнятый,
 Грош вдовицы зацвел
 Над хлебами субботними
 Роем огненных пчел.

Бьются души обвыклые,
 И порой — не язык —
 Чрево древнее выплеснет
 Свой таинственный крик.

И по-новому чуждую
 Я припомнить боюсь
 Этих губ неостуженных
 Предрассветную грусть.

Но заря понедельника,
 Закаляя тоску,
 Ухо рабье, как велено,
 Пригвоздит к косяку.

Клювом вырвет заложника
 Из расхлябанных чресл.
 Это сердце порожнее
 И полуденный блеск!

Крики черного коршуна!
 Азраила труба!
 Из горчайших о горшая,
 Золотая судьба!

Январь 1922

Уж сердце снизилось, и как!
 Как легко лёт земного вечера!
 Я тоже глиной был в руках
 Неутомимого Горшечника.

И каждый оттиск губ и рук,
 И каждый тиск ночного хаоса
 Выдавливали новый круг,
 Пока любовь не показалась.

И набежавший жар обжег
 Еще не выгнутые выгибы,
 И то, что было вздох и бог,
 То стало каменной книгою.

И кто-то год за годом льет
 В уже готовые обличия
 Любовных пут тягучий мед
 И желчь благого еретичества.

О, костенеющие дни, —
 Я их не выплесну, и вот они!
 Любви обжиг дает гранит,
 И ветер к вечеру немотствует.

Живи, пока не хлынет смерть,
 Размочит эту твердь упрямую,
 И снова станет перстью персть,
 Любовь — неповторимым замыслом.

Январь 1922

Стали сны единой достоверностью.
 Два и три — таких годов орда.
 На четвертый (кажется, что Лермонтов) —
 Это злое имя «Кабарда».

Были же веснушчатые истины:
Мандарином веяла рука.
Каменные базилики лиственниц.
Обитаемые облака.

И какой-то мост в огромном городе —
Звезды просто в водах, даже в нас.
Всё могло бы завершиться легким шорохом —
Зацепилась о быки волна.

Но осталась горечь губ прикушенных
И любовь до духоты, до слез.
Разве знали мы, что ночь с удушьями —
Тоже брошенный дугою мост?

От весны с черешневыми хлопьями,
От любви к плетенке Фьезоле —
К этому холодному, чужому шлепанью
По крутой занозливой земле.

Но дающим девство нет гибели!
Рои войн смогла ты побороть,
Распахнувши утром новой Библии
Милую коричневую плоть.

Средь гнезда чернявого станичников
Сероглазую легко найду.
Крепко я пророс корнями бычьими
В каменную злую Кабарду.

Пусть любил любовью неутешенной.
Только раз, как древний иудей,
Я переплеснул земное бешенство
Ненасытной нежности моей.

Так обмоют бабки, вытрут досуха.
Но в посмертную глухую ночь
Сможет заглянуть простоволосая,
Теплая, заплаканная дочь.

Январь 1922

Ночь была. И на Пинегу падал длинный снег,
 И Вестминстерское сердце скрипнуло сердито.
 В синем жире стрелки холеных «Омег»
 Подступали к тихому зениту.
 Прыгало тустепом юркое «люблю».
 Стал пушинкой Арарата камень.
 Радуга кривая ввоза и валют
 Встала над замлевшими материками.
 Репарации петит и выпот будних дней.
 И никто визиток сановитых не заденет.
 И никто не перережет приводных ремней
 Нормированных совокуплений.
 Но Любовь — сосед и миф —
 Первые глухие перебои,
 Столкновенье диких цифр
 И угрюмое цветенье зверобоя.
 Половина первого. Вокзальные пары.
 На Пинеге снег. Среди трапеций доллар.
 Взрыв.
 Душу настезь. Золото и холод.
 Только ты, мечта, не суесловь —
 Это ведь всегда бывает больно.
 И крылатым зимородком древняя любовь
 Бьется в чадной лапе Равашоля.
 Это не гудит пикардская земля
 Гудом императорского марша.
 И не плещет нота голубятника Кремля —
 Чудака, обмотанного шарфом.
 Это только тишина и жар,
 Хроника участков, крохотная ранка.
 Но, ее узнав, по винограднику, чумея и визжа,
 Оглушенный царь метался за смуглянкой.
 Это только холодеющий зрачок
 И такое замедление земного чина,
 Что становится музейным милое плечо,
 Пережившее свою Мессину.

Январь 1922

Что седина? Я знаю полдень смерти —
 Звонарь блаженный звоном изойдет,
 Не раскачнув земли глухого сердца,
 И виночерпий чаши не дольет.

Молю, — о ненависть, пребудь на страже!
 Среди камней и рубенсовских тел
 Пошли и мне неслыханную тяжесть,
 Чтоб я второй земли не захотел.

Январь 1922

Когда замолкнет суесловье,
 В босые тихие часы,
 Ты подыми у изголовья
 Свои библейские весы.

Запомни только: сын Давидов,
 Филистимлян я не прощу.
 Скорей свои цимбалы выдам,
 Но не разящую пращу.

Ты стой и мерь глухие смеси,
 Учи неистовству, пока
 Не обозначит равновесья
 Твоя державная рука.

Но неизбывна жизни тяжесть:
 Слепое сердце дрогнет вновь,
 И перышком на чашу ляжет
 Полузабытая любовь.

Январь 1922

Не осуди — разумный виноградарь
 Стрижет лозу, заготавливает жердь.
 Кружиться — ветру, человеку — падать,
 Пока не уведет заплаканная смерть.

Ты, пролистав моих любовей повесть,
 Подумай: яблока короткий стук —
 Стяжатель истины приподнял брови
 И опознал земную тяготу.

Ведь как бы мы любви ни угождали,
 В июльский день — одно жужжанье мух,
 Горчее губы розовых миндалин,
 А глиняное сердце — никому.

О чем же спор пока снует и бьется?
 Одной кривой подняться не дано.
 Ведра не вытянут из емкого колодца,
 И не согреет сердца полотно.

Июль или август 1922

Заезжий двор. Ты сердца не щади
 И не суди его — оно большое.
 И кто проставит на моей груди:
 «Свободен от постоя»?

И кто составит имя на снегу
 Из букв раскиданных, из рук и прозвищ?
 Но есть ладони — много губ
 Им заменяло гвозди.

Столь невеселая веселость глаз,
 Сутулость вся — тяжелая нагрузка, —
 Приметы выгорят дотла,
 И уж конечно трубка.

Одна зазубрина, ущербный след,
 И глубже всех изданий сотых —

На зацелованной земле
Вчерашние заботы.

Я даже умираю впопыхах,
И пахнет нежностью примятый вереск —
Парная розоватая тропа
Подшибленного зверя.

Июль или август 1922

121

Где солнце как желток, белы потемки,
Изюм и трехсвятительская мгла,
Где женщины, как розовые семги
Средь бакалеи, кажут мертвый глаз,

Где важен чад великих чаепитий,
Отрыгнутый архимандритом лук
И славы доморощенный ревнитель
Воротит скулы православных слуг,

Где приторна малиновая пасха,
Славянских дев, как сукровица, кровь, —
Чернея, хлынула горячая закваска —
Всей баснословной Африки любовь.

Ему пришлось воспеть удельных хамов,
Ранжир любви и местничество вер,
Средь сплетен, евнухов — смущенный мамонт
Закончил дни, и был он «камергер».

Он пел снега, но голос крови гулок,
И, услышав повозки скрип простой,
Он выплеснул ночное «Марнула»
И захлебнулся этой долготой.

Я чую теплый бакен, слышу выстрел,
Во мне растет такой же смутный гул,
И плещут в небе дикие мониста —
Щемящие глаза падучих Марнул.

Июль или август 1922

125

Остановка. Несколько примет.
 Расписание некоторых линий.
 Так одно из этих легких лет
 Будет слишком легким на помине.

Где же сказано — в какой графе,
 На каком из верстовых зарубка,
 Что такой-то сиживал в кафе
 И дымил недодымившей трубкой?

Ты ж не станешь клевера сушить,
 Чиркать ногтем по полям романа.
 Это — две минуты, и в глуши
 Никому не нужный полустанок.

Даже грохот катастроф забудь:
 Это — задыханья, и бураны,
 И открытый стрелочником путь
 Слишком поздно или слишком рано.

Вот мое звериное тепло,
 Я почти что от него свободен.
 Ты мне руку положи на лоб,
 Чтоб услышать, как оно уходит.

Есть в тебе льняная чистота,
 И тому, кому не нужно хлеба, —
 Три аршина грубого холста
 На его последнюю потребу.

Июль или август 1922

Я любил ветер верхних палуб,
 Ремесло пушкаря,
 Уличные скандалы
 И двадцать пятое октября.

Я любил в кофейнях гулящих,
Дым, спирт, зной.
Меня положат в продолговатый ящик
Дышать прохладной сосной.

Чопорно лягу в жесткой манишке,
Свидетель стольких измен,
Подобно Самуилу, Саулу, мертвым и лишним,
Судить двенадцать колен.

За то, что лоцман, вспомнив пристань,
Рано повернул свое колесо
И все сердца ушедших на приступ
Остыли, как за ночь песок.

Тебя и вас, любимых и любивших,
За то, что вы, полюбив уют,
Осудили вот здесь, под этой манишкой,
Нежность и ревность мою.

Тогда, преисполнены страха,
В глубь земли и в глубины лет
Вы меня опустите, как тяжелый якорь,
Чтоб самим устоять на земле.

Июль или август 1922

124

Так умирать, чтоб бил озноб огни,
Чтоб дымом пахли щеки, чтоб курьерский:
«Ну, ты, угомонись, уймись, нишкни», —
Прошамкал мамкой ветровому сердцу,
Чтоб — без тебя, чтоб вместо рук сжимать
Ремень окна, чтоб не было «останься»,
Чтоб, умирая, о тебе гадать
По сыпи звезд, по лихорадке станций, —
Так умирать, понять, что гам и чай,
Буфетчик, вечный розан на котлете,
Что это — смерть, что на твое «прощай!»
Уж мне никак не суждено ответить.

1923

Не нежен, беженцем на тормоз,
 И на рожон, забыв зады,
 Вытряхивая ворох формул
 О связи глаза и звезды,
 О связи губ, тех, что голубят,
 Что воркот льют, когда ты люб, —
 Тарарабумбий на раструбе
 Взбесившихся под утро труб.
 Любовь — чтоб это было мясо,
 Чтоб легче в гроб, чтоб глож, пока
 Не станут вздохн астмой, басом
 Матросского грузовика.
 Врозь ноги. Пули тороваты.
 На улице любой лови —
 Он снова тянется, кильватер
 Огульной крови и любви!
 От жарких наволок, от славы
 Вот в эту рань, где красный дом,
 Средь форток, штор и мертвых лавок,
 Орет, пробитый сквозняком.
 Молочниц пар. Мороз. Но гарус,
 Но роза — за угол, и вот
 Она уж бомба, гомон, ярость
 И хор у городских ворот.
 На смену, ненависть! До пушек!
 Крути фитиль, вой матом, пои!
 Как та, врываясь в глушь подушек,
 Тяжелой, теплой и слепой.

1923(?)

Не сухостой — живое тело резать,
 Чтоб изошел слезой горячий сруб, —
 Так мне ломать проклятое железо
 Отлитых для молчаливства губ.
 И по ночам отчаянье какое!
 Скорей средь корректур и табака
 Хлебнуть горячечных паров левкоя,
 Запасть в подушечные облака!

Средь скуки штукатура, к стенке серой,
Когда любовь в любом окне горит,
Знать только капли крана, сердца меру
И смерть на самых подступах зари.
Остановись! Не то я вырву вожжи.
Я на земле еще недолюбил.
Из ночи в ночь короткий теплый дождик
Мои ладони бережно крестил.
Чтоб на спину, считая стаи галок,
Чтоб стала бытом даже эта мгла,
Чтоб фиолетовое веко пало
На дикий, рыбий, вылинявший глаз.

1923(?)

127

Я так любил тебя — до грубых шуток
И до таких пронзительных немот,
Что даже дождь, стекло и ветки путал,
Не мог найти каких-то нужных нот.

Так только варвар, бросивший на форум
Косматый запах крови и седла,
Богинь оледенивший волчьим взором
Занеженные зябкие тела,

Так только варвар, конь чей, дико пенясь,
Ветрами заальпийскими гоним,
Копытом высекал из сердца пленниц
Источники чистительные нимф,

И после, приминая мех медвежий,
Гортанным храпом плача и шутя,
Так только варвар пестовал и нежил
Диковинное южное дитя.

Так я тебя, без музыки, без лавра,
Грошовую игрушку смастерил,
Нет, не на радость, как усталый варвар,
Нырять в ночь, большую, без зари.

1924

Нет, не забыть тебя, Мадрид,
 Твоей крови, твоих обид.
 Холодный ветер кружит пыль.
 Зачем у девочки костыль?
 Зачем на свете фонари?
 И кто дотянет до зари?
 Зачем живет Карабанчель?
 Зачем пустая колыбель?
 И сколько будет эта мать
 Не понимать и обнимать?
 Раскрыта прямо в небо дверь,
 И, если хочешь, в небо верь,
 А на земле клочок белья,
 И кровью смочена земля.
 И пушки говорят всю ночь,
 Что не уйти и не помочь,
 Что зря придумана заря,
 Что не придут сюда моря,
 Ни корабли, ни поезда,
 Ни эта праздная звезда.

1938

129. «ГОВОРИТ МОСКВА»

Трибун на цоколе безумца не напоит.
 Не крикнут ласточки средь каменной листвы.
 И вдруг доносится, как смутный гул прибора,
 Дыхание далекой и живой Москвы.
 Всем пасынкам земли знаком и вчуже дорог
 (Любуются на улиц легкие стежки) —
 Он для меня был нежным детством, этот город,
 Его Садовые и первые снежки.
 Дома кочуют. Выйдешь утром, а Тверская
 Свернула за угол. Мостов к прыжку разбег.
 На реку корабли высокие спускают,
 И, как покойника, сжигают ночью снег.
 Иду по улицам, и прошлого не жалко,
 Ни сверстников, ни площади не узнаю.

Вот только слушаю всё ту же речь с развалкой
И улыбаюсь старожилу-воробью.
Сердце кипенье: город взрезан, взорван, вскопан,
А судьбы сыплются меж пальцев, как песок.
И, слыша этот шум, покорно ночь Европы
Из рук роняет шерсти золотой моток.

1938

130

Парча румяных жадных богородиц,
Эскуриала грузные гроба.
Века по каменной пустыне бродит
Суровая испанская судьба.
На голове кувшин. Не догадаться,
Как ноша тяжела. Не скажет цеп
О горе и о гордости батрацкой,
Дитя не всхлипнет, и не выдаст хлеб.
И если смерть теперь за облаками,
Безносая, она земле не вновь,
Она своя, и знает каждый камень
Осколки глины, человека кровь.
Ослы кричат. Поет труба пастушья.
В разгаре боя, в середине дня,
Вдруг смутная улыбка равнодушья,
Присущая оливам и камням.

1938

131

Сердце, это ли твой разгон?
Рыжий, выжженный Арагон.
Нет ни дерева, ни куста,
Только камень и духота.
Всё отдать за один глоток!
Пуля — крохотный мотылек.
Надо выползти, добежать.
Как звала тебя в детстве мать?
Красный камень. Дым голубой.
Орудийный короткий бой.

Пулеметы. Потом тишина.
Здесь я встретил тебя, война.
Одурь полдня. Глубокий сон.
Край отчаянья, Арагон.

1938

132

Тогда восстала горная порода,
Камней нагроможденье и сердец,
Медь Рио-Тинто бредила свободой,
И смертью стал Линареса свинец.
Рычали горы, щерились долины,
Моря оскалили свои клыки,
Прогнали горлиц гневные маслины,
Седой листвой прикрыв броневики,
Кусались травы, ветер жег и резал,
На приступ шли лопаты и скирды,
Узнали губы девушек железо,
В колодцах мертвых не было воды,
И вся земля пошла на чужеземца:
Коренья, камни, статуи, пески,
Тянулись к танкам нежные младенцы,
С гранатами дружили старики,
Покрылся кровью булочника фартук,
Огонь пропал, и вскинулось огнем
Всё, что зовут Испанией на картах,
Что мы стыдливо воздухом зовем.

1938

133. БОЙ БЫКОВ

Зевак восторженные крики
Встречали грузного быка.
В его глазах, больших и диких,
Была глубокая тоска.
Дрожали дротики обиды.
Он долго поджидал врага,
Бежал на яркие хламиды
И в пустоту вонзал рога.

132

Не понимал — кто окровавил
Пустынь горячие пески,
Не знал игры высоких правил
И для чего растут быки.
Но ни налево, ни направо, —
Его дорога коротка.
Зеваки повторяли «браво»
И ждали нового быка.
Я не забуду поступь бычьую,
Бег напрямик томит меня,
Свирепость, солнце и величье
Сухого, каменного дня.

1938

134

Крепче железа и мудрости глубже
Зрелого сердца тяжелая дружба.
В море встречаясь и бури изведав,
Мачты заводят простые беседы.
Иволга с иволгой сходятся в небе,
Дивен и дик их загадочный щебет.
Медь не уйдет от дыханья горниста,
Мертвый, живых поведет он на приступ.
Не говори о тяжелой потере:
Если весло упирается в берег,
Лодка отчалит и, чуждая грусти,
Будет качаться, как люлька, — до устья.

1938

135

Нет, не зеницу ока и не камень,
Одно я берегу: простую память.
Так дерево — оно ветров упорней —
Пускает в ночь извилистые корни.
Пред чудом человеческой свободы
Ничтожны версты и минута — годы;
И сердце зрелое — тот мир просторный,
Где звезды падают и всходят зерна.

1938

Батарейю скрывали оливы.
 День был серый, ползли облака.
 Мы глядели в окно на разрывы,
 Говорили, что нет табака.
 Говорили орудья сердито,
 И про горе был этот рассказ.
 В доме прыгали чашки и сита,
 Штукатурка валилась на нас.
 Что здесь делают шкаф и скамейка,
 Эти кресла в чехлах и комод?
 Даже клетка, а в ней канарейка,
 И, проклятая, громко поет.
 Не смолкают дурацкие трели,
 Стоит пушкам притихнуть — поет.
 Отряхнувшись, мы снова глядели:
 Перелет, недолет, перелет.
 Но не скрою — волнение пичуги
 До меня на минуту дошло,
 И тогда я припомнил в испуге
 Бредовое мое ремесло:
 Эта спазма, что схватит за горло,
 Не отпустит она до утра, —
 Сколько чувств доконала, затерла
 Слов и звуков пустая игра!
 Канарейке ответила ругань,
 Полоумный буфет завизжал,
 Показался мне голосом друга
 Батарейи запальчивый залп.

1938 или 1939

«Разведка боем» — два коротких слова.
 Роптали орудийные басы,
 И командир поглядывал сурово
 На крохотные дамские часы.
 Сквозь заградительный огонь прорвались,
 Кричали и кололи на лету.

А в полдень подчеркнул штабного палец
Захваченную утром высоту.
Штыком вскрывали пресные консервы.
Убитых хоронили как во сне.
Молчали.

Командир очнулся первый:
В холодной предрассветной тишине,
Когда дышали мертвые покоем,
Очистить высоту пришел приказ.
И, повторив слова: «Разведка боем»,
Угрюмый командир не поднял глаз.
А час спустя заря позолотила
Чужой горы чернильные края.
Дай оглянуться — там мои могилы,
Разведка боем, молодость моя!

1938 или 1939

138. В БАРСЕЛОНЕ

На Рамбле возле птичьих лавок
Глухой солдат — он ранен был —
С дроздов, малиновок и славок
Глаз восхищенных не сводил.
В ушах его навек засели
Ночные голоса гранат.
А птиц с ума сводили трели,
И был щеглу щегленок рад.
Солдат, увидев в клюве звуки,
Припомнил звонкие поля,
Он протянул к пичуге руки,
Губами смутно шевеля.
Чем не торгуют на базаре?
Какой не мучают тоской?
Но вот, забыв о певчей твари,
Солдат в сердцах махнул рукой.
Не изменить своей отчизне,
Не вспомнить, как цветут цветы,
И не отдать за щебет жизни
Благословенной глухоты.

1938 или 1939

139. У БРУНЕТЕ

В полдень было — шли солдат ряды.
В ржавой фляжке ни глотка воды.
На припеке, — а уйти нельзя, —
Обгорали мертвые друзья.
Я запомнил несколько примет:
У победы крыльев нет как нет,
У нее тяжелая ступня,
Пот и кровь от грубого ремня,
И она бредет, едва дыша,
У нее тяжелая душа,
Человека топчет, как хлеба,
У нее тяжелая судьба.
Но крылатой краше этот пот,
Чтоб под землю заползти, как крот,
Чтобы руки, чтобы ружья, чтобы тень
Наломать, как первую сирень,
Чтобы в яму, к черту, под откос,
Только б целовать ее взасос!

1938 или 1939

140. РУССКИЙ В АНДАЛУЗИИ

Гроб несли по розовому щебню,
И труба унылая трубила.
Выбегали на шоссе деревни,
Подымали грабли или вилы.
Музыкой встревоженные птицы,
Те свою высвистывали зорю.
А бойцы, не смея торопиться,
Задыхались от жары и горя.
Прикурить он больше не попросит,
Не вздохнет о той, что обманула.
Опускали голову колосья,
И на привязи кричали мулы.
А потом оливы задрожали,
Заступ землю жесткую ударил.
Имени погибшего не знали,
Говорили коротко «товарищ».

Под оливами могилу вырыв,
Положили на могиле камень.
На какой земле товарищ вырос?
Под какими плакал облаками?
И бойцы сутулились тоскливо,
Отвернувшись, сглатывали слезы.
Может быть, ему милей оливы
Простодушная печаль березы?
В темноте все листья пахнут летом,
Все могилы сиротливы ночью.
Что придумаешь просторней света,
Человеческой судьбы короче?

1938 или 1939

141. У ЭБРО

На ночь глядя выслали дозоры.
Горя повидали понтонеры.
До утра стучали пулеметы,
Над рекой сновали самолеты,
С гор, раздроблены, сползали глыбы,
Засыпали, проплывая, рыбы,
Умирая, подымались люди,
Не оставили они орудий,
И зенитки, заливаясь лаем,
Били по тому, что было раем.

Другом никогда не станет недруг,
Будь ты, ненависть, густой и щедрой,
Чтоб не дать врагам ни сна, ни хлеба,
Чтобы не было над ними неба,
Чтоб не ластились к ним дома звери,
Чтоб не знать, не говорить, не верить,
Чтобы мудрость нас не обманула,
Чтобы дулу отвечало дуло,
Чтоб прорваться с боем через реку
К утреннему, розовому веку.

1938 или 1939

Горят померанцы, и горы горят.
 Под ярким закатом забытый солдат.
 Раскрыты глаза, и глаза широки,
 Садятся на эти глаза мотыльки.
 Натертые ноги в горячей пыли,
 Они еще помнят, куда они шли.
 В кармане письмо — он его не послал.
 Остались патроны, не все расстрелял.
 Он в городе строил большие дома,
 Один не достроил. Настала зима.
 Кого он лелеял, кого он берег,
 Когда петухи закричали не в срок,
 Когда закричала ночная беда
 И в темные горы ушли города?
 Дымилась оливы. Он шел под огонь.
 Горела на солнце сухая ладонь.
 На Сьерра-Морена горела гроза.
 Победа ему застигла глаза.
 Раскрыты глаза, и глаза широки,
 Садятся на эти глаза мотыльки.

1938 или 1939

143. ГОНЧАР В ХАЭНЕ

Где люди ужинали — мусор, щебень,
 Кастрюли, битое стекло, постель,
 Горшок с сиренью, а высоко в небе
 Качается пустая колыбель.
 Железо, кирпичи, квадраты, диски,
 Разрозненные, смутные куски.
 Идешь — и под ногой кричат огрызки
 Чужого счастья и чужой тоски.
 Каким мы прежде обольщались вздором!
 Что делала, что холила рука?
 Так жизнь, ободранная живодером,
 Вдвойне необычайна и дика.
 Портрет семейный, — думали про сходство,
 Загадывали, чем обить диван.

Всей оболочки грубое уродство
Навязчиво, как муха, как дурман.
А за углом уж суета дневная,
От мусора очищен тротуар.
И в глубине прохладного сарая
Над глиной трудится старик гончар.
Я много жил, я ничего не понял
И в изумлении гляжу один,
Как, повинувшись старческой ладони,
Из темноты рождается кувшин.

1938 или 1939

144

В кастильском нищенском селенье,
Где только камень и война,
Была та ночь до одуренья
Криклива и раскалена.
Артиллерийской подготовки
Гроза гремела вдалеке.
Глаза хватались за винтовки,
И пулемет стучал в виске.
А в церкви — экая морока! —
Показывали нам кино.
Среди святителей барокко
Дрожало яркое пятно.
Как камень, сумрачны и стойки,
Молчали смутные бойцы.
Вдруг я услышал: русской тройки
Звенели лихо бубенцы,
И, памятью меня измаяв,
Расталкивая всех святых,
На стенке бушевал Чапаев,
Сзывал живых и неживых.
Как много силы у потери!
Как в годы переходит день!
И мечется по рыжей сьерре
Чапаева большая тень.
Земля моя, земли ты шире,
Страна, ты вышла из страны,

139

Ты стала воздухом, и в мире
Им дышат мужества сыны.
Но для меня ты с колыбели —
Моя земля, родимый край,
И знаю я, как пахнут ели,
С которыми дружил Чапай.

1938 или 1939

145

Додумать не дай, оборви, молю, этот голос,
Чтоб память распалась, чтоб та тоска раскололась,
Чтоб люди шутили, чтоб больше шуток и шума,
Чтоб, вспомнив, вскочить, себя оборвать, не додумать,
Чтоб жить без просыпу, как пьяный, залпом и на пол,
Чтоб тикали ночью часы, чтоб кран этот капал,
Чтоб капля за каплей, чтоб цифры, рифмы, чтоб что-то,
Какая-то видимость точной, срочной работы,
Чтоб биться с врагом, чтоб штыком — под бомбы, под
пули,
Чтоб выстоять смерть, чтоб глаза в глаза заглянули.
Не дай доглядеть, окажи, молю, эту милость,
Не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось.

1938 или 1939
Барселона

146

Молча — короткий привал —
Ночью ее целовал,
И не на ласку был скуп
Жар запечатанных губ.
Молча и до дурноты
Утром глядел на цветы,
Молча курил он табак,
Молча он гладил собак,
И суетился у ног
Теплый мохнатый щенок.
С ним говорила трава.
Где потерял он слова?

Вот истребитель идет,
Скажет свое пулемет,
Летчик глядит и молчит:
Нет языка у обид.
Громкая ночь жестока.
Нет у нее языка.

1938 или 1939

147

Сочится зной сквозь крохотные ставни.
В беленой комнате темно и душно.
В ослушников кидали прежде камни,
Теперь и камни стали равнодушны.
Теперь и камни ничего не помнят,
Как их ломали, били и тесали,
Как на заброшенной каменоломне
Проклятый полдень жаден и печален.
Страшнее смерти это равнодушие.
Умрет один — идут, назад не взглянут.
Их одиночество глушит и душит,
И каждый той же суетой обманут.
Быть может, ты, ожесточась, отчаясь,
Вдруг остановишься, чтоб осмотреться,
И на минуту ягода лесная
Тебя обрадует. Так встанет детство:
Обломки мира, облаков обрывки,
Кукушка с глупыми ее годами,
И мокрый мох, и земляники привкус,
Знакомый, но нечаянный, как память.

1938 или 1939

148

Как восковые, отекли камельи.
Расина декламируют дрозды.
А ночью невеселое веселье
И ядовитый изумруд звезды.
В туманной суете угрюмых улиц
Еще у стоек поят голытьбу,

141

А мудрые старухи уж разулись,
Чтоб легче спать в игрушечном гробу.
Вот рыболов с улыбкою беззлобной
Подводит жизни прожитой итог,
И кажется мне лилией надгробной
В летейских водах праздный поплавок.
Домов не тронут поздние укоры,
Не дрогнут до рассвета фонари.
Смотри — Парижа путевые сборы.
Опереди его, уйди, умри!

1938 или 1939

149. МОНРУЖ

Был нищий пригород, и день был сер,
Весна нас выгнала в убогий сквер,
Где небо призрачно, а воздух густ,
Где чудом кажется спирени куст,
Где не расскажет про тупую боль,
Вся в саже, бредовая лакфиоль,
Где малышей сажают на песок
И где тоска вгрызается в висок.
Перекликались слава и беда,
Росли и рассыпались города,
И умирал обманутый солдат
Средь лихорадки пафоса и дат.
Я знаю, век, не изменить тебе,
Твоей суровой и большой судьбе,
Но на одну минуту мне позволь
Увидеть не тебя, а лакфиоль,
Увидеть не в бреду, а наяву
Большую, золотушную траву.

1938 или 1939

150

Не торопясь, внимательный биолог
Законы изучает естества.
То был снаряда крохотный осколок,
И кажется, не дрогнула листва.

Прочтут когда-нибудь, что век был грозен,
Страницу трудную перевернут
И не поймут, как умирала озимь,
Как больно было каждому зерну.
Забыть чужого века созерцанье,
Искусства равнодушную игру,
Но только чье-то слабое дыханье
Собой прикрыть, как спичку на ветру.

1938 или 1939

151

На ладони — карта, с малолетства
Каждая проставлена река,
Сколько звезд ты получил в наследство,
Где ты пас ночные облака.
Был вначале ветер смертоносен,
Жизнь казалась горше и милей.
Принимал ты тишину за осень
И пугался тени тополей.
Отзвенели светлые притоки,
Стала глубже и темней вода.
Камень ты дробил на солнцепеке,
Завоевывал пустые города.
Заросли тропинки, где ты бегал,
Ночь сиреневая подошла.
Видишь — овцы, будто хлопья снега,
А доска сосновая тепла.

1938 или 1939

152

Сбегают с гор, грозят и плачут,
Стреляют, падают, ползут.
Рассохся парусник рыбачий,
И винодел срубил лозу.
Закутанные в одеяла,
Посты застыли начеку.
Война сердца освежевала
И выпустила в ночь тоску.

Рука пощады не попросит.
Слова врага не обелят.
Зовут на выручку колосья,
Родные жадные поля.
Суров и грозен боя воздух,
И пулемета голос лют.
А упадешь — земля и звезды,
И путь один — как кораблю.

1938 или 1939

153

Не здесь, на обломках, в походе, в окопе,
Не мертвых опрос и не доблести опись.
Как дерево, рубят товарища, друга.
Позволь, чтоб не сердце, чтоб камень, чтоб уголь!
Работать средь выстрелов, виселиц, пыток
И ночи крестить именами убитых.
Победа погибших, и тысяч, и тысяч —
Отлить из железа, из верности высечь, —
Обрублены руки, и, настезь отверсто,
Не бьется, врагами расклевано, сердце.

Февраль 1939

154

Жилье в горах — как всякое жильё:
До ночи пересуды, суп и скука,
А на веревке сушится белье,
И чешется, повизгивая, сука.
Но подымись — и сразу мир другой,
От тысячи подробностей очищен,
Дорога кажется большой рекой
И кораблем — убогое жилище.
О, если б этот день перерастаи
И с высоты, средь тишины и снега,
Взглянуть на розовую пыль пути,
На синий дым последнего ночлега!

*1939
Савойя*

По тихим плитам крепостного плаца
 Разводят незнакомых часовых.
 Сказать о возрасте? Уж сны не снятся,
 А книжка — с адресами неживых.
 Стоят, не шелохнутся часовые.
 Друзья редуют, и молчит беда.
 Из слов остались самые простые:
 Забота, воздух, дерево, вода.
 На мир гляжу еще благоговейнсьй —
 Уж нет меня. Покоя тоже нет —
 Чужое горе липнет, как репейник,
 И я не в силах дать ему ответ.
 Хожу, твержу, нищу такое слово,
 Чтоб выразить всю тишину, всю боль —
 Чужого мне, родного часового
 С младенчества затверженный пароль.

1939

Есть перед боем час — всё выжидает:
 Винтовки, кочки, мокрая трава.
 И человек невольно вспоминает
 Разрозненные, темные слова.
 Хозяин жизни, он обводит взором
 Свой трижды восхитительный надел,
 Всё, что вчера еще казалось вздором,
 Что второпях он будто проглядел.
 Как жизнь недожита! Добро какое!
 Пора идти. А может, не пора? ..
 Еще цветут горячие левкой.
 Они цвели... Вчера... Позавчера...

1939

Всё простота: стекольные осколки,
 Жар августа и духота карболки,
 Как очищают от врага дорогу,
 Как отнимают руку или ногу.

Умом мы жили и пустой усмешкой,
Не знали, что закончим перебежкой,
Что хрупки руки и гора поката,
Что договаривает всё гранага.
Редее жизнь, и утром на постое
Припоминаешь самое простое:
Не ревность, не заносчивую славу —
Песочницу, младенчества забаву.
Распались формы, а песок горячий
Ни горести не знает, ни удачи.
Осталась жизни только сердцевина:
Тепло руки и синий дым овина,
Луга туманные и зелень бука,
Высокая военная порука —
Не выдать друга, не отдать без боя
Ни детства, ни последнего покоя.

1939

158

О той надежде, что зову я вещей,
О вспугнутой, заплаканной весне,
О том, как зайчик солнечный трепещет
На исцарапанной ногтем стене.
(В Испании я видел, среди развалин
Рожала женщина, в тоске крича,
И только бабочки ночные знали,
Зачем горит оплывшая свеча.)
О горе и о молодости мира,
О том, как просто вытекает кровь,
Как новый город в Заполярье вырос
И в нем стихи писали про любовь,
О трудном мужестве, о грубой стуже,
Как отбивает четверти беда,
Как сердцу отвечают крики ружей
И как молчат пустые города,
Как оживают мертвые маслины,
Как мечутся и гибнут облака
И как сжимает ком покорной глины
Неопытная детская рука.

1939

146

159. НА МИТИНГЕ

Судеб раздельных немота и сирость,
Скопление разрозненных обид, —
Не человек, но отрочество мира
Руками и сердцами говорит.
Надежду видел я, и, розы тоньше,
Как мягкий воск, послушная руке,
Она рождалась в кулаке поденщиц
И сгустком крови билась на дрове.

1939

Париж

160

Ты тронул ветку, ветка зашумела.
Зеленый сон, как молодость, наивен.
Утешить человека может мелочь:
Шум листьев или летом светлый ливень,
Когда, омыт, оплакан и закапан,
Мир ясен — весь в одной повисшей капле,
Когда доносится горячий запах
Цветов, что прежде никогда не пахли.
... Я знаю всё — годов проломы, брешы,
Крутых дорог бесчисленные петли.
Нет, человека нелегко утешить!
И всё же я скажу про дождь, про ветви.
Мы победим. За нас вся свежесть мира,
Все жилы, все побеги, все подростки,
Всё это небо синее — на вырост,
Как мальчика веселая матроска,
За нас все звуки, все цвета, все формы,
И дети, что, смеясь, кидают мячик,
И птицы изумительное горло,
И слезы простодушные рыбацек.

1939

Бомбы осколок. Расщеплены двери.
 Всё перепуталось — боги и звери.
 Груды рассечены, крылья отбиты.
 Праздно зияют глазные орбиты.
 Ломкий, истерзанный, раненый камень
 Невыносим и назойлив, как память.
 (Что в нас от смутного детства осталось,
 Если не эта бесцельная жалость?)
 В полуразрушенном брошенном зале
 Беженцы с севера заночевали.
 Среди молчаливых торжественных статуй
 Стонут старухи и плачут ребята.
 Нимф и кентавров забытая драма —
 Только холодный поверженный мрамор.
 Но не отвяжется и не покинет
 Белая рана убитой богини.
 Грудь обнажив в простоте совершенства,
 Женщина бережно кормит младенца.
 Что ей ваятели? Созданы ею
 Хрупкие руки и нежная шея.
 Чмокают губы, и звук этот детский
 Нов и невнятен в высокой мертвецкой.

1939

162. ДЫХАНИЕ

Мальчика игрушечный кораблик
 Уплывает в розовую ночь,
 Если паруса его ослабли,
 Может им дыхание помочь,
 То, что домогается и клянчит,
 На морозе обретает цвет,
 Одолеть не может одуванчик
 И в минуту облетает свет,
 То, что крепче мрамора победы,
 Хрупкое, не хочет уступать,
 О котором бредит напоследок
 Зеркала нетронутая гладь.

1939

Самоубийцею в ущелье
 С горы кидается поток,
 Ломают вековые ели
 И сносит камни, как песок.
 Скорей бы вниз! И дни и ночи,
 Не зная мира языка,
 Грозит, упорствует, грохочет.

Так начинается река,
 Чтоб после плавно и лениво
 Качать рыбацкие челны
 И отражать то трепет ивы,
 То башен вековые сны.

Закончится и наше время
 Среди лазоревых земель,
 Где садовод лелеет семя
 И мать качает колыбель,
 Где летний день глубокий и долог,
 Где сердце тишиной полно
 И где с руки усталый голубь
 Клюет пшеничное зерно.

1939

164. У ПРИЕМНИКА

Был скверный день, ни отдыха, ни мира,
 Угроз томительная хрипота,
 Всё бешенство огромного эфира,
 Не тот обет, и жалоба не та.
 А во дворе, средь кошек и пеленок,
 Приемника перебивая вой,
 Кричал уродливый, больной ребенок,
 О стену бился рыжей головой,
 Потом ребенка женщина чесала,
 И, материнской гордостью полна,
 Она его красавцем называла,
 И вправду любовалась им она.

Не зря я слепоту зову находкой.
Тоску зажать, как мертвого птенца,
Пройти своей привычною походкой
От детских клятв до точки — до свинца.

1939

165

Я должен вспомнить — это было:
Играли в прятки облака,
Лениво теплая кобыла
Выхаживала сосунка,
Кричали вечером мальчишки,
Дожди поили резеду,
И мы влюблялись понаслышке
В чужую трудную беду.
Как годы обернулись в даты?
И почему в горячий день
Пошли небритые солдаты
Из ошалевших деревень?
Живи хоть час на полустанке,
Хоть от свистка и до свистка.
Оливой прикрывали танки
В Испании.

Опять тоска.

Опять несносная тревога
Кричит над городом ночным.
Друзья, перед такой дорогой
Присядем малость, помолчим,
Припомним всё, как домочадцы, —
Ту резеду и те дожди,
Чтоб не понять, не догадаться,
Какое горе впереди.

1939

166. ВЕРНОСТЬ

Верность — прямо дорога без петель,
Верность — зрелой души добродетель,
Верность — августа слава и дым,
Зной, его не понять молодым,

Верность — вместе под пули ходили,
Вместе верных друзей хоронили.
Грусть и мужество — не расскажу.
Верность хлебу и верность ножу,
Верность смерти и верность обидам,
Бреда сердца не вспомню, не выдам.
В сердце целься! Пройдут по тебе
Верность сердцу и верность судьбе.

1939

167. В ЯНВАРЕ 1939

В сырую ночь ветра точили скалы.
Испания, доспехи волоча,
На север шла. И до утра кричала
Труба помешанного трубача.
Бойцы из боя выводили пушки.
Крестьяне гнали одуревший скот.
А детвора несла свои игрушки,
И был у куклы перекошен рот.
Рожали в поле, пеленали мукой
И дальше шли, чтоб стоя умереть.
Костры еще горели — пред разлукой,
Трубы еще не замирала медь.
Что может быть печальней и чудесней —
Рука еще сжимала горсть земли.
В ту ночь от слов освобождались песни
И шли деревни, будто корабли.

1939

168. ПОСЛЕ...

Проснусь, и сразу: не увижу я
Ее, горячую и рыжую,
Ее, сухую, молчаливую,
Одну под низкую оливою,
Не улыбнется мне приветливо
Дорога розовыми петлями,
Я не увижу горю почести,
Заботливость и одиночество,

Куэнку с красными обвалами
И белую до рези Малагу,
Ее тоску великодушную,
Июль с игрушечными пушками,
Мадрид, что прикрывал ладонями
Детей последнюю бессонницу.

1939

169

Бои забудутся, и вечер щедрый
Земные обласкает борозды,
И будет человек справлять у Эбро
Обыкновенные свои труды.
Всё зарастет — развалины и память,
Зола олив не скажет об огне,
И не обмолвится могильный камень
О розовом потерянном зерне.
Совьют себе другие гнезда птицы,
Другой словарь придумает весна.
Но вдруг в разгул полуденной столицы
Вмешается такая тишина,
Что почтальон, дрожа, уронит письма,
Шоферы отвернутся от руля,
И над губами высоко повиснет
Вина оледеневшая струя,
Певцы гитару от груди отнимут,
Замрет среди пустыни паровоз,
И молча женщина протянет сыну
Патронов соты и надежды воск.

1939

170

Чем расставанье горше и труднее,
Тем проще каждодневные слова:
Больного сердца праздные затеи.
А простодушная рука мертва,
Она сжимает трубку или руку.
Глаза еще рассеянно юлят,

И вдруг ныряет в смутную разлуку
Как бы пустой, остекленелый взгляд.
О, если бы словами, но не теми, —
Быть может, взглядом, шорохом, рукой
Остановить, обезоружить время
И отобрать заслуженный покой!
В той немоте, в той неуклюжей грусти —
Начальная густая тишина,
Внезапное и чудное предчувствие
Глубокого полуденного сна.

1939 или 1940

171

Пред зрелищем небес, пред мира ширью,
Пред прелестью любого лепестка
Мне жизнь подсказывает перемирье,
И тщится горю изменить рука.
Как ласточки летают в поднебесье!
Как тих и дивен голубой покров!
Цветов и форм простое равновесье
Приостанавливает ход часов.
Тогда, чтоб у любви не засидеться,
Я вспоминаю средь ночи огонь,
Короткие гроба в чужой мертвецкой
И детскую холодную ладонь.
Глаза к огромной ночи приневолить,
Чтоб сердце не разнежилось, грустя,
Чтоб ненависть собой кормить и холить,
Как самое любимое дитя.

1939 или 1940

172

Когда подымается солнце и птицы стрекочут,
Шахтеры уходят в глубокие вотчины ночи.
Упрямо вгрызаясь в утробу земли рудоносной,
Рука отбивает у смерти цветочные вёсны.

От сварки страстей, от металла, что смутен и
труден, —
Топор дровосека и ропот тяжелых орудий.
Леса уплывают, деревьям зеленых и рослых
Легки корабельные мачты и призрачны весла.
На веслах дойдешь ты до луга. Среди мяты
горячей
Осколок снаряда, и старая женщина плачет.
Горячие зерна опять возвращаются в землю,
Притихли осины, и жадные ласточки дремлют.

1939 или 1940

173

Ты вспомнил всё. Остыла пыль дороги.
А у ноги хлопочут муравьи,
И это — тоже мир, один из многих,
Его не тронут горести твои.
Как разгадать, о чем бормочет воздух?
Зачем закат заночевал в листве?
И если вечером взглянуть на звезды,
Как разыскать себя в густой траве?

1939 или 1940

174. ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА

Что было городом — дремучий лес,
И человек, услышав крик зловещий,
Зарылся в ночь от ярости небес,
Как червь слепой, томится и трепещет.
Ему теперь и звезды неведомек,
Глаза закрыты, и забиты ставни.
Но вдруг какой-то беглый огонек —
Напоминание о жизни давней.
Кто тот прохожий? И куда спешит?
В кого влюблен?
Скажи ты мне на милость!

Ведь огонька столь необычен вид,
Что кажется — вся жизнь переменялась.

Откинуть мишуру минувших лет,
Принять всю грусть, всю наготу природы,
Но только пронести короткий свет
Сквозь черные, томительные годы!

1939 или 1940

175

Рядила нас в путь обида
От Пресни и до Мадрида.
Не май мы нашли — маевку.
Сжимали во сне винтовку.
Хотели любить берлогу —
Пришлось полюбить дорогу,
И смолоду знали руки
Про холод большой разлуки.
Ревнива и зла победа
До крика, до сна, до бреда,
До ливней косых, как счастье,
До дивной росы безучастья.

(1940)

176

Мы жили в те воинственные годы,
Когда, как джунглей буйные слоны,
Леса ломали юные народы
И прорывались в сон, истомлены.
Такой разгон, такое непоседство,
Что в ночь одну разгладились межи,
Растаял полюс, будто иней детства,
И замерли, пристыжены, стрижи.
Хребту приказано, чтоб расступиться,
Русло свое оставила река,
На север двинулись полки пшеницы,
И розы зацвели среди песка.
Так подчинил себе высокий разум

Лёт облака и смутный ход корней,
И стала ночь, обглоданная глазом,
Еще непостижимей и черней.
Стихи писали про любви уловки,
В подсумок зарывали дневники,
А женщины рожали на зимовке,
И уходили в море моряки.

(1940)

177

Я знаю: будет золотой и долгий,
Как мед густой, непроходимый полдень,
И будут с гирями часы на кухне,
В саду гудеть пчела и сливы пухнуть.
Накроют к ужину, и будет вечер,
Такой же хрупкий и такой же вечный,
И женский плач у гроба не нарушит
Ни чина жизни, ни ее бездушья.

(1940)

178

В городе брошенных душ и обид
Горе не спросит и ночь промолчит.
Ночь молчалива, и город уснул.
Смутный доходит до города гул:
Это под темной больной синевой
Мертвому городу снится живой,
Это проходит по голой земле
Сон о веселом большом корабле, —
Ветер попутен, и гавань тесна,
В дальнее плаванье вышла весна.
Люди считают на мачтах огни;
Где он причалит, гадают они.
В городе горе, и ночь напролет
Люди гадают, когда он придет.
Ветер вздувает в ночи паруса.
Мертвые слышат живых голоса.

1940

Кончен бой. Над горем и над славой
 В знойный полдень голубеет явор.
 Мертвого солдата тихо нежит
 Листьев изумительная свежесть.
 О деревья, мира часовые,
 Сизо-синие и голубые!
 Под тобой пастух играл на дудке,
 Отдыхал, тобой обласкан, путник.
 И к тебе шутя пришли солдаты.
 Явор счастья, убаюкай брата!

1940

Как эти сосны и строенья
 Прекрасны в зеркале пруда,
 И сколько скрытого волненья
 В тебе, стоячая вода!
 Кипят на дне глухие чувства,
 Недвижен темных вод покров,
 И кажется, само искусство
 Освобождается от слов.

1940

Где играли тихие дельфины,
 Далеко от зелени земли,
 Нарываясь по ночам на мины,
 Молча умирают корабли.
 Суматошливый, большой и хрупкий,
 Человек не предаёт мечты, —
 Погибая, он спускает шлюпки,
 Сбрасывает сонные плоты.
 Синевой охваченный, он верит,
 Что земля любимая близка,
 Что ударится о светлый берег
 Легкая, как жалоба, доска.

Видя моря яростную смуту,
Средь ночи, измученный волной,
Он еще в последнюю минуту
Бредит берегом и тишиной.

1940

182

Рта и надбровья смутное строенье,
Все тени, что с младенчества легли, —
Есть в человеке мастера волненье
И тишина глубокая земли.
Когда земля в опасности, бесстрашней
К ней человек на выручку идет.
Не отличить бойца от жадной пашни,
И зерна гнева мечет пулемет.
Где скошенные падали на землю
И мертвые еще живых вели,
Под светлым деревом победа дремлет,
Как слепок с темной и большой земли.

1940

183

Города горят. У тех обид
Тонны бомб, чтоб истолочь гранит.
По дорогам, по мостам, в крови,
Проползают ночью муравьи,
И летит, летит, летит щепка —
Липы, ружья, руки, черепа.
От полей исходит трупный дух.
Псы не лают, и молчит петух,
Только говорит про мертвый кров
Рев больных, недоеных коров.
Умирает голубая ель
И олива розовых земель,
И родства не помнящий лишай
Научился говорить «прощай»,
И на ста языках человек,
Умирая, прокликает век.

.. Будет день, и прорастет она —
Из костей, как всходят семена, —
От сетей, где севера треска,
До Сахары праздного песка,
Всколосятся руки и штыки,
Зашагают мертвые полки,
Зашагают ноги без сапог,
Зашагают сапоги без ног,
Зашагают горя города,
Выплывут утопшие суда,
И на вахту встанет без часов
Тень товарища и облаков.
Вспомнит старое крапивы злость,
Соком ярости нальется гроздь,
Кровь проступит сквозь земли тоску,
Кинется к разбитому древку,
И труба поведает, крича,
Сны затравленного трубача.

1940

Москва

184. ВОЗЛЕ ФОНТЕНБЛО

Обрывки проводов. Не позвонит никто.
Как человек, подмигивает мне пальто.
Хозяева ушли. Еще стоит еда.
Еще в саду раздавленная резеда.
Мы едем час, другой. Ни жизни, ни жилья.
Убитый будто спит. Смеется клочок белья.
Размолот камень, и расщеплен грустный бук.
Леса без птиц, и нимфа дикая без рук.
А в мастерской, среди красок, кружев и колец,
Гранатой замахнулся на луну мертвец,
И синевой припудрено его лицо.
Как трудно вырастить простое деревцо!
Опять развалины — до одури, до сна.
Невыносимая чужая тишина.
Скажи, неужто был обыкновенный день,
Когда над детворой еще цвела сирень?

1940

В лесу деревьев корни сплетены,
 Им снятся те же медленные сны,
 Они поют в одном согласном хоре,
 Зеленый сон, земли живое море.
 Но и в лесу забыть я не могу:
 Чужой реки на мутном берегу,
 Один как перст, непримирим и страстен,
 С ветрами говорит высокий яшень.
 На небе четок каждый редкий лист.
 Как, одиночество, твой голос чист!

1940

Был бомбой дом как бы шутя расколот.
 Убитых выносили до зари.
 И ветер подымал убогий полог,
 Случайно уцелевший на двери.
 К начальным снам вернулись мебель, утварь.
 Неузнаваемый, рождая страх,
 При свете дня торжественно и смутно
 Глядел на нас весь этот праздный прах.
 Был мертвый человек, стекла осколки,
 Зола, обломки бронзы, чугуна.
 Вдруг мы увидели на узкой полке
 Стакан и в нем еще глоток вина. . .
 Не говори о крепости порфира.
 Что уцелеет, если не трава,
 Когда идут столетия на выруб
 И падают, как ласточки, слова?

1940

187. У ПРИЕМНИКА

Над крышами Парижа весна не зашумит,
 И жемчуг не нанижет кудрявая Мими.
 Срежь темной ночи слышишь (а ночь давно
 мертва),
 Как умирают мыши и как растет трава.

И равнодушно диктор, не рад и не сердит,
На десяти языках о смерти говорит:
Как тонут тонны боли, как выхолот народ,
И трупы — это только торговый оборот.
Но вдруг, как моря склянки, для мира и для нас
Кремлевские куранты вызванивают час.
Ты, может, из театра сейчас идешь домой...
И как мне непонятно, что этот город — мой,
Что над часами звезды, что я еще живой,
Что даже черный воздух становится Москвой!
Часы всё ближе, ближе, они томят меня.
Над крышами Парижа ни звуков, ни огня.

1940

188—195. П А Р И Ж, 1940

1

Умереть и то казалось легче.
Был здесь каждый камень мил и дорог.
Вывозили пушки. Жгли запасы нефти.
Падал черный дождь на черный город.
Женщина сказала пехотинцу
(Слезы черные из глаз катились):
«Погоди, любимый, мы простимся», —
И глаза его остановились.
Я увидел этот взгляд унылый.
Было в городе черно и пусто.
Вместе с пехотинцем уходило
Темное, как человек, искусство.

2

Не для того писал Бальзак.
Чужих солдат чугунный шаг.
Ночь навалилась, горяча.
Бензин и конская моча.
Не для того — камням молюсь —
Упал на камни Делеклюз.

Не для того тот город рос,
Не для того те годы гроз,
Цветов и звуков естество, —
Не для того, не для того!
Лежит расстрелянный без пуль.
На голой улице патруль.
Так люди предали слова,
Траву так предала трава, —
Предать себя, предать других.
А город пуст, и город тих,
И тяжелее чугуна
Угодливая тишина.
По городу они идут,
И в городе они живут,
Они про город говорят,
Они над городом летят,
Чтоб ночью город не уснул,
Моторов точен грозный гул.
На них глядят исподтишка,
И задыхается тоска.
Глаза закрой и промолчи, —
Идут чужие трубачи,
Чужая медь, чужая спесь.
Не для того я вырос здесь!

3

Глаза погасли, и холод губ,
Огромный город, не город — труп,
Где люди жили, растет трава,
Она приснилась и не жива.
Был этот город густым, как лес,
Простым, как горе, и он исчез.
Дома остались. Но никого.
Не дрогнут ставни. Забудь его!
Ты не забудешь, но ты забудь,
Как руки улиц легли на грудь,
Как стала Сена, пожрав мосты,
Рекой забвенья и немоты.

Упали окон вековые веки.
 От суеты земной отрешены,
 Гуляли церемонные калеки,
 И на луну глядели горбуны.
 Старухи, вытянув паучьи спицы,
 Прохладный саван бережно плели.
 Коты кричали. Умирали птицы.
 И памятники по дорогам шли.
 Уснув в ту ночь, мы утром не проснулись.
 Был сер и нежен города скелет.
 Мы узнавали все суставы улиц,
 Все перекрестки юношеских лет.
 Часы не били. Стали звезды ближе.
 Пустынен, дик, уму непостижим,
 В забытом всеми, брошенном Париже
 Уж цепенел необозримый Рим.

Номера домов, имена улиц,
 Город мертвых пчел, брошенный улей.
 Старухи молчат, в мусоре роясь.
 Не придут сюда ни сон, ни поезд,
 Не придут сюда от живых письма,
 Не всхлипнет дитя, не грянет выстрел.
 Люди не придут. Умереть поздно.
 В городе живут мрамор и бронза.
 Нимфа слез и рек — тишина, сжался! ---
 Ломает в тоске мертвые пальцы.
 Маршалы, кляня века победу,
 На мертвых конях едут и едут.
 Мертвый голубок — что ему снится? —
 Как зерно, клюет глаза провидца.
 А город погиб. Он жил когда-то,
 Он бьется в груди забытых статуй.

Уходят улицы, узлы, базары,
 Танцоры, костыли и сталевары,

Уходят канарейки и матрацы,
Дома кричат: «Мы не хотим остаться»,
А на соборе корчатся уродцы, —
Уходит жизнь, она не обернется.
Они идут под бомбы и под пули,
Лунатики, они давно уснули,
Они идут, они еще живые,
Но перед ними те же часовые,
И тот же сон, и та же несвобода,
И в беге нет ни цели, ни исхода:
Уйти нельзя, нельзя мечтать о чуде,
И всё ж они идут, не камни — люди.

7

Над Парижем грусть. Вечер долгий.
Улицу зовут «Ищу полдень».
Кругом никого. Свет не светит.
Полдень далеко, теперь вечер.
На гербе корабль. Черна гавань.
Его трюм — гроба, парус — саван.
Не сказать «прости», не заплакать.
Капитан свистит. Поднят якорь.
Девушка идет, она ищет,
Где ее любовь, где кладбище.
Не кричат дрозды. Молчит память.
Идут, как слепцы, ищут камень.
Каменщик молчит, не ответит,
Он один в ночи ищет ветер.
Иди, не говори, путь тот долгий, —
Это весь Париж ищет полдень.

8

Как дерево в большие холода,
Ольха иль вяз, когда реки вода,
Оцепенев, молчит, и ходит вьюга,
Как дерево обманутого юга,
Что, к майскому готовясь торжеству,
Придумывает сквозь снега листву,

Зовет малиновок и в смертной муке
Изябшие заламывает руки, —
Ты в эту зиму с ночью говоришь,
Расщепленный, как старый вяз, Париж.

1940

196

Есть в хаосе самом высокий строй,
Тот замысел, что кажется игрой,
И, может быть, начертит астроном
Орбиту сердца, тронутого сном.
Велик и дивен океана плач.
У инея учился первый ткач.
Сродни приливам и корням близка
Обыкновенной женщины тоска.
И есть закон для смертоносных бурь
И для горшечника, кладущего глазурь, —
То ход страстей, и зря зовут судьбой
Отлеты птиц иль орудийный бой.
Художнику свобода не дана,
Он слышит, что бормочет тишина,
И, как лунатик, выйдя в темноту,
Он осязает эту темноту.
Не переставить звуки и цвета,
Не изменить кленового листа,
И дружбы горяча тяжелая смола,
И вечен след от легкого весла.

(1941)

197

Всё за беспамятство отдать готов,
Но не забыть ни звуков, ни цветов,
Ни сверстников, ни смутного ребячества
(Его другие перепишут начисто).
Вкруг сердцевины кольца выросли.
Друзей всё меньше: вымерли, прошли.

Сгребают сено девушки веселые,
И запах сена веселит, как молодость.
Всё те же лица, клятвы и слова:
Так пахнет только мертвая трава.

(1941)

198

Та заморская чужая сырость,
Желтизна туманов заводских.
Он по щучьему веленью вырос
И с рожденья походил на стих.
До чего прекрасен он и страшен!
Двух столетий слава и порфир,
И чахоточных чиновниц кашель,
Что, как песня, обошел весь мир.
Пробирались по земле промерзлой,
Не видали в темноте ни зги,
И стучали азбукою Морзе
Первые путиловцев шаги.
Город, вытканый из длинных линий.
Кони вздыблены, им не помочь.
Их до времени состарил иней,
И поводья подхватила ночь.

Январь 1941

199

Замерзшее окно как глаз слепца.
Я не забуду твоего лица.
А на окне — зеленый стебелек,
Всё, что от времени я уберег:
В краю, где вьется легкая лоза,
Зеленые туманные глаза.

Январь 1941

Крылья выдумав, ушел под землю,
 Предал сон и погасил глаза.
 И подбитая как будто дремлет
 Сизо-голубая стрекоза.
 Света не увидеть Персефоне,
 Голоса сирены не унять,
 К солнцу ломкие, как лед, ладони
 В золотое утро не поднять.
 За какой хлопчешь ты решеткой,
 Что еще придумала спеша,
 Бедная больная сумасбродка,
 Хлопотунья вечная душа?

Январь 1941

Бродят Рахили, Хаимы, Лии,
 Как прокаженные, полуживые,
 Камни их травят, слепы и глухи,
 Бродят, разувшись пред смертью, старухи,
 Бродят младенцы, разбужены ночью,
 Гонит их сон, земля их не хочет.
 Горе, открылась старая рана,
 Мать мою звали по имени — Хана.

Январь 1941

Белесая, как марля, мгла
 Скрывает мира очертанье,
 И не растрогает стекла
 Мое убогое дыханье.
 Изобразил на нем мороз,
 Чтоб сердцу биться не хотелось,
 Корзины вымышленных роз
 И пальм былых окаменелость,

Язык безжизненной зимы
И тайны памяти лоскутной.
Так перед смертью видим мы
Знакомый мир, большой и смутный.

Январь 1941

203

Не раз в те грозные, больные годы,
Под шум войны, средь нищенства природы,
Я перечитывал стихи Ронсара,
И волшебство полуденного дара,
Игра любви, печали легкой тайна,
Слова, рожденные как бы случайно,
Законы строгие спокойной речи
Пугали мир ущерба и увечий.
Как это просто всё! Как недоступно!
Любимая, дышать и то преступно. . .

Январь 1941

204. ЛОНДОН

Не туманами, что ткали Парки,
И не парами в зеленом парке,
Не длиной, — а он длиннее сплина, —
Не трезубцем моря властелина, —
Город тот мне горьким горем дорог,
По ночам я вижу черный город,
Горе там сосчитано на тонны,
В нежной сырости сирены стонут,
Падают дома, и день печален
Средь чужих уродливых развалин.
Но живые из щелей выходят,
Говорят, встречаясь, о погоде,
Убирают с тротуаров мусор,
Покупают зеркальце и бусы.
Ткут и ткут свои туманы Парки.
Зелены загадочные парки.
И еще длинней печали версты,
И людей еще темней упорство.

Январь 1941
Москва

Мяли танки теплые хлеба,
 И горела, как свеча, изба.
 Шли деревни. Не забыть вовек
 Визга умирающих телег,
 Как лежала девочка без ног,
 Как не стало на земле дорог.
 Но тогда на жадного врага
 Ополчились нивы и луга,
 Разъярился даже горицвет,
 Дерево и то стреляло вслед,
 Ночью партизанили кусты
 И взлетали, как щепы, мосты,
 Шли с погоста деды и отцы,
 Пули подавали мертвецы,
 И, косматые, как облака,
 Врукопашную пошли века.
 Шли солдаты бить и перебить,
 Как ходили прежде молотить,
 Смерть предстала им не в высоте,
 А в крестьянской древней простоте,
 Та, что пригорюнилась, как мать,
 Та, которой нам не миновать.
 Затвердело сердце у земли,
 А солдаты шли, и шли, и шли,
 Шла Урала темная руда,
 Шли, гремя, железные стада,
 Шел Смоленщины дремучий бор,
 Шел глухой, зазубренный топор,
 Шли пустые, тусклые поля,
 Шла большая русская земля.

1941 или 1942

Привели и застрелили у Днепра.
 Брат был далеко. Не слышала сестра.
 А в Сибири, где уж выпал первый снег,
 На заре проснулся бледный человек

И сказал: «Железо у меня в груди.
Киев, Киев, если можешь, погляди! . . .»
«Киев, Киев! — повторяли провода. —
Вызывает горе, говорит беда».
«Киев, Киев!» — надрывались журавли.
И на запад эшелоны молча шли.
И от лютой человеческой тоски
Задыхались крепкие сибиряки. . .

1941 или 1942

207. УБЕЙ!

Как кровь в виске твоём стучит,
Как год в крови, как счёт обид,
Как горем пьян и без вина,
И как большая тишина,
Что после пуль и после мин,
И в сто пудов, на миг один,
Как эта жизнь — не ешь, не пей
И не дыши — одно: убей!
За сжатый рот твоей жены,
За то, что годы сожжены,
За то, что нет ни сна, ни стен,
За плач детей, за крик сирен,
За то, что даже образа
Свои проплакали глаза,
За горе оскорбленных пчел,
За то, что он к тебе пришел,
За то, что ты — не ешь, не пей,
Как кровь в виске — одно: убей!

1942

208

Наступали. А мороз был крепкий.
Пахло гарью. Дым стоял тяжелый.
И вдали горели, будто щепки,
Старые насиженные села.
Догорай, что было сердцу любо!
Хмурились и шли еще поспешней.

А от прошлого остались трубы
Да на голом дереве скворешня.
Над золою женщина сидела, —
Здесь был дом ее, родной и милый,
Здесь она любила и жалела
И на фронт отсюда проводила.
Теплый пепел. Средь пустого снега
Что она еще припоминала?
И какое счастье напоследок
Руки смутные отогревало?
И хотелось бить и сквернословить,
Перебить — от жалости и злобы.
А вдали как будто теплой кровью
Обливались мертвые сугробы.

1942

209. НЕНАВИСТЬ

Ненависть — в тусклый январский полдень
Лед и сгусток замерзшего солнца.
Лед. Под ним клокочет река.
Рот забит, говорит рука.
Нет теперь ни крыльца, ни дыма,
Ни тепла от плеча любимой,
Ни калитки, ни лая собак,
Ни тоски. Только лед и враг.
Ненависть — сердца последний холод.
Всё отошло, ушло, расколосось.
Пуля от сердца сердце найдет,
Чуть задымится розовый лед.

1942

210

Знакомые дома не те.
Пустыня затемненных улиц.
Не говори о темноте:
Мы не уснули, мы проснулись.
Избыток света в поздний час
И холод нового познания,

Как будто третий, вещий глаз
Глядит на рухнувшие зданья.
Нет, ненависть не слепота —
Мы видим мир, и сердцу внове
Земли родимой красота
Средь горя, мусора и крови.

1942

211

Они накинулись, неистовы,
Могильным холодом грозя,
Но есть такое слово «выстоять»,
Когда и выстоять нельзя,
И есть душа — она всё вытерпит,
И есть земля — она одна,
Большая, добрая, сердитая,
Как кровь, тепла и солона.

1942

212

Настанет день, скажи — неумолимо,
Когда, закончив ратные труды,
По улицам сраженного Берлина
Пройдут бойцов суровые ряды.
От злобы побежденных или лести
Своим значением ограждены,
Они ни шуткой, ни любимой песней
Не разрядят нависшей тишины.
Взглянув на эти улицы чужие,
На мишуру фасадов и оград,
Один припомнит омраченный Киев,
Другой — неукротимый Ленинград.
Нет, не забыть того, что было раньше.
И сердце скажет каждому: молчи!
Опустит руки строгий барабанщик,
И меди не коснутся трубачи.

Как тихо будет в их разбойном мире!
И только, прошлой кровью тяжелы,
Не перестанут каменных валькирий
Когтить кривые прусские орлы.

1942

213. МОРЯКИ ТУЛОНА

Скажи мне, приятель, мы склянки прослушали?
Мы вахту проспали? Приятель, проснись!

А рыбы глядят, как всегда равнодушные,
И рыбы не знают, что значит «проснись».

Я помню в Тулоне высокое зарево,
Как нас захлестнула большая волна.
Скажи мне скорее: где наши товарищи?
Я слезы глотаю, а соль солоня.

Куда мы ушли? И хватило ли топлива?
Чужие солдаты на борт не взошли.
Любимая Франция, нами потоплены
Большие, живые твои корабли.

В Бретани — старушка. Что с матерью станется?
Глаза дорогие проплачет она.
Скажи мне, где наша любимая Франция?
Какая ее захлестнула волна?

Но вот средь густого тумана, как в саване,
Со дна поднимаются все корабли.

Идем мы, приятель, в последнее плаванье,
Идем за щепоткой французской земли.
Вот пена взлетает веселыми хлопьями,
Огонь орудийный врезается в ночь,
И, голос услышав эскадры потопленной,
Чужие солдаты кидаются прочь.
А девушки нам улыбаются с берега,
И сколько цветов, не смогу я сказать.

Ты знаешь, приятель, мне как-то не верится,
Что я расцелую родимую мать.
Скажу ей: три года я плавал на «Страсбурге»,
Там много осталось хороших ребят.

А рыбы вздыхают кровавыми жабрами,
И рыбы на нас равнодушно глядят.

1942

214

Большая черная звезда.
Остановились поезда.
Остановились корабли.
Травой дороги поросли.
Молчат бульвары и сады.
Молчат унылые дрозды.
Молчит Марго, бела, как мел,
Молчит Гюго, он онемел.
Не бьют часы. Застыл фонтан.
Стоит, не двинется туман.

Но вот опять вошла зима
В пустые темные дома.
Париж измучен, ночь не спит,
В бреду он на восток глядит:
Что значат беглые огни?
Куда опять идут они?
Ты можешь жить? Я не живу.
Молчи, они идут в Москву,
Они идут за годом год,
Они берут за дотом дот,
Ты не подымешь головы —
Они уж близко от Москвы.
Прощай, Париж, прощай навек!
Далекий дым и белый снег.

Его ты белым не зови:
Он весь в огне, он весь в крови.

Гляди — они бегут назад,
Гляди — они в снегу лежат.

Пылает море серых крыш,
И на заре горит Париж,
Как будто холод тех могил
Его согрел и оживил.
Я вижу свет и снег в крови.
Я буду жить. И ты живи.

1942

215

Так ждать, чтоб даже память вымерла,
Чтоб стал непроходимым день,
Чтоб умирать при милом имени
И догонять чужую тень,
Чтоб не довериться и зеркалу,
Чтоб от подушки утаить,
Чтоб свет своей любви и верности
Зарыть, запрятать, затемнить,
Чтоб пальцы невзначай не хрустнули,
Чтоб вздох и тот зажать в руке.
Так ждать, чтоб, мертвый, он почувствовал
Горячий ветер на щеке.

1942

216

Он пригорюнится, притулится,
Свернет, закурит и вздохнет,
Что есть одна такая улица,
А улицы не назовет.
Врага он встретит у обочины.
А вдруг откажет пулемет,
Он скажет: «Жить кому не хочется» —
И сам с гранатой поползет.

1942

Когда закончен бой, присев на камень,
 В грязи, в поту, измученный солдат
 Смотрит еще незрячими глазами
 И другу отвечает невпопад.
 Он, может быть, и закурить попросит,
 Но не закурит, а махнет рукой.
 Какие жал он трудные колосья,
 И где ему почудился покой?
 Он с недоверьем оглядит избушки
 Давно ему знакомого села,
 И, невзначай рукой щеки коснувшись,
 Он вздрогнет от внезапного тепла.

1942

На небо зенитки смотрят зорко,
 А весна — весной, грачи — грачами.
 Девушка в линялой гимнастерке
 С яркими зелеными зрачками.
 Покричала, поворчала пушка
 И замолкла. Тишина какая!
 Только долгий счет ведет кукушка
 И, сбиваясь, снова начинается.
 Девушка про счастье загадала,
 Сколько жить ей — много или мало.
 И зенитки на небо смотрели.
 А кукушка просто куковала,
 И деревья просто зеленели.

1942

С ручной гранатой иль у пушки,
 Иль в диком конников строю
 Он слышит, как услышал Пушкин:
 «Есть упоение в бою».

Он знает всё. Спокойно целясь,
Он к смерти запросто готов.
Но для него всё та же прелесть
В звучании далеких слов,
И, смутным гулом русской речи
Как бы наполнен до краев,
Он смерти кинется навстречу
И не почувствует ее.

1942

220

Когда враждебным небо стало,
Нарисовали мы дома,
Прикрыли зеленью каналы
И даже смерть свели с ума.
Кто вырастил густые рощи,
Кто город весь перевернул,
Кто превратил пустую площадь
В какой-то сказочный аул?
Не так ли ночью перед боем
Полуразбуженный солдат
Преображает всё бывшее
В один необозримый сад,
Чтоб не было того, что было,
Чтоб за минуту до конца
Зеленая листва прикрыла
Черты любимого лица.

1942

221

Зайдешь к танкистам, и в чужой землянке
Сосед про то про се поговорит,
А после вспомнит о подбитом танке
И на тебя украдкой поглядит.
В его глазах тогда не отразятся
Огни повисших вдалеке ракет,

Но ты увидишь боевого братства
Рассеянный и вдохновенный свет.
Ты всё поймешь — тот взгляд слова заменит,
И, вглядываясь в голубую тьму,
Ты улыбнешься незнакомой тени,
Как ты не улыбался никому.

1942

222

Был лютый мороз. Молодые солдаты
Любимого друга по полю несли.
Молчали. И долго стучали лопаты
В упрямое сердце промерзшей земли.
Скажи мне, товарищ. . . Словами не скажешь,
А были слова — потерял на войне.
Ружейный салют был печален и важен
В холодной, в суровой, в пустой тишине.
Могилу прикрыли. А ночью — в атаку.
Боялись они оглянуться назад.
Но кто там шагает? Друзьями оплакан,
Своих земляков догоняет солдат.
Он вместе с другими бросает гранаты,
А если залягут, он крикнет «ура»,
И место ему оставляют солдаты,
Усевшись вокруг золотого костра.
Его не увидеть. Повестку о смерти
Давно получили в далеком краю.
Но разве уступит солдатское сердце
И дружба, рожденная в трудном бою?

1942

223

Бывала в доме, где лежал усопший,
Такая тишина, что выли псы,
Испуганная, в мыле билась лошадь
И слышно было, как идут часы.

178

Там на кровати, чересчур громоздкой,
Торжественно покойник почивал,
И горе молча отмечалось воском
Да слепотой завешенных зеркал.

В пригожий день, среди кустов душистых,
Когда бы человеку жить и жить,
Я увидал убитого связиста, —
Он всё еще сжимал стальную нить,
В глазах была привычная забота,
Как будто, мертвый, опоздать боясь,
Он торопливо спрашивал кого-то,
Налажена ли прерванная связь.
Не знали мы, откуда друг наш смелый,
Кто ждет его в далеком городке,
Но жизнь его дышала и гудела,
Как провод в холодеющей руке.
Быть может, здесь, в самозабвенье сердца,
В солдатской незагаданной судьбе,
Таится то высокое бессмертье,
Которое мерещилось тебе?

1942

224

Я помню — был Париж. Краснели розы
Под газом в затуманенном окне,
Как рана. Нимфа мраморная мерзла.
Я шел и смутно думал о войне.
Мой век был шумным, люди быстро гасли.
А выпадала тихая весна —
Она пугала видимостью счастья,
Как на войне пугает тишина.
И снова бой. И снова пулеметчик
Лежит у погоревшего жилья.
Быть может, это всё еще хлопочет
Ограбленная молодость моя?
Я верен темной и сухой обиде,
Ее не позабыть мне никогда,

Но я хочу, чтоб юноша увидел
Простые и счастливые года.
Победа — не гранит, не мрамор светлый, —
В грязи, в крови, озябшая сестра,
Она придет и сядет незаметно
У бледного погасшего костра.

1942

225

По рытвинам, среди мусора и пепла,
Корова тащит лес. Она ослепла.
В ее глазах вся наша темнота.
Переменились формы и цвета.
Пойми, мне жаль не слов — слова заменят,
Мне жаль былых высоких заблуждений.
Бывает свет сухих и трезвых дней,
С ним надо жить, он темноты темней.

Лето 1943

226

Был дом обжит, надышан мной,
Моей тоской и тишиной.
Они пришли, и я умру.
Они сожгли мою нору.
Кричал косою, что он один,
Что он умрет, что есть Берлин.
Кому скажу, как я одна,
Как я темна и холодна?
Моя любовь, моя зола,
Согрей меня! Я здесь жила.

Между октябрем и декабрем 1943

В росчерк спички он, глумясь, вложил
 Всю тоску своих звериных сил.
 Темный, он хотел поджечь века.
 Жадная обуглена рука.
 Он сгорел в осенней тишине
 На холодном голубом огне.

Между октябрем и декабрем 1943

Всё взорвали. Но гляди — среди щебня,
 Среди развалин, роз земли волшебней,
 Розовая, в серой преисподней,
 Роза стали зацвела сегодня.
 И опять идет в цехах работа.
 И опять тебя томит забота.
 Что ж, родная, будем жить сначала, —
 Сердцу, видно, и такого мало.

Между октябрем и декабрем 1943

229. В БЕЛОРУССИИ

Мы молчали. Путь на запад шел
 Мимо мертвых догоравших сел,
 И лежала голая земля,
 Головнями тихо шевеля.
 Я запомню, как последний дар,
 Этот сердце леденящий жар,
 Эту ночь, похожую на день,
 И среди пепла брошенную тень.
 Запах гари едок, как беда,
 Не отвяжется он никогда,
 Он со мной, как пепел деревень,
 Как белесая, большая тень,
 Как огрызок вымершей луны
 Среди чужой и новой тишины.

Между октябрем и декабрем 1943

Было в жизни мало резеды,
 Много крови, пепла и беды.
 Я не жалею на свой удел,
 Я бы только увидеть хотел
 День один, обыкновенный день,
 Чтобы дерева густая тень
 Ничего не значила, темна,
 Кроме лета, тишины и сна.

Между октябрем и декабрем 1943

Был час один — душа ослабла.
 Я видел Глухова сады
 И срубленных врагами яблонь
 Еще незрелые плоды.
 Дрожали листья. Было пусто.
 Мы постояли и ушли.
 Прости, великое искусство,
 Мы и тебя не сберегли.

Между октябрем и декабрем 1943

Белеют мазанки. Хотели сжечь их,
 Но не успели. Вечер. Дети. Смех.
 Был бой за хутор, и один разведчик
 Остался на снегу. Вдали от всех
 Он как бы спит. Не бьется больше сердце.
 Он долго шел — он к тем огням спешил.
 И если не дано уйти от смерти —
 Он, умирая, смерть опередил.

Между октябрем и декабрем 1943

Запомни этот ров. Ты всё узнал:
 И города сожженного оскал,
 И черный рот убитого младенца,
 И ржавое от крови полотенце.
 Молчи — словами не смягчить беды.
 Ты хочешь пить, но не ищи воды.
 Тебе даны не воск, не мрамор. Помни —
 Ты в этом мире всех бродяг бездомней.
 Не обольстись цветком: и он в крови.
 Ты видел всё. Запомни и живи.

Между октябрем и декабрем 1943

Было в слове «русский» столько доброты,
 Столько русой, грустной, чудной простоты.
 Снег слезами обливался. Помним мы
 Все проталины отходчивой зимы.
 А теперь и у доверчивых берез,
 Если сердце есть, ты не отыщешь слез.
 Славы и беды холодная ладонь
 В эту зиму обжигает, как огонь.

Между октябрем и декабрем 1943

Скребет себя на пепле Иов,
 И дым глаза больные выел,
 А что здесь было — нет его.
 И никого, и ничего.
 Зола густая тихо стынет.
 Так вот она, его пустыня.
 Он отнял не одно жилье —
 Он сердце обобрал мое.
 Сквозь эту ночь мне не пробраться.
 Зачем я говорил про братство?
 Зачем в горах звенел рожок?
 Зачем я голос твой берег?

Постой. Подумай. Мы не знали,
В какое счастье мы играли.
Нет ничего. Одна зола
По-человечески тепла.

1943

236. ЕВРОПА

Летучая звезда и моря ропот,
Вся в пене, розовая, как заря,
Горячая, как сгусток янтаря,
Среди олив и дикого укропа,
Вся в пепле, роза поздняя раскопок,
Моя любовь, моя Европа!
Я исходил петлистые дороги
С той пылью, что старее серебра,
Я знаю теплые твои берлоги,
Твои сиреневые вечера
И глину под ладонью гончара.
Надышанная светлая обитель,
Больших веков душистый сеновал,
Горшечник твой, как некогда Пракситель,
Брал горсть земли и жизнь в нее вдувал.
Был в Лувре небольшой, невзрачный зал.
Безрукая доверчиво, по-женски
Напоминала нам о красоте.
И плакал перед нею Глеб Успенский,
А Гейне знал, что все слова не те.
В Париже, среди машин, по-деревенски
Шли козы. И свирель впивалась в день.
Был воздух зацелованной святыней,
И мастерицы простодушной тень
По скверу проходила, как богиня.
Твои черты я узнаю в пустыне,
Горячий камень дивного гнезда,
Средь серы, среди огня, в ночи потопа,
Летучая зеленая звезда,
Моя звезда, моя Европа!

1943

Были липы, люди, купола.
 Мусор. Битое стекло. Зола.
 Но смотри — среди разбитых плит
 Уж младенец выполз и сидит,
 И сжимает слабая рука
 Горсть сырого теплого песка.
 Что он вылепит? Какие сны?
 А года чернеют, сожжены . .
 Вот и вечер. Нам идти пора.
 Грустная и страстная игра.

1943

Гляжу на снег, а в голове одно:
 Ведь это — день, а до чего темно!
 И солнце зимнее, оно на час,
 Торопится — глядишь, и день погас.
 Под деревом солдат. Он шел с утра.
 Зачем он здесь? Ему идти пора.
 Он не уйдет. Прошли давно войска,
 И день прошел. Но не пройдет тоска.

1943

Есть время камни собирать,
 И время есть, чтоб их кидать.
 Я изучил все времена,
 Я говорил: на то война,
 Я камни на себе таскал,
 Я их от сердца отрывал,
 И стали дни еще темней
 От всех раскиданных камней.
 Зачем же ты киваешь мне
 Над той воронкой в стороне,
 Не резонер и не пророк,
 Простой дурашливый цветок?

1943

Слов мы боимся, и всё же прощай.
 Если судьба нас сведет невзначай,
 Может, не сразу узнаю я, кто
 Серый прохожий в дорожном пальто,
 Сердце подскажет, что ты — это тот,
 Сорок второй и единственный год.
 Ржев догорал. Мы стояли с тобой,
 Смерть примеряли. И начался бой. . .
 Странно устроен любой человек:
 Страстно клянется, что любит навек,
 И забывает, когда и кому. . .
 Но не изменит и он одному:
 Слову скупому, горячей руке,
 Ржевскому лесу и ржевской тоске.

1944

Ракеты салютов. Чем небо черней,
 Тем больше в них страсти растерзанных
 дней.
 Летят и сгорают. А небо черно.
 И если себя пережить не дано,
 То ты на минуту чужие пути,
 Как эта ракета, собой освети.

1944

Мир велик, а перед самой смертью
 Остается только эта горстка,
 Теплая и темная, как сердце,
 Хоть ее и называли черствой,
 Горсть земли, похожей на другую, —
 Сколько в ней любви и суеверья!
 О такой и на небе тоскуют,
 И в такую до могилы верят.

За такую, что дороже рая,
За лужайку, дерево, болотце,
Ничего не видя, умирают
В час, когда и птица не проснется.

1944

243. БАБИЙ ЯР

К чему слова и что перо,
Когда на сердце этот камень,
Когда, как каторжник ядро,
Я волочу чужую память?
Я жил когда-то в городах,
И были мне живые милы,
Теперь на тусклых пустырях
Я должен разрывать могилы,
Теперь мне каждый яр знаком,
И каждый яр теперь мне дом.
Я этой женщины любимой
Когда-то руки целовал,
Хотя, когда я был с живыми,
Я этой женщины не знал.
Мое дитя! Мои румяна!
Моя несметная родня!
Я слышу, как из каждой ямы
Вы окликаете меня.
Мы понатужимся и встанем,
Костями застучим — туда,
Где дышат хлебом и духами
Еще живые города.
Задуйте свет. Спустите флаги.
Мы к вам пришли. Не мы — овраги.

1944

244

В это гетто люди не придут.
Люди были где-то. Ямы тут.
Где-то и теперь несутся дни.
Ты не жди ответа — мы одни,

Потому что у тебя беда,
Потому что на тебе звезда,
Потому что твой отец другой,
Потому что у других покой.

1944

245

За то, что зной полуденный Эсфири,
Как горечь померанца, как мечту,
Мы сохранили и в холодном мире,
Где птицы застывают на лету,
За то, что нами говорит тревога,
За то, что с нами водится луна,
За то, что есть петлистая дорога
И что слеза не в меру солона,
Что наших девушек отличен волос,
Не те глаза и выговор не тот, —
Нас больше нет. Остался только холод.
Трава кусается, и камень жжет.

1944

246

В окопе или в маленькой землянке,
Когда копилка тихо догорит,
Товарищ вспомнит о подбитом танке
И на тебя украдкой поглядит.
О, в тех глазах нет места укоризне,
И нет в них даже отсвета побед, —
Начало в них большой и новой жизни,
Самозабвения горячий свет.
И есть в войне такое утверждение,
Что, вглядываясь в голубую тьму,
Ты улыбнешься одинокой тени,
Как ты не улыбался никому.

(1945)

247. РОССИЯ

Когда в пургу ворвутся кони,
Она благословит бойца,
Ее горячие ладони
Коснутся смутного лица.
Она для сердца больше значит,
Чем все обеты, все пути.
И если дерево — на мачты,
И если камень — улети,
И если не пройти — тараном,
И если смерть — переступи
И стой один седым курганом
В пустой заснеженной степи.
Ты видишь, выйдя из окопа, —
Она, оснащена тобой,
Пересекает ночь Европы.
И сквозь тяжелый, долгий бой,
Сквозь зарева туман кровавый
Ты видишь под большой луной
Броню тяжелую державы
И хлопья пены кружевной.

(1945)

248

Россия — в слове том не только славы
Хранители, великие года, —
В нем строгая приподнятость державы
И теплота родимого гнезда.
И что ты вспомнишь, повторив то слово:
Адмиралтейство и гранит реки
Иль накануне утра рокового
Стыдливый жар девической щеки?
Но в каждом холмике и в каждой елке
Черты того же милого лица,
И в смехе простодушной комсомолки,
И в тихом скрипе ветхого крыльца.

(1945)

Прости — одна есть рифма к слову «смерть»:
 Осточертевшая, как будто в стужу
 Могилу роют, мерзлая земля
 Упорствует, и твердь не поддается.
 Ты рифмы не подыщешь к слову «жизнь»,
 Ни отклика, ни даже отголоска.
 А сколько слез, признаний, сколько просьб!
 Все говорят, никто не отвечает.

(1945)

Я не завидую ни долголетью дуба,
 Ни журавлям, ни кораблям, ни человеку,
 Чьи ослепительные зубы
 Сверкают на экранах
 Будущего века.
 В музеях плачут мраморные боги.
 А люди плакать разучились. Всем
 Немного совестно и как-то странно.
 Завидую я только тем,
 Кто умер на пороге
 Земли обетованной.

(1945)

Светлое поле. Вечер был светел.
 В поле лежали мертвые дети.
 Ветер метался, сердца бездомней.
 Ветер улегся, ветер не помнит.
 Камни забыли, как их дробили,
 Камни не знают, кто здесь в могиле.
 Нет, не бессмертье, не мрамор, не камень,
 Дай мне другое — горькую память,
 Чтоб, умирая, снова увидеть
 Светлое поле в черной обиде!

1945

252. СТАТУЯ АФРОДИТЫ

Он много знал, во имя бога
Он суетных богов ломал,
И всё же он душою дрогнул,
Когда тот мрамор увидал.
Не знаю, девкой деревенской
Иль домыслом она была
И чья догадка совершенство
Из глыбы камня родила,
Но плакал, как дитя, апостол,
Что слишком поздно увидал,
Зачем он был на землю послан
И по какой земле ступал.
Давно тот след на камне стерся,
И падал снег, и таял снег.
Но вижу я — к тому же торсу
В тоске подходит человек,
И та же красота земная
Вдруг открывается ему,
И смутно слезы он роняет,
Не понимая почему.

1945

253

Была трава, как раб, распластана,
Сияла кроткая роса,
И кровлю променяла ласточка
На ласковые небеса,
И только ты, большое дерево,
Осталось на своем посту —
Солдат, которому доверили
Прикрыть собою высоту.
И были ветки в муке скрещены,
Когда огонь тебя подсек,
И умирало ты торжественно,
Как умирает человек.

1945

Когда я был молод, была уж война,
 Я жизнь свою прожил — и снова война.
 Я всё же запомнил из жизни той громкой
 Не музыку марша, не грозы, не бомбы,
 А где-то в рыбацком селенье глухом
 К скале прилепившийся маленький дом.
 В том доме матрос расставался с хозяйкой,
 И грустные руки метались, как чайки.
 И годы, и годы мерещатся мне
 Всё те же две тени на белой стене.

1945

Я смутно жил и неуверенно,
 И говорил я о другом,
 Но помню я большое дерево,
 Чернильное на голубом,
 И помню милую мне женщину, —
 Не знаю, мало ль было сил,
 Но суеверно и застенчиво
 Я руку взял и отпустил.
 И всё давным-давно потеряно,
 И даже нет следа обид,
 И только где-то то же дерево
 Еще по-прежнему стоит.

1945

Ты говоришь, что я замолк,
 И с ревностью, и с укоризной.
 Париж не лес, и я не волк,
 Но жизнь не вычеркнешь из жизни.
 А жил я там, где, сер и сед,
 Подобен каменному бору,
 И голубой и в пепле лет,
 Стоит, шумит великий город.

Там даже счастье нипочем,
От слова там легко и больно,
И там с шарманкой под окном
И плачет и смеется вольность.
Прости, что жил я в том лесу,
Что всё я пережил и выжил,
Что до могилы донесу
Большие сумерки Парижа.

1945

257

Чужое горе — оно как овод:
Ты отмахнешься, и сядет снова,
Захочешь выйти, а выйти поздно,
Оно — горячий и мокрый воздух,
И, как ни дышишь, всё так же душно,
Оно не слышит, оно — кликуша,
Оно приходит и ночью ноет,
А что с ним делать — оно чужое.

1945

258

Мне было многое знакомо
И стало сердцу дорогим,
Но не было на свете дома,
Который бы назвал своим.
И только в час глухой и злобный,
Когда горела вся земля,
Я дверь одну ревниво обнял,
Как будто эта дверь — моя.
И дым глаза мне ночью выел,
Но я не опустил руки,
Чтоб дети, не мои — чужие,
Играли утром у реки.

1945

Будет солнце в тот день, или дождь, или снег, —
 Тишина удивит, к ней придет человек.
 Тишиной начинается всё, как во сне,
 Человек возвращается вновь к тишине.
 О, победы последний салют! Не слова,
 Нам расскажут о счастье вода и трава.
 Не орудья отметят сражений конец,
 А биение крохотных птичьих сердец.
 Мы услышим, как тихо летит мотылек,
 Если ветер улегся и вечер далек.

1945

260—261. В ФЕВРАЛЕ 1945

1

День придет, и славок громкий хор
 Хорошо прославит птичий вздор,
 И, смеясь, наденет стрекоза
 Выходные яркие глаза.
 Будут снова небеса для птиц,
 А Медынь для звонких медуниц,
 Будут только те затемнены,
 У кого луна и без луны,
 Будут руки, чтобы обнимать,
 Будут губы, чтобы целовать,
 Даже ветер, почитав стихи,
 Заночует у своей ольхи.

2

Мне снился мир, и я не мог понять, —
 Он и во сне казался мне ошибкой:
 Был серый день, и на ребенка мать
 Глядела с неуверенной улыбкой,
 А дождь не знал, идти ему иль нет,
 Выглядывало солнце на минуту,
 И ветки плакали — за много лет,

И было в этом счастье столько смуты,
Что всех пугал и скрип, и смех, и шаг,
Застывшие не улетали птицы,
Притихло всё. А сердце билось так,
Что и во сне могло остановиться.

1945

262

За что он погиб? Он тебе не ответит.
А если услышишь, подумаешь — ветер.
За то, что здесь ярче густая трава,
За то, что ты плачешь и, значит, жива,
За то, что есть дерева грустного шелест,
За то, что есть смутная русская прелесть,
За то, что четыре угла у земли,
И сколько ни шли бы, куда бы ни шли,
Есть, может быть, звонче, нарядней, богаче,
Но нет вот такой, над которой ты плачешь.

1945

263. ЛЕНИНГРАД

Есть в Ленинграде, кроме неба и Невы,
Простора площадей, разросшейся ливны,
И кроме статуй, и мостов, и снов державы,
И кроме незакрывшейся, как рана, славы,
Которая проходит ночью по проспектам,
Почти незримая, из серебра и пепла, —
Есть в Ленинграде жесткие глаза и та,
Для пришлого загадочная, немота,
Тот горько сжатый рот, те обручи на сердце,
Что, может быть, одни спасли его от смерти.
И если ты — гранит, учись у глаз горячих:
Они сухи, сухи, когда и камни плачут.

1945

Когда она пришла в наш город,
 Мы растерялись. Столько ждать,
 Ловить душою каждый шорох
 И этих залпов не узнать.
 И было столько муки прежней,
 Ночей и дней такой клубок,
 Что даже крохотный подснежник
 В то утро расцвести не смог.
 И только — видел я — ребенок
 В ладоши хлопал и кричал,
 Как будто он, невинный, понял,
 Какую гостью увидал.

1945

265—267. 9 МАЯ 1945

1

О них когда-то горевал поэт:
 Они друг друга долго ожидали,
 А встретившись, друг друга не узнали
 На небесах, где горя больше нет.
 Но не в раю, на том земном просторе,
 Где шаг ступи — и горе, горе, горе,
 Я ждал ее, как можно ждать любя,
 Я знал ее, как можно знать себя,
 Я звал ее в крови, в грязи, в печали.
 И час настал — закончилась война.
 Я шел домой. Навстречу шла она.
 И мы друг друга не узнали.

2

Она была в линиялой гимнастерке,
 И ноги были до крови натерты.
 Она пришла и постучалась в дом.
 Открыла мать. Был стол накрыт к обеду.
 «Твой сын служил со мной в полку одном,
 И я пришла. Меня зовут Победа».

+ +
+

Умру - вы вспомните газеты шорох,
Проклятый год, который все же ^м ^{нам} дорог.

~~А~~ я хочу, чтоб Эренбург замолкший
Напомнил вам не только ^{Эрен} ^{бург} ~~бой~~ над Волгой,
Но и деревьев еле слышный шелест,
Зеленую таинственную прелесть.

Я с ними жил, ~~они мне были жемчужинами,~~ ~~и~~
~~они были милые, как танцующие.~~ ~~и~~

они не фон, не праздное убранство,
В них наша ~~страсть~~ ~~и~~ ~~наше~~ ~~постоянство~~.

2 ~~они~~ ~~дерево~~, ~~а~~ ~~оно~~ ~~было~~ ~~на~~ ~~страже~~,
все ~~испад~~ ~~слова~~, оно доскажет.

Был черный хлеб белее белых дней,
И слезы были соли солоней.
Все сто столиц кричали вдалеке,
В ладоши хлопали и танцевали.
И только в тихом русском городке
Две женщины, как мертвые, молчали.

3

Прошу не для себя, для тех,
Кто жил в крови, кто дольше всех
Не слышал ни любви, ни скрипок,
Ни роз не видел, ни зеркал,
Под кем и пол в сенях не скрипнул,
Кого и сон не окликал, —
Прошу для тех — и цвет, и щебет,
Чтоб было звонко и пестро,
Чтоб, умирая, день, как лебедь,
Ронял из горла серсбро, —
Прошу до слез, до безрассудства,
Дойдя, войдя и перейдя,
Немного смутного искусства
За легким пологом дождя.

1945

268

Умру — вы вспомните газеты шорох,
Ужасный год, который всем нам дорог.
А я хочу, чтоб голос мой замолкший
Напомнил вам не только гром у Волги,
Но и деревьев еле слышный шелест,
Зеленую таинственную прелесть.
Я с ними жил, я слышал их рассказы,
Каштаны милые, оливы, вяза —
То не ландшафт, не фон и не убранство;
Есть в дереве судьба и постоянство,
Уйду — они останутся на страже,
Я начал говорить — они доскажут.

1945

О, дайте вечность мне, — и вечность
я отдам
За равнодушные к обидам и годам.

И. Анненский

В печальном парке, где дрожит зола,
Она стоит, по-прежнему бела.
Ее богиней мира называли,
Она стоит на прежнем пьедестале.
Ее обидели давным-давно.
Она из мрамора, ей всё равно.
Ее не тронет этот день распятый,
А я стою, как он стоял когда-то.
Нет вечности, и мира тоже нет,
И не на что менять остаток скверных лет.
Есть только мрамор и остывший пепел.
Прикрой его, листва: он слишком светел.

1945

270. ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕСНЯ

Свободу не подарят,
Свободу надо взять.
Свисти скорей, товарищ,
Нам время воевать
Мы жить с тобой бы рады,
Но наш удел таков,
Что умереть нам надо
До первых петухов.
Нас горю не состарить,
Любви не отозвать.
Свисти скорей, товарищ,
Нам время воевать.
Другие встретят солнце
И будут пить и есть,
И, может быть, не вспомнят,
Как нам хотелось жить.

1946

«Во Францию два гренадера...»
 Я их, если встречу, верну.
 Зачем только черт меня дернул
 Влюбиться в чужую страну?
 Уж нет гренадеров в помине,
 И песни другие в ходу,
 И я не француз на чужбине, —
 От этой земли не уйду,
 Мне всё здесь знакомо до дрожи,
 Я к каждой тропинке привык,
 И всех языков мне дороже
 С младенчества внятный язык.
 Но вдруг замолкают все споры,
 И я — это только в бреду, —
 Как два усача гренадера,
 На запад далекий бреду,
 И всё, что знавал я когда-то,
 Встает, будто было вчера,
 И красное солнце заката
 Не хочет уйти до утра.

1947

272—273. Ф Р А Н Ц И Я

1

Дорога вьется, тянет, тянется.
 Заборы, люди, города.
 И вдруг одно: а где же Франция?
 Запряталась она куда?
 Бретань, и море в злобе щерится,
 И скалы рвет огромный вал.
 Разлука ли? Мне всё не верится,
 Что эти руки целовал.
 Не улыбнешься, не расплачешься,
 А вспомнишь — закричишь со сна.
 Парижа позднее ребячество,
 Его туманная весна —
 В цветах, в огнях, в соленой сырости...
 Я не спрошу, что стало с ним.

Другие девушки там выросли
И улыбаются другим.
Так сделан человек: расстанется,
Всё заметет тяжелый снег.
И я как все. А где же Франция?
Я выдумал ее во сне.
Но ты не говори о верности,
Я верен, только не себе —
Тому, что бьется, вьется, вертится —
Своей тоске, своей судьбе.

2

Читаешь, пишешь, говоришь,
И вдруг встает былой Париж,
Огромный, огненный, живой,
С горячей мокрой синевой.
Как он сумел прийти сюда?
Ходить — не ходят города,
Им тяжело, у них дома.
И кто из нас сошел с ума?
Тот город, что, забыв про честь,
Готов в любое сердце влезть,
Готов смутить любой покой
Своей шарманочной тоской, —
Сошел ли город тот с ума,
Сошли ли с мест своих дома?
Иль, может, я в бреду ночном,
Когда смолкает всё кругом,
Сквозь сон, сквозь чашу мутных лет,
Сквозь ночь, которой гуще нет,
Сквозь снег, сквозь смерть, сквозь эту тишь
Бреду туда — всё в тот Париж?

1947

274

Мне всё мерещится одна
Большого полдня тишина,
И те же блики от каштана,
И тот же зной, как мед, густой,

Кувшин, а рядом два стакана,
Один с вином, другой пустой.
Обычно отвечают: «Ба,
Что тут попишешь, не судьба...»
Уж больше ничего не будет,
Теперь и вспоминать смешно,
А всё мерещится одно:
Так и ушел и не пригубил...

1947

275

Тарханы — это не поэма,
Большое крепкое село.
Давно в музей безумный Демон
Сдал на хранение крыло.
И посетитель видит хрупкий,
Игрушечный, погасший мир,
Изгрызанную в муке трубку
И опереточный мундир.
И каждому немного лестно,
Что это — Лермонтова кресло.
На стенах множество цитат
О происшедшей перемене.
А под окном заглохший сад
И «счастье», скрытое в сирени.
Машины облегчили труд.
В селе теперь десятилетка.
Колхозники исправно чтут
Дела прославленного предка,
И каждый год в тот день июля,
Когда его сразила пуля,
В Тарханах праздник. Там с утра
Вся приедета детвора.
Уж кумачом зардели арки,
Уж сдали государству рожь,
И в старом лермонтовском парке
Танцует дружно молодежь.
Здесь нет ни топота, ни свиста...
Давно забыт далекий выстрел,

И только в склепе, весь продрог,
Стоит обшитый цинком гроб.
Мотор заглох, шофер хлопочет.
А девушка в избе бормочет
Всё тот же сердцу милый стих,
И страсть в ее глазах глухих,
Приподняты углами брови,
А ночь, как некогда, темна.
Поют и пьют. Стихи читают. Сквернословят.
А сердце в цинк стучит. Всё выпито до дна.
«Люблю отчизну я, но странною любовью. . .»
А что тут странного? Она одна.

1947

276—278. У Р Ж Е В А

1

Трагедия закончена — так пишут,
И это правда, — строят города,
Влюбляются и по ночам не слышат,
Как голосит железная беда.
Но вот война — окопы, танк подбитый,
Оборван провод и повисла нить,
Как будто после той ужасной битвы
Здесь занавес забыли опустить.
Торчит стена расщепленного дома,
В глубоких ямах желтая вода.
Как это всё мучительно знакомо,
Мне кажется, что я здесь жил всегда.
Обломаны, обрублены деревья,
Черны они, в них битв минувших страсть,
И, руки заломив в последнем гневе,
Они ни жить не могут, ни упасть.

2

Могилы солдата, а имени нет,
Мы дату едва разобрали, —
Здесь в сорок втором, не дождавшись побед,
Погиб неизвестный товарищ.

Тогда отступали, и он отступал.
Потом был приказ закрепиться.
В Москве не раздался торжественный залп —
Погиб он в проигранной битве.
Откуда шли танки? Хватило ль гранат?
В газете никто не поведал,
Как в сорок втором неизвестный солдат
Увидел впервые победу.
О том не узнали ни мать, ни жена,
С похода друзья не вернулись.
Он спит одиноко, и только сосна
В почетном стоит карауле.

3

Прохожий, подойди. Лежим в могиле братской.
Нас было четверо, любили мы смеяться,
Цвела тогда сирень, мы были влюблены,
Ходили в школу мы за месяц до войны.
Прохожий, пели мы. Потом запели пули.
Ты знаешь жизнь, в нее мы только заглянули.
Мы жить хотели, но была беда:
Мы отступали и сдавали города.
В то лето было много горя и развалин.
Кукушки коротко в то лето куковали,
Мы в поле залегли, касалась щек трава.
Была пред нами смерть, а позади — Москва.
Есть нечто, вечности оно дороже:
Погибли мы, но ты живешь, прохожий,
Ты смотришь, говоришь, и этот день живой
Стоит, как облако, над розовой Москвой.

1948(?)

279

Я в море вижу не свободу,
А некий исполинский труд,
Как будто яростные воды
Повинность тяжкую несут,

С ожесточеньем терпеливым
Прилив сменяется отливом,
Стихия пробует восстать,
Закону темному покорна,
Шумит, грозит. А после шторма
Всё та же тишина и гладь.
Скажи мне, сколько нужно странствий,
Как отвергал, как был отвергнут,
Чтоб говорило море сердцу
О верности, о постоянстве,
Чтоб стало всё, чем жил и жив,
Как тот прилив, как тот отлив?

1948(?)

280

У маленькой речушки на закате,
Закинув удочку, сидел мечтатель
И, отдыхая от своих тревог,
Глядел на неподвижный поплавок.
Он смутно думал: «Тонет луг в тумане,
Возможно, завтра и меня не станет,
Но будет снова тот же летний день,
И та же рябь реки, и та же лень».
О вечности он думал смутно, вяло,
А рядом на песочке трепетала
Им пойманная рыбка. Где вода?
Ее не будет больше никогда.
Дышать она пыталась. Слишком поздно:
Не для нее сухой и грозный воздух.
Вздымались жабры. Белый жег песок.
Мечтатель всё глядел на поплавок.

1948 (?)

281

К вечеру улегся ветер резкий,
Он залег в тенистом перелеске, —
Уверяли галки очень колко,
Что растет там молодая елка.

Он играл с ее колючей хвоей,
Говорил: «На свете есть другое,
А не только эти елки-палки,
А не только глупенькие галки».
Говорил, что он бывал на Тибре,
Танцевал с нарядными колибри,
Обнимал высокую агаву,
Но нашлась и на него управа.
Отвечала молодая елка:
«Я в таких речах не вижу толка,
С вами я почти что незнакома,
Нет у вас ни адреса, ни дома,
Может, по миру гулять просторней,
Но стыдитесь — у меня есть корни,
Я стою здесь с самого начала,
Как моя прабабушка стояла.
Я не мельница. Зачем мне ветер?
У меня, наверно, будут дети.
На мои портреты ротозеи
Смотрят в краеведческом музее».
Вздрагнули деревья на рассвете —
Это поднялся внезапно ветер,
И завыла на цепи собака
Оттого, что ветер выл и плакал,
Оттого, что без цепи привольно,
Оттого, что даже ветру больно.

1948(?)

282

Был тихий день обычной осени.
Я мог писать или не писать:
Никто уж в сердце не запросится,
И тише тишь, и глаже гладь.
Деревья голые и черные —
На то глаза, на то окно, —
Как не моих догадок формулы,
А всё разгадано давно.
И вдруг, порывом ветра вспугнуты,
Взлетели мертвые листья,

206

Давно истоптаны, поруганы,
И всё же, как любовь, чисты,
Большие, желтые и рыжие
И даже с зеленью смешной,
Они не дожили, но выжили
И мечутся передо мной.
Но можно ль быть такими чистыми?
А что ни слово — невпопад.
Они живут, но не написаны,
Они взлетели, но молчат.

1957

283

Ошибся — нужно повторить:
Ребенка учат говорить.
К чему леса? К чему трава?
Пред ним дремучие слова,
И он в руке зажать готов
Добычу дня — охапку слов.
До смерти их не перечесть.
А попугай — тот любит есть,
А водолей — тот воду льет,
И человек средь слов живет.
Кто открывал, и кто крестил,
И кто кого когда любил?
Ведь он не нов, ведь он готов,
Уютный мир заемных слов.
Лишь через много-много лет,
Когда пора давать ответ,
Мы разгребаем груды слов —
Ведь мир другой, он не таков.
Слова швыряем мы в окно
И с ними славу заодно.
Как ни хвали, как ни пугай,
Молчит облезший попугай, —
Слова ушли, как сор, как дым,
Он хочет умереть немым.

1957

Есть надоедливая вдоволь повесть,
 Как плачет человеческая совесть.
 Она особенно скулит среди ночи,
 Когда никто с ней говорить не хочет,
 Когда подсчитаны давно балансы
 И оттанцованы и сны и танцы,
 Когда глаза, в которых жизнь поблекла,
 Похожи на замызганные стекла
 Большого недостроенного дома,
 Где всё необжито и всё знакомо.
 Она скулит, что день напрасно прожит
 И что никто не лезет вон из кожи,
 Что убивают лихо изуверы
 И что вздыхают тихо малOVERы.
 Она скулит, никто ее не слышит —
 Ни ангелы, ни близкие, ни мыши.
 Да что тут слушать? Плачет, и не жалко.
 Да что тут слушать? Есть своя смекалка.
 Да что тут слушать? Это ведь не дело.
 И это всем смертельно надоело.

1957

Нагасаки

Ты помнишь, жаловался Тютчев:
 «Мысль изреченная есть ложь».
 Ты не пытался думать — лучше
 Чужая мысль, чужая ложь.
 Да и к чему осьмушки мысли?
 От соски ты отвык едва,
 Как сразу над тобой нависли
 Семипудовые слова.
 И было в жизни много шума,
 Пальбы, проклятий, фарсов, фраз.
 Ты так и не успел подумать,
 Что набегит короткий час,

Когда не закричишь дискантом,
Не убежишь, не проведешь,
Когда нельзя играть в молчанку,
А мысли нет, есть только ложь.

1957

286

В их мире замкнутом и спертом
И логика была простой,
Она была того же сорта,
Что окрик часового: «Стой!»

«Стой!» — и построй себе жилище,
«Стой!» — и свивай себе уют,
«Стой!» — и работай ради пищи,
Живи, как прочие живут.

Да кто вы? Люди или птицы?
Сыны богов или кроты?
«Мы? Жители. Жильцы, жилицы,
Квартиросъемщики. А ты,

А ты, что вечно споришь с веком?»
— «Я был собою до конца:
Неполноценным человеком,
Пытавшимся поджечь сердца».

«Ну как, поджег? — И все смеются,
Все полноценны и тихи: —
Прошла эпоха революций.
А сколько платят за стихи?»

1957

287

Я смутно помню шумный перекресток,
Как змей клубок, петлистые пути.
Я выбрал свой, и всё казалось просто:
Коль цель видна, не сбиться и дойти.

209

Одна судьба — не две — у человека,
И как дорогу ту ни назови,
Я верен тем, с которыми полвека
Шагал я по грязи и по крови.
Один косился на другого, музил
Молчанием, томила сердце тень,
Что рядом шла, — не друг и не попутчик,
А только тень.

 Ни зелень деревень,
Ни птицы крик нам не несли отрады.
Страшнее переходов был привал.
Порой один, чуть покачнувшись, падал,
Все дальше шли, он молча умирал.
Но, кажется, и в час предсмертной стужи,
Когда пойму — мне больше не идти,
Нахлынут нежность, гордость, грусть и ужас
При памяти о пройденном пути.

1957

288

Есть в севере чрезмерность, человеку
Она невыносима, но сродни —
И торопливость летнего рассвета,
И декабря огрызки, а не дни,
И сада вид, когда приходит осень:
Едва цветы успели расцвести,
Их заморозки скручивают, косят,
А ветер ухмыляется, свистит,
И только в пестроте листвы кричащей,
Календарю и кумушкам назло,
Горит последнее большое счастье,
Что сдуру, курам на смех, расцвело.

1957

289. ДОЖДЬ В НАГАСАКИ

Дождь в Нагасаки бродит, разбужен, рассержен.
Куклу слепую девочка в ужасе держит.
Дождь этот лишний, деревья ему не рады,
Вишня в цвету, цветы уже начали падать.

210

Дождь этот с пеплом, в нем тихой смерти заправка,
Кукла ослепла, ослепнет девочка завтра,
Будет отравой доска для детского гроба,
Будет приправой тоска и долгая злоба,
Злоба — как дождь, нельзя от нее укрыться,
Рыбы сходят с ума, наземь падают птицы.
Голуби скоро начнут, как вороны, каркать,
Будут кусаться и выть молчальники карпы,
Будут вгрызаться в людей цветы полевые,
Воздух вопьется в грудь, сердце высосет, выест.
Злобу не в силах терпеть, как дождь, Нагасаки.
Мы не дадим умереть тебе, Нагасаки!
Дети в далеких, в зеленых и тихих скверах, —
Здесь не о вере, не с верой, не против веры,
Здесь о другом — о простой человеческой жизни.
Дождь перейдет, на вишни он больше не брызнет.

1957

290. ТОВАРИЩАМ

В любой трущобе, где и камню больно,
В Калькутте душной, среди ветров Стокгольма,
В японском домике, пустом до страха,
Глухой в Нью-Йорке и на ощупь в шахте,
У Миссисипи, где и снам не выжить,
В заласканном, заплаканном Париже,
И в брюхе птицы, прорезавшей небо, —
Все сорок лет — когда бы, с кем бы, где бы —
Я вижу их, я узнаю их сразу,
Не по затверженным знакомым фразам, —
По множеству примет, едва заметных,
По хмурости и по усмешке светлой,
По мужеству, по гордости, по горю,
Которых не унять, не переспорить,
И по тому, как промолчат о главном,
Как через силу выговорят «ладно»,
Как не расскажут про беду и смуту
И как доверчиво пожмут мне руку.
Я с ними в сговоре — мы вместе жили,
В одно мы верили, одно любили,

И пуд мы съели — не по нашей воле —
Такой соленой, что не скажешь, соли.
Суровый, деловой и всё же нежный
Огромный заговор одной надежды.

1957

291. СПУТНИК

Есть нечто милое в самом том слове
С далеких, незапамятных времён,
Хоть многим кажется, что это — внове,
Хоть ошарашен мир и окрылен.
Не знаю, догадаются, поймут ли,
Увидев искру в голубой дали,
Какой невидимый и близкий спутник
Уж сорок лет кружит вокруг Земли.
В глухую осень из российской пуши,
Средь холода и грусти волостей,
Он был в пустые небеса запущен
Надеждой исстрадавшихся людей.
Ему орбиты были незнакомы,
Он оживал в часы сухой тоски,
О нем не говорили астрономы,
За ним следили только бедняки.
Что испытал он, в спехе пролетая,
Запущен рано, нестерпимо нов,
Над горем стародавнего Китая,
Над голодом бразильских пастухов?
Его боялись на допросе выдать,
Он был судим, и был он осужден.
Я помню, пролетал он над Мадридом,
И люди улыбались: это — он!
Он осветил последние минуты
Заложников, он мчался вокруг Земли,
Его видали тени Равенсбрука,
Индийцы разговоры с ним вели.
Он вспыхивал и пропадал надолго,
Никто его путей не объявлял,
Но в смертный час над потрясенной Волгой
Он будущее мира отстоял.

Его не признавали: «Это — опыт»,
В сердцах твердили: «Это — русских дурь»,
Пока не увидали в телескопы
Его кружение среди звездных бурь.
Не знаю, догадаются, поймут ли...
Он сорок лет бушует надо мной,
Моих надежд, моей тревоги спутник,
Немыслимый, далекий и родной.

1957

292. ПАРИЖ — ТОКИО

(Мысли в пути)

Были когда-то небеса для влюбленных,
Плыли облака от луны до солнца,
Звезда с звездой встречались, прощались,
И одна на землю падала в печали.
Стали небеса проезжей дорогой,
От взлета до посадки четыре бутерброда.
Говорят о делах, деловито дремлют,
Порой, зевая, смотрят на землю.
Господа вселенной от взлета до посадки
Хвастают успехами, клянут неполадки,
Вспоминают расходы, расставляют цифры,
Спорщики спорят, ревнуют ревнивцы.
Облака под ними — грязная вата,
Под ватой и они живали когда-то.
Что им звезды? Незачем ломаться.
Видели они немало декораций.

Если радисту радист не ответит,
Если сядет самолет на чужой планете,
Слегка удивятся, спросят кого-то,
Сколько им дивиться — от посадки до взлета,
А потом займутся своими делами —
Пуском машин или грустными глазами
Той, что осталась на другой планете,
Что вчера провожала, а завтра не встретит.

Вынуты блокпоты — догадки, подсчеты.
Споры продолжаются — от посадки до взлета.
Четыре бутерброда... Летят на Землю.
Падает звезда. Великое племя!

1957

293

Был пятый час среди январских сумерек.
На улице большой и незнакомой
Она бумажку вынула из сумочки, —
Быть может, позабыла номер дома,
А может быть, работой озабочена,
Проверила все цифры на расписке,
А может, просто улыбнулась почерку
Измятой, зацелованной записки.
Где друг ее, в какой далекой области?
Иль, может быть, спешила на свиданье?
Но губы дрогнули, и, будто облако,
Взлетело к небу легкое дыханье.
Когда мы говорим на громких сборищах
Про ненависть, про бомбы и про стронций,
Когда слова, в которых столько горечи,
Горячим пеплом заслоняют солнце,
Я вспоминаю улицу морозную
И облако у каменного здания,
Огромный мир с бесчисленными звездами
И крохотное, слабое дыханье.

1958

294. ВЕРНОСТЬ

Жизнь широка и пестра,
Вера — очки и шоры.
Вера двигает горы,
Я — человек, не гора.
Вера мне не сестра.
Видел я камень серый,
Стертый трепетом губ,

Мертвого будит вера,
Я — человек, не труп.
Видел, как люди слепли,
Видел, как жили в пекле,
Видел — билась земля,
Видел я небо в пепле, —
Вере не верю я.
Скверно? Скажи, что скверно.
Верно? Скажи, что верно.
Не похвальбе, не мольбе,
Верю тебе лишь, Верность,
Веку, людям, судьбе.
Если терпеть, без сказки,
Спросят — прямо ответь,
Если к столбу, без повязки, —
Верность умеет смотреть.

1958

295. САМЫЙ ВЕРНЫЙ

Я не знал, что дважды два — четыре,
И учитель двойку мне поставил.
А потом я оказался в мире
Всевозможных непреложных правил.
Правила менялись, только бойко,
С той же снисходительной улыбкой,
Неизменно ставили мне двойку
За допущенную вновь ошибку
Не был я учеником примерным
И не стал с годами безупречным,
Из апостолов Фома Неверный
Кажется мне самым человечным.
Услышав, он не поверил просто —
Мало ли рассказывают басен?
И, наверно, не один апостол
Говорил, что он весьма опасен.
Может, был Фома тяжелодумом,
Но, подумав, он за дело брался,
Говорил он только то, что думал,
И от слов своих не отступался.

Жизнь он мерил собственной меркой,
Были у него свои скрижали.
Уж не потому ль, что он «неверный»,
Он молчал, когда его пытали?

1958

296

Да разве могут дети юга,
Где розы плещут в декабре,
Где не разыщешь слова «вьюга»
Ни в памяти, ни в словаре,
Да разве там, где небо сине
И не слиняет ни на час,
Где испокон веков поныне
Все то же лето тешит глаз,
Да разве им хоть так, хоть вкратце,
Хоть на минуту, хоть во сне,
Хоть ненароком догадаться,
Что значит думать о весне,
Что значит в мартовские стужи,
Когда отчаянье берет,
Всё ждать и ждать, как неуклюже
Зашевелится грузный лед.
А мы такие зимы знали,
Вжились в такие холода,
Что даже не было печали,
Но только гордость и беда.
И в крепкой, ледяной обиде,
Сухой пургой ослеплены,
Мы видели, уже не видя,
Глаза зеленые весны.

1958

297

Вчера казалась высохшей река,
В ней женщины лениво полоскали
Белье. Вода не двигалась. И облака,
Как простыни распластаны, лежали

На самой глади. Посреди реки
Дремали одуревшие коровы.
Баржа спала. Рыжели островки,
Как поплавки лентяя рыболова.
Вдруг началось. Сошла ль река с ума?
Прошла ль гроза? Иль ей гроза приснилась?
Но рвется прочь. Земля, поля, дома —
Всё отдано теперь воде на милость.
Бывает, жизнь мельчает. О судьбе
Не говори — ты в выборе свободен.
И если есть судьба, она в тебе —
И эти отмели и полноводье.

1958

298. В ГРЕЦИИ

Не помню я про ход резца —
Какой руки, какого века, —
Мне не забыть того лица,
Любви и муки человека.
А кто он? Возмущенный раб?
Иль неуступчивый философ,
Которого травил сатрап
За прямоту его вопросов?
А может, он бесславно жил,
Но мастер не глядел, не слушал
И в глыбу мрамора вложил
Свою бушующую душу?
Наверно, мастеру тому
За мастерство, за святотатство
Пришлось узнать тюрьму, суму
И у царей в ногах валяться.
Забыты тяжбы горожан
И войны громкие династий,
И слов возвышенных туман,
И дел палаческие страсти.
Никто не свистнет, не вздохнет —
Отыграна пустая драма, —
И только всё еще живет
Обломок жизни, светлый мрамор.

1958

299. В ЗООПАРКЕ ЛОНДОНА

До слез доверчива собака,
Нестороплива черепаха,
Близка к искусству обезьяна,
Большие чувства у барана,
Но говорят, что только люди —
И дело здесь не в глупом чуде,
А дело здесь в природе высшей,
А дело здесь в особой мышце, —
И ни скворец в своей скворешне,
И никакой не пересмешник,
Ни попугай и ни лисица
Не могут этого добиться.
Но только люди — это с детства, —
Едва успеют осмотреться,
Им даже нечего стараться —
Они умеют улыбаться.
Я много жил и видел многих,
Высокомерных и убогих,
И тех, что открывают звезды,
И тех, что разоряют гнезда.
Есть у людей носы и ноги
Для любопытства, для тревоги,
Есть настороженные уши
Для тишины, для малодушья,
Есть голова для всякой прыти,
Кровопролитий и открытий,
Чтоб расщепить, как щепку, атом,
Чтоб за Луну был всяк просватан,
Чтоб был Сатурн в минуту добыт,
Чтоб рифмовал и плакал робот.
Умеют люди зазнаваться,
Но разучились улыбаться.
И только в вечер очень жаркий
В большом и душном зоопарке,
Где, не мечтая о победе,
Лизали кандалы медведи,
Где были всяческие люди —
И дети королевских судей,
И маклеры, а с ними жены,
И малолетние Ньютоны,

Где люди громко гоготали,
А звери выли от печали,
Где даже тигр пытался мямлить,
Как будто он не тигр, а Гамлет, —
Да, только там, у тесных клеток,
Средь мудрецов и малолеток,
Я видел, как один слоненок,
Быть может, сдуру иль спросонок,
Взглянув на дамские убранства,
На грустное, пустое чванство,
Наивен будучи и робок,
Слегка приподнял тонкий хобот
И, словно он природы высшей
И словно одарен он мышцей,
К слонихе быстро повернулся,
Не выдержал и улыбнулся.

1958

300

Про первую любовь писали много, —
Кому не лестно походить на бога,
Создать свой мир, открыть в привычной глине
Черты еще не найденной богини?
Но цену глине знает только мастер —
В вечерний час, в осеннее ненастье,
Когда всё прожито и всё известно,
Когда сверчку его знакомо место,
Когда цветов повторное цветенье
Рождает суеверное волнение,
Когда уж дело не в стихе, не в слове,
Когда всё позади, а счастье внове.

1958

301. СЕРДЦЕ СОЛДАТА

Бухгалтер он, — счетов охапка,
Семерки, тройки и нули.
И кажется, он спит, как папка
В тяжелой голубой пыли.

Но вот он с другом повстречался.
Ни цифр, ни сплетен, ни котлет.
Уж нет его, пропал бухгалтер,
Он весь в огне прошедших лет.
Как дробь, стучит солдата сердце:
«До Петушков рукой подать!»
Беги! Рукой подать до смерти,
А жизнь в одном — перебежать.
Ты скажешь — это от контузий,
Пройдет, найдет он жизни нить,
Но нити спутались, и узел
Уж не распутать — разрубить.

Друзья и сверстники развалин
И строек сверстники, мой край,
Мы сорок лет не разувались,
И, если нам приснится рай,
Мы не поверим.

Стой, не мешкай,
Не для того мы здесь, чтоб спать!
Какой там рай? Есть перебежка —
До Петушков рукой подать!

1958

302. СОСЕД

Он идет, седой и сутулый.
Почему судьба не рубнула?
Он остался живой, и вот он,
Как другие, идет на работу,
В перерыв глотает котлету,
В сотый раз заполняет анкету,
Как родился он в прошлом веке,
Как мечтал о большом человеке,
Как он ел паёчную воблу
И в какую он ездил область,
Про ранения и про медали,
Про сражения и про печали,
Как узнал он народ и дружбу,
Как ходил на войну и на службу,

Как ходила судьба и рубала,
Как друзей у него отымала.
Про него говорят «старейший»,
И ведь правда — морщины на шее,
И ведь правда — волос не осталось.
Засиделся он в жизни малость.
Погодите, прошу, погодите!
Поглядите, прошу, поглядите!
Под поношенной, стертой кожей
Бьется сердце других моложе.
Он такой же, как был, он прежний,
Для него расцветает подснежник.
Всё не просто, совсем не просто,
Он идет, как влюбленный подросток,
Он не спит голубыми ночами,
И стихи он читает на память.
И обходит он в вечер морозный
Заснеженные сонные звезды,
И сражается он без ракеты
В черном небе за толику света.

1958

303

Мы говорим, когда нам плохо,
Что, видно, такова эпоха,
Но говорим словами теми,
Что нам продиктовало время.
И мы привязаны навеки
К его взыскательной опеке,
К тому, что есть большие планы,
К тому, что есть большие раны,
Что изменяем мы природу,
Что умираем в непогоду
И что привыкли наши ноги
К воздушной и земной тревоге,
Что мы считаем дни вприкидку,
Что сшиты на живую нитку,
Что никакая в мире нежить
Той тонкой нитки не разрежет.

В удаче ль дело, в неудаче,
Но мы не можем жить иначе,
Не променяем — мы упрямы —
Ни этих лет, ни этой драмы,
Не променяем нашей доли,
Не променяем нашей роли, —
Играй ты молча иль речисто,
Играй героя иль статиста,
Но ты ответишь перед всеми
Не только за себя — за Время.

1958

304

Я слышу всё — и горестные шепоты,
И деловитый перечень обид.
Но длится бой, и часовой, как вкопанный,
До позднего рассвета простоит.
Быть может, и его сомненья мучают,
Хоть ночь длинна, обид не перечесть,
Но знает он — ему хранить поручено
И жизнь товарищей, и собственную честь.
Судьбы нет горше, чем судьба отступника,
Как будто он и не жил никогда,
Подобно коже прокаженных, струпьями
С него сползают лучшие года.
Ему и зверь и птица не доверятся,
Он будет жить, но будет неживой,
Луна уйдет, и отвернется дерево,
Что у двери стоит как часовой.

1958

305. НАД РУКОПИСЬЮ

Если слово в строке перечеркнуто,
А поверх уж другое топорщится,
Значит, эти слова — заменители,
Невесомы они, приблизительны,

Значит, каждое слово уж выпалось,
Значит, это — слова, а не исповедь,
Значит, всё раздобыто, не добыто,
Продиктовано роботом роботу.

1964

306. КОРОВЫ В КАЛЬКУТТЕ

Как давно сказано,
Не все коровы одним миром мазаны:
Есть дельные и стельные,
Есть комолые и бодливые,
Веселые и ленивые,
Печальные и серьезные,
Индивидуальные и колхозные,
Дойные и убойные,
Одни в тепле, другие на стуже,
Одним лучше, другим хуже.
Но хуже всего калькуттским коровам:
Они бродят по улицам,
Мычат, сутуляются,
Нет у них крова,
Свободные и пленные,
Голодные и почтенные,
Никто не скажет им злого слова —
Они священные.

Есть такие писатели —
Пишут старательно,
Лаврами их украсили,
Произвели в классики,
Их не ругают, их не читают,
Их почитают.
Было в моей жизни много дурного,
Частенько били — за перегибы,
За недогибы, изгибы,
Говорили, что меня нет — «выбыл»,
Но никогда я не был священной коровой,
И на том спасибо.

1964

307. В САМОЛЕТЕ

Носил учебники я в ранце,
Зубрил латынь, над аргонавтами
Зевал и, прочитав «Каштанку»,
Задумался об авторе.
Передовые критики
Поругивали Чехова:
Он холоден к политике
И пишет вяло, нехотя.
Он отстаёт от века
И говорит, как маловер:
Зауважают человека,
Но после дождика в четверг;
Он в «Чайке» вычурен, нелеп,
Вздыхает над убитой птичкой,
Крестьян, которым нужен хлеб,
Лекарствами он пичкает.

Я жизнь свою прожить успел
И, тридцать стран объехав,
Вдруг в самолете поглядел
И вижу — рядом Чехов.
Его борода и пенсне,
И говорит приглушенно.
Он обращается ко мне:
«Вы из Москвы? Послушайте,
Скажите, как вы там живете?
Меня ведь долго не было.
Я оказался в самолете,
Хоть ничего не требовал.
Подумать только — среди небес
Закусками нас потчуют!
Недаром верил я в прогресс,
Когда нырял в обочину...»
Волнуясь, я сказал в ответ
Про множество успехов,
Сказал о том, чего уж нет.
И молча слушал Чехов.
«Уж больше нет лабазников,
Сиятельных проказников,

Помещиков, заводчиков
И остряков находчивых,
Уж нет его величества,
Повсюду перемены,
Метро и электричество,
Над срубами антенны,
Сидят у телевизора,
А космонавты кружатся, —
Земля оттуда мизерна,
А океаны — лужица,
И ваша медицина
На выдумки богата —
Глодают витамины,
Есть пищевые концентраты.
Живу я возле Вознесенска,
Ваш дом — кругом слонялись куры —
Сожгли при отступленьи немцы.
Построили Дворец культуры.
Как мирно воевали прадеды!
Теперь оружие стало ядерным...»
Молчу. Нам до посадки полчаса.
«Вы многое предугадали:
Мы видели в алмазах небеса,
Но дяди Вани отдыха не знали...»

Сосед смеется, фыркает,
Побрился, снял пенсне.
«Что видели во сне?
Сон прямо богатырский.
Лечу я в Лондон — лес и лен,
Я из торговой сети,
Лес до небес и лен как клен, —
Всё здорово на свете!»

1964

308

Морили прежде в розницу,
Но развивались знания.
Мы, может, очень поздние,
А может, слишком ранние.

226

Сидел писец в Освенциме,
Считал не хуже работа —
От матерей с младенцами
Волос на сколько добыто.

Уж сожжены все родичи,
Канаты все проверены,
И вдруг пустая лодочка
Оторвалась от берега,
Без виз, да и без физики,
Пренебрегая воздухом,
Она к тому приблизилась,
Что называла звездами.

Когда была искомая
И был искомый около,
Когда еще весомая
Ему дарила локоны.
Одна звезда мне нравится.
Давно такое видано,
Она и не красавица,
Но очень безобидная.

Там не снует история,
Там мысль еще не роздана,
И видят инфузории
То, что зовем мы звездами.

Лети, моя любимая!
Так вот оно, бессмертие, —
Не высчитать, не вымолвить,
Само собою вертится.

1964

309. В РИМСКОМ МУЗЕЕ

В музеях Рима много статуй,
Нерон, Тиберий, Клавдий, Тит,
Любой разбойный император
Классический имеет вид.

Любой из них, твердя о правде,
Был жаждой крови обуян,
Выкуривал британцев Клавдий,
Армению терзал Троян.
Не помня давнего разгула,
На мрамор римляне глядят
И только тощим Калигулой
Пугают маленьких ребят.
Лихой кавалерист пред Римом
И перед миром виноват:
Как он посмел конем любимым
Пополнить барственный сенат?
Оклеветали Калигулу:
Когда он свой декрет изрек,
Лошадка даже не лягнула
Своих испуганных коллег.
Простят тому, кто мягко стелет,
На розги розы класть готов,
Но никогда не стерпит челядь,
Чтоб высекли без громких слов.

(1965)

310

Когда зима, берясь за дело,
Земли увечья, рвань и гной
Вдруг прикрывает очень белой
Непогрешимой пеленой,
Мы радуемся, как обновке,
Нам, простофилям, невдомек,
Что это старые уловки,
Что снег на боковую лег,
Что спишут первые метели
Не только упрядненный лист,
Но всё, чем жили мы в апреле,
Чему восторженно клялись.
Хитро придумано, признаться,
Чтоб хорошо сучилась нить,
Поспешной сменой декораций
Глаза от мыслей отучить.

(1965)

311. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Календарей для сердца нет,
Всё отдано судьбе на милость.
Так с Тютчевым на склоне лет
То необычное случилось,
О чем писал он наугад,
Когда был влюбчив, легкомыслен,
Когда, исправный дипломат,
Был к хаоса жрецам причислен.
Он знал и молодым, что страсть
Не треск, не звёзды фейерверка,
А молчаливая напасть,
Что жаждет сердце исковеркать.
Но лишь поздней, устав искать,
На хаос наглядевшись вдосталь,
Узнал, что значит умирать
Не поэтически, а просто.
Его последняя любовь
Была единственной, быть может.
Уже скудела в жилах кровь
И день положенный был прожит.
Впервые он узнал разор,
И нежность оказалась внове...
И самый важный разговор
Вдруг оборвался на полслове.

(1965)

312. В КОПЕНГАГЕНЕ

Кому хулить, а прочим наслаждаться —
Удой возрос, любое поле тучно,
Хоть каждый знает — в королевстве Датском
По-прежнему не всё благополучно.
То приписать кому? Земле?

Векам ли?

Иль, может, в Дании порядки плохи?
А королевство ни при чем, и Гамлет
Страдает от себя, не от эпохи.

(1965)

313. СОНЕТ

Давно то было. Смутно помню лето,
Каналов высохших бродивший сок
И бархата спадающий кусок —
Разодранное мясо, Тинторетто.
С кого спадал? Не помню я сюжета.
Багров и ржав, как сгусток всех тревог
И всех страстей, валялся он у ног.
Я всё забыл, но не забуду это.
Искусство тем и живо на века —
Одно пятно, стихов одна строка
Меняют жизнь, настраивают душу.
Они ничтожны — в этот век ракет —
И непреложны — ими светел свет.
Всё нарушал, искусства не нарушу.

(1965)

314—323. СТАРОСТЬ

1

Всё призрачно, и свет ее неярок.
Идти мне некуда. Молчит беда,
Чужих небес нечаянный подарок,
Любовь моя, вечерняя звезда!
Бесцельная и увести не может.
Я знаю всё, я ничего не жду.
Но долгий день был не напрасно прожит —
Я разглядел вечернюю звезду.

1964

2

Молодому кажется, что к старости
Расступаются густые заросли,
Всё измерено, давно погашено,
Не пойти ни вброд, ни врукопашную,

Любит поворчать, и тем не менее
Он дошел до точки примирения.

Всё не так. В моем проклятом возрасте
Карты розданы, но нет уж козыря,
Страсть грызет и требует по-прежнему,
Подгоняет сердце, будто не жил я,
И хотя уже готовы вынести,
Хватит на двоих непримиримости,
Бьешься, и не только с истуканами —
Сам с собой.
Еще удар — под занавес.

1964

3

...И уж не золотом по черни,
А пальцем слабым на песке,
Короче, суше, суеверней
Он пишет о своей тоске.
Душистый разворочен ворох,
Теперь не годы, только дни,
И каждый пуше прежних дорог:
Перешагни, перегони,
Перелети, хоть ты объедок,
Лоскут, который съела моль, —
Не жизнь прожить, а напоследок
Додумать, доглядеть позволю.

(1967)

4

Устала и рука. Я перешел то поле.
Есть му́ка и мука́, но я писал о соли.
Соль истребляли все. Ракеты рвутся в небо.
Идут по полосе и думают о хлебе.
Вот он, клубок судеб. И тишина средь песен.
Даст бог, родится хлеб. Но до чего он пресен!

(1967)

Позабыть на одну минуту,
 Может быть, написать кому-то,
 Может, что-то убрать, передвинуть,
 Посмотреть на полет снежинок,
 Погадать — додержусь, дотяну ли,
 Почитать о лихом Калигúле.
 Были силы, но как-то не вышло,
 А теперь уже скоро крышка.
 Не додумать, быть очень твердым,
 Просидеть над дурацким кроссвордом, —
 Что от правды и что от кривды,
 Не помогут ни мысли, ни рифмы.
 Это дальше теперь или ближе?
 Нужно выбраться, вытянуть, выжить.
 Время мешкает, топчется глухо,
 Не взлетает, как поздняя муха.
 Есть черед, а хотелось бы через.
 Нужно жить, а уж нет суеверий,
 Если держит еще — не надежда,
 А густая и цепкая нежность,
 Что из сердца не уберется,
 Если сердце всё еще бьется.

(1967)

Пора признать — хоть вой, хоть плачь я,
 Но прожил жизнь я по-собачьи,
 Не то что плохо, а иначе, —
 Не так, как люди или куклы,
 Иль Человек с заглавной буквы:
 Таскал не доски, только в доску
 Свою дурацкую поноску,
 Не за награды — за побои
 Стерег закрытые покои,
 Когда луна бывала злая,
 Я подвывал и даже лаял
 Не потому, что был я зверем,
 А потому, что был я верен —
 Не конуре, да и не палке,
 Не драчунам в горячей свалке,

Не дракам, не красивым вракам,
Не злым сторожевым собакам,
А только плачу в темном доме
И теплой, как беда, соломе.

(1967)

7

Из-за деревьев и леса не видно.
Осенью видишь, и вот что обидно:
Как было многое видно, но мнимо,
Сколько бродил я случайно и мимо,
Видеть не видел того, что случилось,
Не догадался, какая есть милость —
В голый, пустой, развороченный вечер
Радость простой человеческой встречи.

1964

8

Не время года эта осень,
А время жизни. Голизна,
Навязанный покой несносен:
Примерка призрачного сна.
Хоть присказки, заботы те же,
Они порой не по плечу.
Всё меньше слов, и встречи реже.
И вдруг себе я бормочу
Про осень, про тоску. О боже,
Дойти бы, да не хватит сил.
Я столько жил, а всё не дожил,
Не доглядел, не долюбил.

1964

9

Свет погас.
Говорят, через час
Свет дадут
или нет.
Слишком много мне лет,

Мое уходящее воспоминание,
А те кто востанут - что тут ~~мало~~ как
Уж не востанут, а будут жить,

Миром, гуеро

Куда ты, что мне востанут:

Одни, кто не умеет жить,

Востанут кто будет, миром

Умением "жизни"

Кто в чужой не а как жидка

А кто не умеет жить,

Но кто умеет жить востанут

А кто не умеет жить.

Кто не умеет жить востанут

eye the pain the change moving
eye the eye, no the eye
eye the lower eye

eye

eye

eye

eye

eye

eye

eye

Чтобы ждать и гадать —
Будет шторм или гладь.
Далеко далека
Та живая рука.
А включают или нет,
Будут врать или драть, —
Больше нет тех монет,
Чтоб в орлянку играть.

(1967)

10

Мое уходит поколение,
А те, кто выжил, — что тут ныть, —
Уж не людьми, а просто временем,
Лежалые, уценены.
Исхода нет, есть только выходы.
Одни, хоть им уйти пора,
Куда придется понатыканы,
Пришамкивают «чур-чура».
Не к спеху им, а коль заведено,
И старость чем не хороша,
По дворику ступают медленно
И умирают не спеша.
Хоть мне осточертели горести
И хоть такими пруд пруди,
Я с теми, кто дурачки борется,
Прет на рожон, да впереди,
Кто не забыл, как свищет молодость,
Кто жизнь продрог, а не продрых,
И хоть хлебал, да всё не солоно,
Кто так не вышел из игры.

(1967)

324

Пять лет описывал не пестрядь быта,
Не короля, что неизменно гол,
Не слезы у разбитого корыта,
Не ловкачей, что забивают гол.

236

Нет, вспоминая прошлое, хотел постичь я
Ходы еще не конченной игры.
Хоть Янус и двулик, в нем нет двуличья,
Он видит в гору путь и путь с горы.
Меня корили: я не знаю правил,
Болтлив, труслив — про многое молчу...

Костра я не разжег, а лишь поставил
У гроба лет грошовую свечу.
На кладбище друзей, на свалке века
Я понял: пусть принижен и поник,
Он всё ж оправдывает человека,
Истоптанный, но мыслящий тростник.

(1967)

325. НАД СТИХАМИ ВИЙОНА

«От жажды умираю над ручьем».
Водоснабженцы чертыхались:
«Поклеп! Тут воды ни при чем!
Докажем — сделаем анализ».
Вердикт геологов, врачей:
«Вода есть окись водорода,
И не опасен для народа
Сей оклеветанный ручей».
А человек, пустивший слухи,
Не умер вовсе над ручьем, —
Для пресечения разрухи
Он был в темницу заточен.
Поэт, ты лучше спичкой чиркай
Иль бабу снежную лепи,
Не то придет судья с пробиркой,
И ты завоешь на цепи.
Хотя — и это знает каждый —
Не каждого и не всегда
Освободит от вещей жажды
Наичистейшая вода.

(1967)

326. НАДЕЖДА

Любой сутяга или скаред,
Что научился тарабарить,
Попы, ораторы, шаманы,
Пророки, доки, шарлатаны,
Наимоднейшие поэты,
Будь разодеты иль раздеты,
Предатели и преподобья —
Всучают тухлые снадобья.
И надувают все лекарства,
Оказывалось хлевом царство,
(От неудачника, как шкура,)
Бежит нежнейшая Лаура,
И смертнику за час до смерти
Приятель говорит «поверьте»,
Когда он все помои вылил,
Когда веревку он намылил.
Но есть одна — она не кинет,
Каким бы жалким ни был финиш,
Она растерянных и наглых,
Без посторонних, с глазу на глаз,
Готова не судить, не вешать —
Всему наперекор утешить.
О чем печалилась Пандора?
Не стало славы и позора,
Убрались ангелы и черти,
Никто не говорит «поверьте»,
Но где-то в темном закоулке,
На самом дне пустой шкатулки,
Хоть всё доказано, хоть режь ты,
Чуть трепыхает тень надежды.

(1967)

327. В КОСТЕЛЕ

Не говори о маловерах,
Но те, что в сушь, в обрез, в огрыз
Не жили — прятались в пещерах,
В грязи, в крови, средь склизких крыс,

Задрипанные львы их драли,
Лупили все, кому не лень,
И на худом пайке печали
Они шептали всякий день,
Пусты, обобранные, раздеты,
Пытаясь провести конвой,
Что к ним придет из Назарета
Хоть и распятый, но живой.
Пришли в рождественской сусали,
Рубинами усыпан крест,
Тут кардинал на кардинале,
И разругались из-за мест.
Кадили, мазали елеем,
Трясли божественной мошной,
А ликовавшим дуралеям —
Тем всыпали не по одной.
Так притча превратилась в басню:
Коль петь не можешь, молча пей.
Конечно, можно быть несчастней,
Но не придумаешь глупей.

(1967)

328. В ТЕАТРЕ

Хоть славен автор, он перестарался:
Сложна интрига, нитки теребя,
Крушит героев. Зрителю не жалко —
Пусть умирают. Жаль ему себя.
Герой кричал, что правду он раскроет,
Сразит злодея. Вот он сам — злодей.
Другой кричит. У нового героя
Есть тоже меч.

Нет одного — людей.

Хоть бы скорей антракт! Пить чай в буфете.
Забуть, как ловко валят хитреца.
А там и вешалка.

Беда в билете:

Раз заплатил — досмотришь до конца.

(1967)

Что за дурацкая игра?
 Всё только слышится и кажется.
 А стих пристанет — до утра
 Не замолчит и не отвяжется.
 Другие спят, а ты не спи,
 Как кот ученый на цепи.
 Всю жизнь прожить в каком-то поезде,
 Разгадывая стук колес,
 Откроется и сразу скроется,
 И ночью доведет до слез,
 Послышится и померещится
 Тень на стене, разводы, трещина.
 Песчинки, сжатые в руке,
 Слова о доблести, о храбрости.
 А ты, как рыба на песке,
 Всё шевели сухими жабрами.

Быть может...
 Тогда мечта повелевала мной,
 и я про всё забыл; но поневоле
 вдруг поражен был радостной весной,
 смеявшейся на всем широком поле.

Темно-зеленые листья
 из лопавшихся почек прорастали,
 а желтые и красные цветы
 полям живую радость придавали.

Был дождь похож на сотни ярких стрел,
 в листве играло солнце так задорно,
 и тополь зачарованно смотрел
 на гладь реки, спокойной и просторной.

Пройдя так много тропок и дорог,
 в весну я лишь теперь взглядеться мог.

Я ей сказал: «Ты, к счастью, запоздала,
и вот могу я на тебя взглянуть!»
Потом, предавшись новой, небывалой
мечте, добавил тихо: «Снова в путь!
И юность нагоню когда-нибудь»,

331

Однажды черт меня сподобил:
Я жил в огромном небоскребе.
Скребутся мыши, им не снится,
Что есть луна над половицей.
Метались этажи в ознобе.
Я не был счастлив в небоскребе,
Я не кивал пролетной птице,
Я жил, как мышь под половицей.
Боюсь я слов больших и громких,
Куда тут «предки» и «потомки»,
Когда любой шальной мышонок,
Как сто веков, высок и громок.
В ознобе бьются линотипы,
Взлетают яростные скрипы.
И где уж догадаться мыши,
Что незачем скрестись на крыше?

332

Умрет садовник, что сажает семя,
И не увидит первого плода.
О, времени обманчивое бремя!
Недвижен воздух, замерла вода,
Роса, как слезы, связана с утратой,
Напоминает мумию кокон,
Под взглядом оживает камень статуй,
И ящерицы непостижен сон.

Фитиль уснет, когда иссякнет масло,
Ветра сотрут ступни горячий след.
Но нежная звезда давно погасла,
И виден мне ее горячий свет.

ПОЭМЫ

333. ПОВЕСТЬ О ЖИЗНИ НЕКОЙ НАДЕНЬКИ И О ВЕЩИХ ЗНАМЕНИЯХ, ЯВЛЕННЫХ ЕЙ

И Дух и Невеста говорят: приходи
и слышавший да скажет: приходи!

Откровение Иоанна Богослова

Тебе и вам,
ибо воистину

«любовь никогда не перестает, хотя
и пророчества прекратятся, и язы-
ки умолкнут, и знание упразд-
нится».

И. Э.

В тысяча девятьсот шестнадцатом году,
Одержимый бесами в дивных ризах,
Пребывая в некоем аду,
Именуемом брэнной жизнью,
И постигнув: сроки настали! грядите, бури! —
Пресмыкаясь в мерзких грехах,
День-деньской плача и балагурия
В разных кабаках,
Я, Илья Эренбург,
Записал житие тихой женщины
И всё, что она опознала
Через великую печаль.
И я верую
В своем запустении,
Ибо может уверовать даже самая малая
Тварь.

Слава тебе, господи, слава!
Ходят по лужайке белые павы,
И караси дохлые по пруду плавают,
И в кабинете маленькие дьяволы,

И зубы у них болят,
И еще болят, и они скулят:
«Слава тебе, господи, слава!
Твое дело! Твое право!
Мы надули наши губки
Лукавые.
У нас болят —
Слава тебе, господи, слава! —
Зубки!»

Сидит банкир, и бумажки милые —
Стрекозиные крылышки.
Пить только хочется...
Да вот ночью
Не достать нарзана...
А простой опасно...
И слышит он, как внутри ходят тараканы,
Усиками ходят очень ласково.
Откуда их столько нашло? .. Из кухни? ..
И что-то внутри явственно бухнет...
И кричит он: «Помогите! ..
Кондрашка...
Ты смотри! .. Бумажки,
Все пересчитанные...»

В доме у Цветного бульвара
Лежит на ковре так — одна барышня...
«Ты не лезь! .. Я сегодня больная! ..»
И всё как при этом полагается...
И торчат две ноги у туши,
А он облюбовывает, будто кушает,
И гремят сальные гири...
...Рублик накину на вырезку,
Только много сала...
Что ж ты, барышня, не гуляла? ..
Теперь лишнее не ценится...
И кричит барышня: «Не при!
Пусти на минутку в сени,
А то очень жжет внутри...»

А на липкой бумаге
В столовой

У архитектора Иванова
Муха жужжит,
Муха.
В столовой весьма сухо —
Духовое отопление.
Жужжит муха, на одной лапке
Всё время:
«Да как же, лапки не нитки,
Плохо!
Бумажка липкая,
А всё пересохло. . .
Je, j'ai. . .¹
Неужели уже? . . .»

А в аквариуме золотые рыбки
Пузыри пускают и плавают.
Слава тебе, господи, слава!

Ты поил нас пьяным вином,
А у нас свои печали.
«И представьте, не был застрахован дом,
А всего за три дня перед этим предлагали».
— «И вы не застраховали?»

Ты поил нас седьмым потом,
Мы бай-бай. . . «Ах!
Устал что-то. . .
Не целуй! Завтра утром. . .»
И впотьмах
Хрип, хлип, храп.
Вот он — твой нерадивый раб!

Ты поил нас слезными слезами,
Мы танцуем — не на каблуках, на носках.
«И знаете, если мне не изменяет память,
Никто до нее не пробовал этого па. . .»

Ты поил нас кровной кровью,
А мы свои губки, свои зубки, дырочки,
пупырочки холили.

¹ Я, у меня. . . (франц.). — *Ред.*

«Новый вечер готовим,
В пользу...
Ультра-лучизм, светопозы, теософия,
И потом из жизни мученика любопытные
танцы».
— «Да, стоит пойти... Не хотите ли с кофе
Рюмочку голландского?..»

И тогда, возлюбив нас много
И познав земные вечера,
Ты дал нам холодную воду
Из копьем пронзенного ребра.

Вам кричу — пора! пора!
Толстые, тощие,
Нищие,
Выходите на площади голыми!
Не стыдитесь волосиков или прыщика —
Через плоть уж прошел Он.
Глядите сквозь пенсне, сквозь монокли
На эти выси высокие,
На гневный ход
Того, кто грядет!

Гряди,
Явный!
Ибо все воды в твоей груди
Правых и неправых.
Слава тебе, господи, слава!
Вся правда твоя иссякла,
Иссякла вещая речь.
И нет слез, чтоб ныне плакать,
И крови нет, чтоб ею истечь.
И только в тебе для неистовых Савлов
Черный огонь и живая вода!
Гряди! Пришли последние года!
Слава тебе, господи, слава!

Когда Наденька кончила прогимназию,
Был большой праздник.
Маменька вынула чайный сервиз с розанами
(чего лучше),

Халвы купила и тянучек.
А Наденька купила себе корсет с голубыми
лентами.

Ишь!
Уж совсем, совсем Париж!
Некоторые неповторяемые комплименты...

«На тебя, Наденька, одна надежда...
Вот, может, заживу, как прежде...
Замучилась твоя мама...
Как бы ты поскорее того... замуж.
А то умру — ты не пристроена...
И всё такое...»

Маме —
«Я поеду на бал в офицерском собрании!..»
— «Ну, веселись, детка!
Приедешь, верно, голодная — я тебе оставлю
котлету...»

Бал в «Кукушке»,
И у душки
Веснушки.
А он влюблен,
И «шакон».
«В этом мире...»
— Ла-ра-ри-ре... —
«Изнывая...»
— Ла-ри-рая. . —
А после повторял одно грустное,
Это древнее «люблю».
Где-то канарейка отвечала, почти что
по-французски:

«Лью-ю-ю!»
И было в этих «л» столько ливней ясных,
Столько еще не выплаканных слез...
И знала Надя — от этого часа
Не уйдешь...
Раскрасневшись от танцев,
Уже полюбившая, уже нелюбимая,

Она молилась с бокалом шампанского:
«Господи, пронеси эту чашу мимо!»

И напрасно в Божениновском переулке
Мама ждала до рассвета,
И напрасно в столовой стыла котлета...

Над своими птенцами, Рахиль, плачь!
Шибко, шибко несется лихач.
Кто-то сказал: «А, Иван Ильич, вы с дамочкой».
И странно...
«Боярское подворье и гостиница Кастилия».
Где мы жили? Где мы были?
И молились?
И зачем?
Комнату... 47...

Вот она, любовная мука,
И в той же губке тот же уксус,
И тусклая свечка, и портьеры, и «любишь?»,
И где-то маятник,
И нищий, который отдает свои рубища,
Почти что улыбаясь.

На заре подошла Надя к окну,
Видит — пустая площадь,
Едет только извозчик,
И сидит в пролетке голая баба,
И кушает виноград она,
И кричит извозчику: «Поезжай живей!
Дам сотню!
Хочу въехать в рай в собственной плоти!»
И выбегают хорьки
И грызут пальцы на ногах бабы,
И воеет баба от смертной тоски,
И радуется.
А извозчик на козлах поет про то и про это,
Про Иосифа Благолепного,
Про сорок дней в пустыне, про легкое иго,
И как хорошо бы себя постегать вожжами,
И как он, Иван, юбки закидывал,
И как мылся в бане.

А хорьки подпевают: «Слава тебе, любовь,
Хлеб наш насущный!
Слава тебе, искушенная плоть!
Пуще! Пуще!
Вот, вот,
За коготок.
Ах, Амур
Любит педикюр! ..»
Надя пала у окна белого,
Где-то половой гремел щеткой...
И не знала она, что претерпела
И сколько ей еще терпеть остается.
Только сырое небо и крыши,
И с улицы звуки всё чаще,
И в комнате легкое дуновение слышно
Другого, спящего...

«Ведь как же, Наденька... я не в укор,
ты понимаешь.
Но Петр Ефимович согласен, он теперь всё знает...»
И как поздравляли, и как целовали,
И после венчанья эти четверть часа на вокзале.
«Ну, по любви едва ли...»
«Вы хорошо будете спать в купе...»
«Спать? .. э-э! ..»
«Без пересадки».
«Надя, ты забыла свои перчатки...»
И мама ее целовала неловко, зачем-то в ухо,
И глаза у нее были припухшие...
Кто-то крикнул, свистнул жалостно...
И не стало вот...

«Наденька,
Какая ты гладенькая!
И теперь все эти штучки мои...
И-и-и-и...»
Вспомнила Надя, как девочкой говорила маме:
«Не хочу играть с Саней!
Когда вырасту большая, выйду замуж
И буду дама».

И как мать бормотала: «Играй, играй, детка!»
И как она улыбалась жалостливо, редко...

А муж: «У тебя совсем миленький профиль...
Ты со мной не скучаешь? .. В Смоленске будем
пить кофе».

Надя вышла в коридор... Путь так долог...
Едут с ними тысячи проволок
И поют: «Подойди! Отойти!
Мы позади, и мы впереди!»

Взмолилась Надя: «За что ты?
Я не умею иначе, вот я...»

Подошел тогда господин в цилиндре:
«Простите, позвольте представиться — Кики.
Вы никогда не бывали в Индии? ..
А там есть прелестные уголки. . .»
Пошли от господина лучи неистовые,
И совсем он, совсем близко.
И сказал ей еще: «Я тебе не простил
Моей обиды,
Иакова я возлюбил,
Исава я возненавидел...
Ибо ты преступила запреты,
И негодна жертва твоя, —
Иду на человека
Я».

Муж всё хныкал: «Еще немножко! ..
Ты устала, моя кошечка?»

И был поезда грохот:
«За что ты? за что ты?
За то и за это...
Моя и твоя...
Иду на человека
Я...»

Была такая милая,
И кто знает, как это случилось...

Создал двух равных
И одного возненавидел.
Господи, тебе слава,
Ты возненавидел
Исава.
Господи, тебе слава!
Твое дело! твое право!

Еще утром гуляла,
Прибежала: «Мама, я не баловалась,
Глядела папину лошадь...
И, знаешь, у серой кошки...»
— «Ты у меня умница, Глаша».
И снег на гамашах...

Страшно взглянуть на градусник...
Надо...
Да вот взглянуть —
И красной змейкой подымается ртуть.
Старый профессор, выдавший много,
Много Марий у крестов,
Оправил очки, сказал: «Надейтесь на бога!»
Он знал, что значит плакать,
На маленький коврик пав,
Что есть у бога не только Иаков,
Но Исав.

«Уру-уру-ру.
Кто это ходит по ковру?
Это окотилась кошка серая,
И котята бегают.
Кто это ходит по ковру?
Кто это скачет?
Уру-уру-ру.
Мама, отчего ты плачешь?
Разве я умру?
Уру-ру».

И кукла-арапка, и вот эта песня,
И длинная шейка в компрессе,
И как задыхался птенчик,
И как светать стало,
И как подымалось всё меньше и меньше
Тоненькое одеяло. . .

Малые дети пели о болезнях мира,
Обличая лик далекого отца:
«И рабу твою Глафиру. . .»

Было ясное утро.
Легкие дымы от спящих домов исходили.
По первопутку
Живые еще спешили.
Шли пригостишки, неся в больших ранцах
Тягу свою — единицы и «ф»,
Спеша, чтоб к жизни далекой и странной
Не опоздать.
Только на пальцах, запятнанных чернилом,
Мелькали редкие снежинки,
Тая. . .

А Глашу ждала могила
В это утро зимнее,
Когда жизнь только начинается. . .
Шли еще большие гимназистки,
Оглядываясь часто,
Пряча рук своих неуклюжих кисти,
Особенно ласковые. . .
Оглядывались они, будто кто-то их окликал
Сжимали уже ненужные тетрадки. . .
(Завтра бал,
До локтей первые перчатки. . .)

Шагал поп в рясе,
И над папертью церкви черт Афанасий,
С перешибленным носом,
Нюхал — пахло воском.

Поп перекрестился:
«Да запретит тебе господь!»

А дроги всё так же важно и уныло
Раскачивали мертвую плоть.

Когда уходили с кладбища,
Подошел к Надежде нищий,
Но ничего не попросил, так только хныкнул:
«У тебя, жена, скорбь великая! . .
. . И когда вели меня на горку малую,
Носилась моя матушка, как ласточка,
И убивалась она,
И глядела, как били меня и мучали,
И ходила ко всем, и просила, и плакала,
И знала она мои перебитые рученьки,
И на груди знала каждое пятнышко,
И всё видала, как лежу я на соломе
И дрыгаю ножками,
И как в церковь меня вела,
И как играл я, сам я не помню,
И стало ей от всего очень тошно. . .»
И Надежде стало жаль нищего,
За ограду они вышли,
И сели, и друг друга обнимали, сырые,
И играли с чурбаном,
Говорил нищий: «Вот твоя дочь Глафира! . .»
И чурбан говорил: «Как есть моя мама!»
И муж ушел, и все ушли,
И солнце померкло средь мерзлой земли,
А они всё друг друга жалели и жалели,
И грустно пах на снегу раскиданный ельник. . .

Надежда Сергеевна кладет пасьянс в столовой.
Вот и это. . .

Даму на валета,
Тройка трефовая. . .
Самовар заглох.
И, кажется, от канители
Всё заглохло в этом маленьком желтом теле,
Разве остался так только — вздох.

«Барыня, ничего не надо вам? ..»
И всё раскладывает...
Двойку на туза...

Где это? ..
«Лара-рире,
В этом мире...»
И как исчез зал,
И как он сказал:
«У вас в колечке красивая бирюза».
И она ответила, краснея.
«Она похожа... у вас такие глаза...»
И подумала: «Господи, как я говорю так пошло? ..»
Он засмеялся: «Едва ли! ..
Разве бывают такие глаза? ..»
И как потом испугалась своей тени лошадь,
У Тверской, на асфальте...

Да двойку на туза. .
А Глаша говорила: «Звезды это глаза,
Только почему у бога так много глазок?
А я знаю почему! Он смотрит сразу
Много-много...
Ты хочешь, мама, чтоб у тебя были такие глаза?»
Двойку на туза...

Плакала Надежда Сергеевна: «Вот смешаю
Бубна-пики все вместе».
Измывался маятник:
«Бубны, пики.
Огонь и дым.
Съел черники,
Стал святым.
На могиле
Он и черт
Поделили
Вкусный торт.
Не смешаешь,
Дорогая!
Ах, яичко у него для всякого —
Ему слава!

И одно яичко для Иакова,
А другое для Исава».

Надежда Сергеевна плакала тихо, долго,
Зачем-то платочек свертывала и развертывала.
А потом кинулась к иконе Спаса, закричала
По-петушиному бойко:
«Всё вижу я! . .
Вот что — злой ты! . .
Как тебя ненавижу! . .»

Нет больше столовой. Стоит пред Надеждой инок.
Небо крестом, будто землю, роет.
Говорит: «Воистину ты удостоилась.
Женщина, великая сила
В твоей тоске, в твоей обиде,
Ибо ты не усомнилась,
Но возненавидела!»

Видит Надежда, как орел когтит детище лани,
И лань стоит, а орел от любви плачет жаркими
слезами,
И голубь летит, и несет он меч в клюве,
И, сам подстреленный, плещет крылами в испуге.
И ждут они, и прилетает третья птица,
Что крыльями мир застилает и в малом сердце
гнездится.

И видит еще Надежда большой город,
И старая сука, и кровь у нее бьет из горла,
И паршивая, и сосцы тащатся по мостовой,
И страшный идет вой,
И сидят рабочие, и куют железо,
И кушают омара с майонезом,
И говорят: «Хорошо, черт возьми, на свете!»
И черт показывает на провода телеграфные,
И на провода нанизаны подколотые дети,
И смеется черт: «Барышня, возьми три рубля
на булавки».

И господин играет на контрабасе,
И все хотят кинуться в похоти друг на друга,
И на беду все закованы в железные брюки и платья,
И топчутся на одном месте от сильного блуда,

И у баб некормившие груди запаяны,
И пахари с гнилым зерном зря по улицам шляются,
И все подкатывают пушки занятные,
И пушки те как маленькие пульверизаторы,
И всем пострелять очень хочется,
Так что убивают друг друга по очереди.
И кричит кто-то в лавке: «Бархат хороший!
Распродажа!
Ибо последние исполнились сроки!»
Кричит и свое непотребное кажет.

И еще видит Надежда — приходит Кормилица,
Говорит: «Уморились вы?
Двадцать веков была я Невестой,
А теперь кому — Жена, вам — Мать».
И приползают гадюки из леса
Молоко парное сосать.
Припадают к груди и прыгают
Мокрые подкидыши.
А в ресторане задремавший старичок
Кричит: «Эй, человек, счет!
На сегодня будет. . .
Что там? Последний суд?
Не могу — меня к ужину ждут. . .»
И, увидя Мать, цепляется за полные груди.

Молвит Мать: «Вкусите млека!
Ныне не бьется человежье сердце,
Ибо весь трепет от начала света
Приняла я — Мирская Церковь.
Тот, кто вас любя ненавидел,
Кто только вами и жил,
Кто сам носил земные вериги
И даже славу вашу носил, —
Он дал моим грудям набухнуть,
Он ваши губы сделал сухими.
Пейте! Ибо царствие святого духа
Ныне!»

Слышала Надежда, радовалась, пред иконой стоя:
Вот и он, и Глаша, и я — все удостоимся. . .

И как шумела рожь недожатая...
И как старая женщина одна плакала...
И как у Спаса смуглые рученьки...
И как мудро всё и к лучшему...
И приоденусь почище, умру...
И правые просветятся и неправые...
И вот, значит, он любит Исава...
И легко дышать поутру...
И слава тебе, господи, воистину

СЛАВА!..

25—29 января 1916
Париж

Любовь. . . всё покрывает.

Посл. к Коринф. 13. 7

1

Тихо на вилле «Вега» И. С. Михеева
(Игоря Сергеевича).
Вечереет.
Садовник поливает яркне клумбы,
Теплый дух от земли идет.
Бурчит он угрюмо:
«Я ей в морду! . . Экий скот!»
И сладко пахнет гелиотроп.
Игорь Сергеевич грустит на веранде.
Он любит грустить вечерами.
«Вот вечер снова. . .
Как у Лермонтова: «Отдохнешь и ты. . .»
Хорошо быть садовником,
Ни о чем не думать, поливать цветы.
Утром слушать, как поют птички,
Как шумит трава над прудом. . .»

У Игоря Сергеевича две фабрики спичечные
И в бумагах миллион.
У Игоря Сергеевича жена и дочка Нелли,
Он собирает гравюры, он поэт.
Иногда он удивляется: «В самом деле,
Я живу или нет?»
Лет пятнадцать тому назад он умел волноваться,
Читал по ночам Надсона
И думал мрачно:
«Всё брошу, начну жить иначе».

Потом читал Бальмонта
И был влюбленным, неуголенным,
Неожиданно взглядывал на солнце
И богородицу звал «мадонной».
А потом и это надоело.

Игорь Сергеевич ничего не делает —
Так лучше.
А то желать и всё возможно,
И скучно.
Боже,
Только хорошо летними вечерами
Грустить на веранде
И писать стихи, мечтая,
Так нечаянно:
«От жизни утомительной
Я отвращаю взор.
Я уйду в обители
Лазоревых озер».

Вечером у Михеевых гости:
Теософ, кубист, просто шутник
И председательница какого-то общества,
Кажется, «Помощь ослепшим воинам».
Игорь Сергеевич всем улыбается пристойно.
— «Да, покрепче! Еще стаканчик?»
— «И Гоген недурен, но я видел Сезанчика!..»
— «Простите нескромность: сколько он просит?»
— «Десять, отдаст за восемь».
— «О, кубизм! Монументальность!»
Только, знаете, это наскучило.
— «А я, наоборот, люблю, когда вместо глаз такие
штучки...»
— «Вы знакомы со значением зодиака? Я от Штейнера
в экстазе!..»
— «Я познаю господу, поеду в Базель!»
— «Если бы вы знали, как нуждается наше общество!
Мы устроим концерт.
Это ужасно — ослепнуть навек...»
— «Новости? Нет, только взяли Ловчен».
— «Надоело. Я не читаю газет!»

— «Вот, вот! Знаете, есть анекдот...»
Гости говорят еще много —
Об ухе Ван-Гога,
О поисках бога,
Об ослепших солдатах,
О санитарных собаках,
О мексиканских танцах
И об ассонансах.
Говорят, говорят...
И лениво жуют мармелад.
Игорь Сергеевич всем улыбается.
Игорь Сергеевич со всеми соглашается.

На сон читает две странички
«О любовной песне в 13-м веке».
Гасит электричество
И, потягиваясь, сладко шепчет:
«Как я устал! Удивительно...
Я прочел о Мюзэ... до сих пор...
Я ухожу в обители
Лазоревых озер».

Спит Игорь Сергеевич,
Спит госпожа Михеева
Одна на широкой постели,
А на узенькой спит Нелли.
В саду пахнут липы,
И где-то поезд, пролетая, вскрикивает.
Все спят.
Игорь Сергеевич во сне видит сад,
Он поливает из лейки огромные левкои.
И покойно.

Ангел гнева огненным перстом
Не рассеет этот сон!
Спят безгорестные души
В самой сладкой лени.
Им не скажет крик петуший
О великом отречении.
Лишь веток плеск и ветра лёт
Твердят, что час и им придет,
Умирая, страсть познать,

И земле — к земле припасть,
Приобщиться страде mnogой,
Страху человечьему, людской тоске
И предстать перед ликом бога
С горстью праха в скрюченной руке.

2

А вокруг виллы «Вега», не видя звезд,
Не слыша чайных вянуших роз,
Ходит, бродит Семен Дрозд.
С виду — нищий,
На лице нехорошие прыщики.
Семен пьян с обеда.
Очень ему надпись нравится: «Вот как! Вега!
Врешь, Михенч, не уйдешь!»
У Семена Дрозда нож.
Семен хочет убить Михеева.
За то, что Михееву ничего на свете не надо,
За то, что у него две фабрики,
За то, что он, Михеев, носит белые перчатки,
каждый день бреется,
За то, что он — Игорь Сергеевич Михеев.

Сенька мальчиком спал на сундуке, под образами,
А на койке спала маменька.
Вечером приходили гости,
Пили, ложились после.
Кричал гость: «Эй ты, работай!»
И маменька работала.
Один недодал целковый:
«Я тебе дам такого! . . .»

Потом Сенька стащил у барышни платок.
Закричала та: «Обокрали. . . Вот он! Вот!»
Сеньку поучили, визжал он: «Простите Христа ради!»
А барышня плакала в платочек: «Среди бела дня
и грабят!»
Была барышня хорошенькая. . .

А потом в приюте постегали немножко.
Господа приезжали:

«Ты испорченный мальчик,
Надо жить честным трудом».

А потом?
А потом Семен стал Дроздом.
Пил, крал,
Груньку бил, жал,
Груньку, Дуньку, Сашку, Машку —
Баб было много.
Побывал в четырех острогах.
Ограбил банк целый.
Месяц кутил, и всё ему надоело —
Красть, убежать,
В тюрьме сидеть, с девкой спать.
Стал жить чем попало,
Даже не крал, а так — баловался,
Сильно пил.
Летом в лесу возле дач жил,
Собирал грибки
И давил кобелей с тоски.

Семен Дрозд в чайную ходил,
Водку пил,
Глядел на дачи
И решил: «Прирежу кого побогаче —
Вот господина Михеева,
Очень уж млеет он.
Врешь, Михеич, от Дрозда не уйдешь!»

Ходит Семен, у Семена нож.
«Теперь зря: спит, кончится в минутку.
Нет, я лучше, чтоб нам поговорить, — утречком».

3

Утром Игорь Сергеевич брал ванну.
Думал: «Странно,
Как в воде хорошо и всё забываешь...
Вот еще один день начинается...»

Тогда вошел в ванную Семен,
Без сапог, с ножом.

Игорь Сергеевич выскочил из ванны, всё залил
водой.

«Тая, Нелли! Здесь кто-то чужой!
Я не понимаю! Где вы? Ради бога!
Послушайте, что вам угодно?»

Никто не пришел, было слышно за дверьми,
Как играла Нелли «до, ре-дъез, ми».

Семен глядел, как Игорь Сергеевич плакал,
Как с него вода текла на пол,
Глядел на короткие волосатые ноги
И закричал вдруг: «Родненький,
Как же ты... нагишом?»
И бросил нож Семен,
Снял с себя жилетку:
«Вот, прикройся... возьми это!» —
И жилетом его покрыл.
Игорь Сергеевич визжал, звонил:
«Помогите, ради бога! Убивают!
Что вам нужно? Я не понимаю!
Деньги?
Я отдам, я поделюсь со всеми!
Сколько? Я всё заплачу!
Я жить хочу!»

Услыхали, пришли,
Семена Дрозда увели.
О заступница, его увели куда-то,
И осталась на мраморе грязная тряпка —
И остался твой дивный плат!
Они его не хотят!

4

Семена привели в камеру, он харкнул,
Повалился на нары
И уснул крепким сном.
Чудный ему приснился сон —
Видит он: большая улица — ну как Тверская, —
Идет по ней человек согнувшись, что-то тащит,
потом обливается,

Все едут на трамваях, поглядывают,
Что, мол, котомка изрядная,
Поглядывают, посвистывают,
И Семен видит человека совсем близко,
И несет он будто огромный крест,
И крест тот с земли до небес,
И говорит Семену: «Устал я.
Подсоби мне малость».
Проснулся Семен, шепчет: «Всё я снесу!
Господи! Я его понесу,
И если в Сибирь придется,
И если придется в «ротах».
Я могу!
Господи! Я помогу!»
Надзиратель кричит: «Эй ты, потише!
Такой-сякой, чтоб тебя не было слышно! . . .»
Семен Дрозд
Его понес!
Тихо. Под окном часовой ходит.
А там на свободе
Гремят пролетки, звенят трамваи.
День еще продолжается.

Господа!
Молитесь за Семена Дрозда.

15 июля 1916

Всё тех же ветхих ставней переплет.
С Ламанша ветер. Тишина и сырость.
Уплыть? Патруль немецкий не уснет.
Уснуть? Нет сил. И ночи напролет
Андре глядит на город: здесь он вырос.
Не мальчик он, ему семнадцать лет.
А сколько лет Парижу? Очень много.
Париж не выдержал. Парижа нет.
И даже в час, когда дают «тревогу»
И жалких плошек умирает свет,
Парижа небо всех небес спокойней,
Как зеркало, что не смутил покойник.

Каштан твердит каштану: не цвети.
Зачем свечу зажег ты чужеземцу?
Туман прохожего слепит: прости.
И даже женских глаз печальный жемчуг
Закрыт от света. А на свете немцы,
И на Конкорд баварский пивовар,
Луксорскому подобный обелиску,
Твердит: «Я здесь навек». Далекий выстрел,
И ни души. На сизый тротуар
Упал каштана цвет. Мерцает бар.
Вдоль стен сидят скрипучие скелеты,
В серо-зеленую тоску одеты.

Затравленный терзается Дантон,
Он больше не ссылается на смелость.
Что сердце? Препарат. Окаменелость.

Зачем Париж? Чтоб немцу захотелось
Нырнуть из танка в розовый притон?
Участник человеческих комедий,
Косматый астматический Бальзак
На пьедестале мечется и бредит.
Уехать — никуда ты не уедешь:
Тебя на место приведет пруссак.
Из меди женщина кричит: «Мне больно.
Меня когда-то называли Вольность».

Но где Париж? Он в соли на губах,
Чтоб помнили — рукой подать до моря.
Он в щелях, в подворотнях, в погребах,
Он в молчаливом непролазном горе,
Он в грустном нарумяненном задоре,
Он в крохотном горластом петухе,
Что на стене мальчишкой нарисован,
Он хрустнет под ногой, он в чепухе,
Залапан, околпачен, обворован,
Он бьется в перепутанном стихе,
Он в статуе, в ее глазах раскрытых,
В огромных, черных и пустых орбитах.

Прошло уж много дней, не сосчитать.
Привыкли, говорят, и обтерпелись.
Но разве ты привыкнешь, что пришелец
Твою родную обижает мать?
Но разве ты привыкнешь не дышать?
Андре, в какую полночь ты заброшен?
Ты камнем на какое канул дно?
Молчи. Под окнами горланят боши,
Хватают девушек, глушат вино.
О стенку бейся — немцам всё равно.
Она стоит, как нищенка, у входа.
«Кто ты?» — кричит патруль. «Кто я? Свобода».

Вернулась мать: «Что сделать на обед?
Зря прождала — нет больше маргарина.
А немцы всё вывозят. Хлеба нет.
Упала женщина у магазина
От голода. Мне говорил сосед,

Что будто боши навсегда в Париже.
Вчера схватили Жака и Леру.
Я старая, я всё равно умру,
Но хоть бы ты, мой мальчик, выжил».
Андре не слушает, он как в жару:
«Прости меня! Я до любви не дожил.
Я жить хочу. Но Франция дороже. . .»

Король картофельный и скотовод,
Ревнитель рода и знаток пород,
Пурпуровый, лиловый — до удушья,
Он в Померании из года в год
Подсчитывал запроданные туши.
Вели на случку лучшего быка,
Глаза владельца наливались кровью,
И мяла воздух потная рука.
Колол свинью он медленно, с любовью.
Служанок тискал. Но брала тоска,
Тяжелая, как на сердце свинчатка:
Черт побери, в Европе нет порядка!

Вот он в Париже — обер-лейтенант.
Он снят на фоне Триумфальной арки,
Он шлет своим племянницам подарки,
И должен подавать официант
Ему шампанское любимой марки.
Он говорит: «Тебя зовут Аннет?
Девчонки здесь — не отрицаю класса. . .
Но где порядок? Палки нашей нет.
Вот и побили. . . Разве это раса?
Отстали вы на триста добрых лет».
Смеется он, и в смехе том: глядите —
Я немец, я другой, я победитель.

Бывает так: сухой белесый день.
Не дрогнет лист на дереве. Застыли
Дымки над скукой тусклых деревень.
Ни облака. Всё духота и лень.
Вдруг ветер поднял столб горячей пыли,
И сразу тучи — конница небес —
Сгрудились. В лоб! Судьбе наперерез!

Бой орудийный и разрывы молний.
Как будто мир, обидой переполнен,
Возжаждал мести. И на мертвый лес
Стремглав обрушился, речист и дивен,
Серебряный необычайный ливень.

Еще недавно утром: «Не буди», —
Шептал он маме, неуклюжий школьник,
Еще недавно прятал богомольно
Портрет какой-то дивы своевольной.
Что он теперь прижал к своей груди?
Мерещатся ему какие звезды?
Форты Вердена и отец солдат?
Иль, может быть, Парижа черный воздух,
Свинцовый дым давнишних баррикад,
Дома, которые, как он, молчат?
Он не один: его ведет Свобода.
Он здесь. Он слышит гогот скотовода...

За что в него? Не думает беда.
За то, что в кружке солона вода,
Как кровь. За то, что он пришел сюда,
Он грохнулся, как дерево. Андре
Не слышал выстрела: чудесный щебет.
Забыты все слова о сне, о хлебе.
И эти тучи в предрассветном небе,
Как темная сирень на серебре.
И удивленные взлетают брови:
Он никогда не видел столько крови.

Глаза раскрыты. Что в зрачках слепых:
Слеза Аннет? Иль залежи Урала?
От Сены до Днепра еще немало
Зубастых, длинноруких и живых.
Но одного из них сейчас не стало.
И дрозд в саду приветствует дрозда,
В ладоши мальчик радостно захлопал.
Стрекочут, не уймутся провода.
И кажется, что дрогнула Европа,
Зеленая печальная звезда:
Над миром нового грехопаденья
Крылами плещет смутный ангел мщенья.

Допрашивал полковник: «Вашу мать
Зовут Мари-Луиз? ..» Андре отрезал:
«Вы немец. Я не стану отвечать.
«К оружию, граждане! ..» Извольте встать,
Когда поют пред вами „Марсельезу“».
Солдат его на землю повалил.
А песня бьется — ласточка больная:
«К оружию, граждане! ..» Нет больше сил.
Он весь в крови. Лицо приподымая,
Еще поет: «День славы наступил. ..»
«Ты не один. Сознайся. Будет хуже».
И в хрусте еле слышное: «К оружию! ..»

Устали палачи — не опускают рук.
Но крепок дух Андре и ясен разум.
Полковник жадно ловит каждый звук,
Глядит и не моргает мутным глазом,
Молчит, грызет изгрызанный мундштук.
Не солдафон — философ и психолог,
Он знает: путь признанья очень долог.
Он подождет еще. Огня! Иголок!
«Меня, мой милый, обмануть нельзя.
Ты не один. Но кто твои друзья?»
Ни страха нет, ни смерти, ни сомнений.
«Я не один». — «Но кто с тобою?» — «Тени».

Какие тени он припомнить мог?
Пастушку на коне? Роланда рог?
Иль батальон марсельских ополченцев,
Которые без хлеба, без сапог
Пошли на всемогущих чужеземцев?
Быть может, он увидел вдалеке
Другие тени, что едва заметны
На африканском выжженном песке?
Вот самолет с кокардой трехцветной,
Вот франтирер с гранатой в руке.
Нет, видит он, как на стене беленой
Трепещет тень взволнованного клена.

Деревья Франции, вы вековые
Могил и колыбелей часовые,

Вы здесь, вы не оставили поста,
Платаны и смоковницы густые
С узором сложным тонкого листа.
На площади Парижа, дик и страстен,
Томится вяз. Он помнит: пушкари
Коммуну защищали. Страж зари,
В долине ночи голубеет ясень,
Под ним рыдала Эмма Бовари.
Свидетели былой любви и славы —
Прозрачные французские дубравы.

Поморщился полковник: «Что за бред?
Раскис мальчишка. Он — ровесник Ганса,
Ведь моему, никак, шестнадцать лет. . .
Конечно, жаль. . . Но так устроен свет,
И состраданье не к лицу германцу.
Не для того меня носила мать,
Я фюрером не для того отмечен.
Жалеть — тогда не станешь воевать. . .»
За грудь схватился: разгулялась печень.
И закричал: «Мне надоело ждать!
С кем ты вступил, глупец, в единоборство?
И сколько вас таких? Десяток. Горстка.

На четвереньках маршал. Перестал
Петух твой галльский глупо кукарекать —
Свернули шею, повар ощипал.
Остались курочки. Довольно некать!
Что Франция твоя? Этап. Привал.
Мы на Кавказе. Мы в горах Эпира.
Повсюду мы. Изволь раскрыть твой рот,
Ублюдок и несчастный сумасброд!
Ты руку поднял на державу мира.
В ногах валяйся, пигалица, крот!
На Волге мы. На полюсе. В Египте.
Смеешься, идиот? А ну-ка, всыпьте! . . .»

Андре один. О чем еще сказать?
Что молод он? Что жить ему хотелось?
Есть времена, когда старуха-мать
На смерть благословляет сына. Смелость
Перестают, как воздух, замечать.

Завидной кажется судьба солдата,
Когда бежишь и веришь — добежишь,
Когда кругом свои. Огнем объята
Земля. И крикнет за тебя граната.
Андре один. Пред ним молчит Париж.
Ночь коротка. В оконце дышит лето.
А жить ему осталось до рассвета.

Бывало, в полночь продавцы газет
Кричали про злосчастного Отелло.
В кафе смеялись девушки. Поэт
Писал о смерти. И осиротелой
Казалась роза. Газа едкий свет
Слепил глаза. У стойки рюмку выпив,
Бродяга говорил звезде «прощай».
Пекли хлеба. Кричал на линотипе
Терзаемый несчастьями Китай.
И круглый год везли на рынки май —
Цветы и овощи. Париж запоем
Дышал бензином, пудрой и левкоем.

Другая ночь теперь. «Эй, кто там?» — «Свой».
Не свой — чужой, немецкий часовой.
Гроба домов. Пустые щели улиц.
Он где-то здесь, и он еще живой,
Париж, веков распотрошенный улей,
Он шепчется в надышанной норе,
Где девушки печатают листовки
О подвиге бесстрашного Андре,
Он зарывает в цветнике винтовки,
Он крадется с ножом. И на заре
Унылый мусорщик увидит снова
Среди отбросов тело часового.

«Светает. Где-нибудь трава в росе.
Я вижу, мама, как ты горько плачешь.
Прости меня, но я не мог иначе.
Щекой прижмусь к твоей щеке горячей.
Я не один, со мною ты и все.
Я прежде думал, что она из меди,
Но теплая она, как хлеб, как свет.

Сказали немцы: «Смерть», а смерти нет.
Ты поклонись деревьям и соседям
И всем скажи: в последний мой рассвет
Свободу видел я — вот здесь, у края.
Прощай, любимая! Прощай, родная!»

Неясный час, для многих роковой,
С его густой молочной синевой,
Родильных схваток час и в лазаретах
Агонии, ужасный вестовой
Судьбы, неотвратимый час рассвета.
Врывается безумной птицы крик
В большую брешь разорванного мрака.
Проснувшись, дети начинают плакать.
Жестокий час. Бойцы идут в атаку,
И вот один к сырой траве приник.
Андре вели по смутным коридорам.
Он вздрогнул, увидав любимый город.

Чуть розовеют серые дома.
Кафе. Цветочный магазин. Харчевня.
Здесь карусель сводила всех с ума.
Хлопушки, поцелуи, кутерьма,
И кто-то пел: «Париж, моя деревня...»
Париж, моя деревня, погоди!
Закрыты ставни. Спит великий город.
Связали руки, расстегнули ворот.
Что бьется в каменной его груди?
Какие страсти видит впереди?
Он всё такой же, молодой и древний.
Прощай, Париж! Прощай, моя деревня!

О хлебе молят: злаки славословь.
Он ничего не создал. Меткой рыжей
На выжженной земле осталась кровь.
Он умер потому, что есть любовь,
И потому, что родился в Париже.
Обычный день. И, как в другие дни,
У булочных застыли парижанки.
Покорные, работают они
Для немцев этот виноград и танки.

Но ты остановись и загляни:
В большом зрачке — Андре отображенье —
Глубокое и темное волненье.

Кто знал подростка робкого Андре?
В Савойе он — винтовка на горе,
В ноже садовника и в топоре,
Он в мастерице раздувает ярость,
Его дыханье надувает парус,
И рыбаки на грозный пулемет
Меняют голубой, прозрачный невод.
Он заряжает пистолеты гневом,
Зеленой веткой он в окошко бьет,
Твердя, что смерти нет, что он живет.
Песок ступнями легкими исчерчен,
И нежный след большой любви бессмертен.

Так, горе глубоко тая свое,
К чужому человеку, скрыта мраком,
Она пришла: «Теперь я знаю всё.
Я не затем сюда пришла, чтоб плакать.
Я — мать Андре. И ты мне дай ружье».
Так не стерпел Тулон, и ночью поздней
Кричали потрясенные суда,
И уходили в горы города,
И гневом налились Шампани гроздья,
И небо жгла альпийская вода.
Парижа вечер, мокрый, сизо-синий,
Заполнен легкой поступью Эриний.

Полковник позабыл про тот допрос,
Он на своем веку пытал немало.
Но почему не спит он? Что с ним стало?
Припадки печени? Иль, может быть, склероз?
Иль только нахлобучка генерала?
Он душится, но всюду слышит смрад.
Он пьет ликер — во рту всё та же горечь.
Он говорит: «Проклятый Сталинград!
Французы — сброд. Их всех не переспорить.
Не перевешать всех. Пора назад!

Откуда вонь? — И он смеется тупо. —
Как будто от меня. А запах трупа. . .»

Война! Война! Закончился парад.
Их зимний ветер из Парижа вымел.
«Куда ты?» — «Говорят, что в Сталинград».
— «И я туда. Россия — сущий ад.
Оттуда нам не выбраться живыми».
Угрюмые, они идут гурьбой,
Приказчики, доценты, пивовары.
Давно ль они рассорились с судьбой?
Не тешат их ни вина, ни омары.
Куда везут их? Боже, на убой!
Там далеко, над степью синеватой,
Как пламя, занимается расплата.

Читали: необъятная страна,
Там жил Толстой, там водятся медведи.
Теперь Парижу близкая она.
Как был бы мир и будничен и беден
Без сердца русского! Идет война,
Родную, теплую терзает землю.
А люди стали строже и добрей.
Париж не дышит, он среди ночи внемлет
Ужасной песне волжских батарей.
Любовь, ты бездыханных отогрей!
Они погибли среди степных просторов
За отчий дом и за далекий город.

Бывало, здесь дремали поплавки
Мечтателей и ворковали пары,
Здесь букинистов прятались ларьки,
Внимая звукам дивного Ронсара,
Губами шевелили чудаки.
Зачем солдаты жадными крюками
Обшаривают дно? Спроси химер,
Они смеются мшистыми губами.
И, обливаясь черными слезами,
Со дна встает застенка кавалер,
Смердящей смерти крохотный любовник,
Заколотый Эринией полковник.

Настанет день других, сердечных слов,
Глубокого таинственного мира.
Зажгут огни. И снова рыболов
Уснет в тени. А воробей-задира
Влюбленных высмеял и был таков.
Настанет день — домой придут солдаты,
И девушки при виде первых звезд
Не вспомнят бомб жестокие раскаты.
И о любви дрозду расскажет дрозд.
Настанет день, загадочен и прост,
Когда, забыв про танков дикий скрежет,
Париж победы первый хлеб надрежет.

Тугие гроздья срежут в октябре
Там, где весной еще сновали мины.
Париж отстроится. На пустыре,
Где, кровью обливаясь, пал Андре,
Распустятся большие георгины.
Другие песни будут дети петь.
Но нет, оно не может умереть,
Любви высокое воспоминанье,
Короткое горячее дыханье,
На час согревшее больную медь.
Подруга юности, любовь народа,
Бессмертная и чистая Свобода!

1943

Приподнял бубен полоумный трагик,
И кровью нарумянен балагур.
Ходи весь день — ты не узнаешь Праги.
Чередованье восковых фигур.
Закат — и тот из розовой пластмассы.
Большого города привычный вид.
Стеклянный взгляд. Картонные колбасы.
Ни драки, ни проклятий, ни обид.
Жди до утра — ты не дождешься часа,
Когда продрогший камень закричит.
О, если бы снаряды, бомбы, пули!
Но нет — порядок, тишина и гладь.
А где слова? Они переметнулись,
И Праге больше нечего сказать.

А прежде здесь, в клубке гремучих улиц,
Средь деловитых, суетливых встреч,
На перекрестке, где века столкнулись,
Где трудно было душу уберечь,
Вдруг потрясала нотой необычной
Славянская медлительная речь,
Как будто промелькнул в толпе столичной
Крестьянской девушки цветной платок.
В той интонации, от всех отличной,
Жила Свобода. Ты услышать мог
Мечту простого доброго народа.
Приспущена ущербная луна,
И часовым у черного прохода
Стоит, не шелохнется тишина.

Дворы какие! В них и солнце спрячешь.
Стена и снова двор. Полно собак.
А сколько тут сапожников и прачек!
Плетется кучер в плохонький кабак.
Цилиндр на гвоздь. «Хозяюшка, налей-ка...»
Он Франц-Иосифа честил, да как!
Ты слышишь голос дорогого Швейка:
«Вот только умер, снова началось...»
Я об одном прошу тебя: не смейся.
На эту жизнь у нас не хватит слез,
Не хватит крови. Вывесили список
Расстрелянных. Уж догорел ночник.
От тусклых букв состарился и высох
Степенный, молчаливый часовщик.

Все знают, часовщик не скажет слова,
Он только слушает: часы идут,
И одному не обогнать другого,
Вот столько-то отмерено минут.
Часы седельщика, веселого соседа,
Он говорил: «Проверь-ка — отстают».
Он — в списке том. Быть может, напоследок
Он думал, что часы всегда спешат?
Его убили. Чем он виноват?
Что он не жаловал чужих солдат?
Что пошутить любил? Что вырос чехом?
Часы разобраны. Ночник потух.
И вдруг смеется сумасшедшим смехом
Не вовремя разбуженный петух.

Сапожнику сейчас не до колодок.
Утюг остыл. И молоко бежит.
Что в радио? Взамен немецких сводок
Вдруг раздается: «Прага говорит.
Я говорю, седельщик. Пирамид
Не видеть им. Стерлядок не откусать:
Им русские землей набили рот.
Они хотели вывернуть мне душу,
Но я, седельщик, жив. И жив народ».
Детишки раскричались у ворот.
Смеется мир, зеленый и пернатый.

Но вдруг сапожника взяла тоска,
Он выглянул, он видит, как солдаты
Стучат прикладом в дверь часовщика.

Где передатчик? Тайны не распутать,
И пытками его не испугать.
Он знает, что отмерены минуты,
А смерть — одна, как родина, как мать.
«Скажи, куда ты спрятал передатчик?»
Еще последний теплится закат.
Он говорил для голубей, для прачек,
Для белых сел, для голубых Карпат.
Ударь ножом хрусталь, и тот заплачет,
А люди притаились и молчат.
Он слышит — музыка той дивной речи
Еще живет, вибрирует, звенит. . .
Он умер на рассвете. В тот же вечер
Раздался голос: «Прага говорит».

Звенел девический высокий голос,
И молодость, пронизывая тьму,
С невыносимой тишиной боролась,
Как ласточка, что залетит в тюрьму,
Как в громе боя жаворонка щебет,
Что путь откроет к сердцу твоему.
Даждь нам! Молчи, не о насущном хлебе —
О крови молит: только кровь врага!
Пусть вспыхнет дом! Пусть высохнут луга!
По городам она идет, по селам.
Ее встречают пулей, бомбой, толом.
Кричат разодранные поезда.
И девушка кричит, как дикий голубь
Над горем разоренного гнезда.

Я славлю, тишина, твое звучанье,
Казалось бы, бесчувственный эфир,
Его мучительные содроганья.
Клянется Осло. Молится Эпир.
Коротких волн таинственные сонмы,
Подобны ангелам, обходят мир.
Средь одиночества злосчастных комнат
Они щебечут, клекчут, вороват:

Разбойный Любек истерзали бомбы,
Но жив и не сдается Сталинград,
Он говорит: «Крепитесь! Стойте насмерть!»
То девушка из Праги говорит.
Ее когда-то называли Властой,
Теперь она — трава, песок, гранит.

На свете девушек таких немало,
Они живут, как птицы, верещат,
Малиной пахнут губы, шарф примят,
Рука, чтоб помнил, рот, чтоб целовала.
Доверчивый, чуть удивленный взгляд.
Она когда-то шила и мечтала,
Свиданья назначала на углу
И вглядывалась в розовую мглу.
Пришел тот день. И воздуха не стало.
Шитье лежало долго на полу.
Бил барабан. И немцы шли. С любовью
Она простилась. Перед ней гроба.
Не о любви она твердит — о крови,
Слепая, ненасытная судьба.

«Глушить сильнее! Ей не страшны помехи.
Поймать девчонку! Не жалеть наград!
Что скажет фюрер? Обнаглели чехи.
В лицо смеются: «Взяли Сталинград?!»
Достать! Обшарить весь протекторат!»
Он побледнел, он вспомнил: «Умирая,
Железный Гейдрих озадачил всех,
Он плакал, как дитя. Опять шальная
Кричит. И крадется проклятый чех...
Что стоит череп расколоть? Орех!
Потом напишут некролог. Бумагой
Не воскресить. Другой возьмет жену.
Поймать! А воздух выкачать! Над Прагой,
Как потолок, поставить тишину!»

Нет тишины. У микрофона горе;
Дыханье девушки, вся сила слов, —
Их не догнать, не сжечь, не переспорить,
Их нет, но ими дышит каждый кров.

Что им штыки? Они сильнее штыков —
Язык великодушного народа,
Нерукотворный и живой кумир.
Зеленая ветвистая Свобода
Опять обходит затемненный мир.
Она, как дождь, сухую будит землю,
Звучаньем древних слов окрылена.
Бери ружье, а ноги в стремя!
Ты сотворил Свободу не затем ли,
Чтоб быть большим и чистым, как она?

Прекрасный рот, он создан был для счастья,
Для поцелуев. Сжат он. Лоб в крови.
Палач уныло повторяет Власте:
«Кто надоумил? Шайку назови».
Над Прагой тишина. И снова вечер.
Теперь не говорить, но умереть.
И в голые девические плечи
Еще впивается тугая плеть.
«Кто подсказал тебе слова, ответь?»
— «Ты не поймешь. Слова живут на свете.
Часовщика убил ты, не слова.
Кто подсказал? Не знаю. Встречный ветер.
А может быть, весенний дождь, и дети,
И Прага, и еще трава, трава. . .»

Ей детство вспомнилось: «Дунай» шарманки,
Акация, раскрытое окно. . .
Над горем взбалмошной американки
Она тихонько плакала в кино.
Какой она тогда была девчонкой!
Но день придет, обыкновенный день,
Другая девушка, нырнув в сирень,
Отыщет счастье, чтоб смеяться звонко,
И целоваться, и шептать спросонок
Любовную святую дребедень
Она была, как все. Такой поверьте.
А дивные слова еще звучат. . .
И Власта входит в темный холод смерти,
Как в полный свежести зеленый сад.

Он вытер лоб фуляром. Наконец-то!
Ведь сколько было от нее хлопот.
Зарыть поглубже, там девчонке место,
Покрепче ей законопатить рот.
Ты, Прага-деревенщина, сознайся —
Спокойней с нами: мир, протекторат.
Работайте, живите жизнью райской.
А фюреру — ура! Он будет рад.
Теперь большевики, масоны, мыши
Хвост подождут, исчезнут, замолчат.
Он у окна сановной славой дышит.
Протектор он, неуязвимый щит.
Зачем приемник он открыл? Он слышит
Всё тот же голос: «Прага говорит».

«Я — часовщик. Я — девушка. Я — некто».
Он мечется. Убрать! Закрыть окно!
Шутить он не позволит: он — протектор.
И мертвым говорить запрещено.
Слова летят, они над ним, как птицы,
Они клюют, стрекочут и когтят.
Где часовые? Некуда укрыться.
Слова внутри, как дурнота, как яд.
Приема нет! А мертвецов глазницы,
Пустые дыры, на него глядят.
«Я не могу. Ведь даже Гейдрих плакал...
Спасись! Уйти! Уплыть на острова!»
Он корчится. Он повалился на пол.
И всё звенят ужасные слова.

Кто говорит? Сапожник. Белошвейка.
И каждый двор. А мертвецов не счесть.
И кучер говорит, приятель Швейка,
И рудокопа родовая честь.
Кто говорит? Гуситский старый Табор
И Мельника веселая лоза,
Цветистой Детвы молодые бабы,
Что за войну проплакали глаза,
И Злина дым, и пастухи Оравы.
Кто говорит? Над Лидице гроза.
Ты руку подыми, и станет светлой,
Порозовеет, как заря, ладонь.

Дохни, и вырвется из горсти пепла
Крылатый, легкий и большой огонь.

Прости, Свобода! В прежней жизни часто
Твои шаги глушила славы медь,
И думала ли хохотушка Власта,
Что за тебя придется умереть?
Казалось всё простым: и свет, и звуки,
И мрамор статуй на большом мосту.
Она не знала, сколько нужно муки,
Чтоб выстрадать такую простоту,
И бились окровавленные руки,
Как крылья птицы, сбитой на лету.
Но никогда так не блистали звезды,
Так не цвели спаленные луга,
И прежнего милее черный воздух,
И каждая былинка дорога.

1943

ТРАГЕДИЯ
В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Альда Романьес	2-й судья.
Диего Романьес, ее брат.	Старый рабочий.
Луис.	Молодой рабочий.
Граф.	Бабка.
Духовник.	Нищий.
Поэт.	1-й повстанец.
1-я барышня.	2-й повстанец.
2-я барышня.	3-й повстанец.
Дама.	4-й повстанец.
Тереза, старая служанка в доме Романьес.	Женщина с ребенком.
Хорхе Гонгора.	1-й прохожий.
Педро	2-й прохожий.
Пабло	3-й прохожий.
Родриго	1-й часовой.
Комендант трибунала.	2-й часовой.
1-й судья.	Повстанцы, зеваки, солдаты.

Действие происходит в городе Картагене в 1873 году.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Площадь города. В глубине дворец правителя с большим балконом.
Ночь.

Нищий

Ох, ветер, ветер! . .
Никого не встретишь.

(Прислушиваясь.)

Палят. Тоже, работают!
Ведь ветер какой, и кому охота? . .

Третий день, мука чистая...
Как кто кого увидит — обязательно
выстрелит...

С разных сторон выходят повстанцы.

1 - й повстанец

Ни зги.

Кто там? Свои? Враги?

2 - й повстанец

Кто там? Отвечай!

3 - й повстанец

Стреляй!

1 - й повстанец

Вы кто? За кого?

2 - й повстанец

Мы-то? Мы за народ.

1 - й повстанец

Ишь, что несет! Теперь все «за народ».

3 - й повстанец

Чего там разбирать —

Стреляй!

(Наводит винтовку.)

1 - й повстанец

Стреляй!

Ура! За федерацию!

2 - й повстанец

Фе-дерацию? Черт побери, да ведь это наши!

3 - й повстанец

А ты толком спрашивай.

1 - й повстанец

Жутко — как бы ихних не встретить.

Ни щ и й

Ох, и ветер же, ветер!..

3 - й повстанец

(Нищему)

А ты чей?

Нищий

Я вроде как сам по себе, то есть ничей.

Мы люди мелкие, бедные. . .

Вбегает 4 - й повстанец.

4 - й повстанец

Победа! Победа!

2 - й повстанец

Ты кто? Отвечай!

4 - й повстанец

Сдавайтесь! Мы победили!

Долой насильников!

3 - й повстанец

Стреляй!

4 - й повстанец

Чего тут стрелять! Победили!

Нищий

Как увидит — выстрелит.

1 - й повстанец

Кто победил?

4 - й повстанец

Мы, федералисты!

Крики: «Да здравствует революция!» Чей-то одинокий возглас:
«Долой!» На площадь приходят рабочие, прохожие, старуха.

Нищий

Вот сейчас подерутся!

4 - й повстанец

Кто кричит «долой»? Держите его!

Прохожий

Это я кричал «долой короля и всех
притеснителей».

Нищий

Еще будут драться.

1 - й повстанец

Не надо поддаваться!
Это провокация!

4 - й повстанец

Сам Гонгора сказал, что подписана сдача.

(Старику.)

Ты чего плачешь?
Радоваться надо.

Старик

(испуганно)

Так я не плачу... Это от радости...

(Про себя.)

Что будет с нами?
Что будет с Испанией?
Тридцать лет я рубился под этим знаменем...

Бабка

Что-что, а картошка дешевле будет, по-новому,
значит.

1 - й повстанец

Гражданка, вы удивительно несознательны!

2 - й повстанец

Провокация!

Прохожий

Кто провокатор?

2 - й повстанец

Смерть провокаторам — топить их надо.

Педро

Граждане, не омрачайте нашей радости!
Ведь это великий праздник.
Новый мир...

Прохожий

А позвольте вас спросить, какая разница?

2-й повстанец

Можно по пальцам сосчитать:
Вот ты получал два песета, а теперь будешь
получать пять.

Молодой рабочий

Каждое слово — молитва... Братство... Слышите:
братство...

Свободная коммуна... Федерация...
Какой свет!

Нищий

Тьма кромешная, а ему свет!

Старый рабочий

Сорок лет подымал я тяжелый молот.
Подымал, опускал, проклинал я долю мою,
Теперь я волен, гол и молод,
Звезды расплескаю, души раскую.
Гонгора разбудил нас, как крик, как плач.

1-й повстанец

Гонгора — на горе первый трубач.

2-й повстанец

Гонгора — моря гул протяжный.

3-й повстанец

Гонгора — петух на страже.

Старуха

Пресвятая дева, Гонгора — пророк.

Молодой рабочий

Гонгора — на заводе безумный гудок.
Он звал дремавших нас,
Он слал гонцов за нами.

Кто-то спросил: гудок... который час?
И он ответил: это час восстанья!

Педро

Граждане, Гонгора сейчас будет приветствовать
победивший народ,
С этого балкона.

Женщина

(подымает ребенка)

Гляди! Он сейчас придет.
Гляди и запомни — ты видел Гонгору.

Ребенок

Это король? Или папа?
У него на мантии алмазы?

Женщина

Нет, это только святой каторжник.
У него от цепей на теле язвы.

Входят Альда и Диего, закутанные в плащи с капюшонами.

Диего

Уйдем отсюда, нас могут заметить,
И потом, холодно... ветер...

Альда

Нет, я хочу посмотреть этого шута исступленного,
Ведь они им бредят: «Гонгора! Гонгора!»

Диего

Но это неблагоприятно... Толпа возбуждена... Что
за охота...
Ведь если нас узнают — будет плохо...

Альда

Нас не увидят... темно...
И потом, я не уйду... всё равно...

Входит Гонгора. Приветственные крики: «Гонгора! Гонгора! За-
жгите факелы!» Все факелы, кроме одного, гаснут на ветру.

Ничий

Ишь, ветер гасит.
Один горит...

Женщина
(ребенку)

Это Гонгора — смотри!

Гонгора

Они сражались под знаменем смерти,
За банки и за замки, за чины, за гербы, за могилы.
Мы за жизнь умирали, дышит дерзкое сердце
Тем, что еще не свершилось.
Мы за нерожденное, за непришедшее, за то, что только
будет.

За то, чего, может быть, никогда не будет.
Прекрасен град обетованный,
Но еще прекрасней дикий путь.
Праздновать рано.
Нельзя передохнуть.
Дальше! Дальше! Надо торопиться!
Дальние братья, восстаньте!
Пусть наши крики — быстрые зарницы —
Вспыхнут на небе усталой Франции.
Всюду враги! Столько измен!
У Железных ворот еще бой. Король послал войска
на Картаген.

У них золото и поэты, пушки и адвокаты.
У нас только руки, и цепь на них еще гремит.
Но если все огни погаснут — вот этот малый факел
Ярче вспыхнет и зажжет горячий мир.

Диего

Уйдем! Я не могу больше! Слышишь,
Как он морочит этих нищих! . .

Альда

Обожди еще! . . Диего, а что, если мы погибли?
Нет, но мы накануне. . .
Помнишь — в Библии
О таком священном безумии. . .

Диего

Ты бредишь? Надо идти! Оставаться дольше глупо,
И перед нашим делом преступно.

Молодой рабочий
Браво, Гонгора! Сердце солнца горячей!
Им не залить угли-глаза!

Старуха

Браво! Браво! Теперь мы будем жить почище богачей,
Если только не отнимут назад.

Голоса: «Гимн! Гимн!» Толпа поет.

Хор

Довольно ива клонила тяжелую ветвь,
Сердце стыло в глуби.
Жить — это петь,
И любить, и убить.
Рассыплем святцы — золотые бусы,
Звезды раскидаем по небу,
Чтобы было весело и пусто
Новым людям в старом доме.
Мудрецы, берегитесь! Нынче пляшут дети,
Над вашей мудростью смеются,
Это — ветер, ветер, ветер,
Революция!
Еще столько стран, где пламя не вспыхнуло.
Но что нас сегодня удержит?
Эй, встречный, дай мне летучую искру —
Я зажгу мое легкое сердце.
Бей же крылами, безумный петух!
Гори, лети от края до края,
Чтоб во веки веков не потух
Пожар, что в ночи разгорается.
Знамя в кровь опусти и вздыми — факел ярости светит,
И с него кометы дерзкие льются.
Это — ветер, ветер, ветер,
Революция!
Сколько весен еще, сколько буйных лун!
Любите! Рубите! Крушите, пока не поздно!
Вытопчи землю, ликующий бунт,
Очерти небеса красноперыми грозами!
Ничего не оставим! Дальше! Дальше!
Мы не были, нет нас, мы только будем. . .
Приплывем и причалим и снова отчалим,
Нет у нас отчизны, кроме вьюжной вьюги.

Слышите: стало по-новому на свете —
В хороводы народы плетутся, несутся и бьются.
Это — ветер, ветер, ветер,
Революция!

Диего

Пародия! Гимн разбойников!
Можно ль сравнить его с нашим!

Альда

Да, наш торжественный, спокойный,
А от этого страшно.

Диего

Идем! Я чувю что-то недоброе.

Альда

Обожди! Еще минуто... ради бога!

Гонгора

Быть может, среди вас есть сторонник централистов?
Пусть он открыто выступит,
Пусть защитит короля перед всеми.
У нас свобода мнений!
Нет никого? Я думал, что мои противники смелее
И говорят не только перед своими лакеями.

1 - й прохожий

Они трусы! Как что — «мы, то есть, отстраняемся».

2 - й прохожий

Хоть лев на гербе, повадки заячьи.

Диего

Неправда! Они воины!..

Альда

Диего!.. Господи!.. что это?..

Диего

(Гонгоре)

Ни ты, ни я — мы не искали этой встречи.
Судьба свела нас. Я тебе отвечу.

Есть мудрые законы Бытия:
Стройно светила текут, мерно растет придорожная
травка.

Весной зеленеют горькие поля,
Чтоб вздымались цепи опоенного августа.
Есть день и ночь. Покой. Предел. Крепка земная
твердь.

Ты можешь изменить названья, карты, флаги.
А усталость? А роздых? А смерть?
Разве ты с ними сладишь?
Меняй иль не меняй — земля не знает перемены...

Гонгора

О, как я ненавижу вашу землю!
Надо мной пустые небеса — звезды отсветившие.
Подо мной земля, в ней гроба, кости, истлевшие кости.
Я боюсь ступить по земле! Вся земля — кладбище.
Не хочу ни смерти, ни сна, ни осени.
Только март я люблю, и гром, зеленый гром,
И еще люблю — проснуться слишком рано...
Мы ведь мир перестроим заново,
А если не сможем — из мира уйдем.

Диего

Тебя ведет только зависть и злоба.
Ты кричишь, а солнце сияет, как прежде...

Гонгора

Что ж! Если надо, я выстрелю в солнце!..

Диего

Ты не мятежник, не преступник, нет,
Просто слепец.
Да, можно свергнуть короля, но обывателя, что жаждет
хлеба и покоя, — его не низложить.
Он трижды прав за кувшином вина в уютном доме.
На кого ты восстал? На жизнь,
На гармонию.

Гонгора

Гармония, законы и права —
Какие непонятные слова!

Кто-то во мне подымается грозный, нечаянный.
Их много — я один. Всё равно. Пусть конец.
Я молчать не могу. Ветер и во мне.

(Толпе.)

Рабы, вы прах, вы пыль! На миг вы возмутились,
Чтобы потом на землю пасть. Всё это так старо...
Я слабый человек, но я кричу: «Да здравствует король
Леона и Кастилии!»

Смятение. Враждебные крики. Толпа обступает Диего.

1 - й повстанец

Провокатор!

2 - й повстанец

Мадридская собака!

Педро

(заглядывает в лицо Диего)

Ах! Это Диего Романьес, главарь аристократов...

Прохожий

К стенке! Куда ты, куда!..

Педро

Он умрет как враг народа, но нельзя ж без суда.

Прохожий

Мы слишком долго ждали!

Педро

Граждане, подождите полчаса — ведь суд простая
формальность.

Прохожий

Мы не можем ждать! Смерть роялистам!

Нищий

Вот-вот сейчас выстрелят!

Педро

Гражданин Гонгора, по-моему, его придется увести —
Опасны эти бредни.

Гонгора

Ведите!.. Устоять он думал на моем пути...
Вот крест... О, если бы последний!..

Диего уводят. На сцене остается Гонгора, Альда и на ступенях балкона нищий.

Альда

Скажите, что они сделают с братом?

Гонгора

Ах, это ваш брат!.. Не знаю...

За сценой голоса: «Смерть, смерть аристократам!»

Альда

(про себя)

Зачем я здесь, с этим сумасшедшим?

Просить некого, говорить нечего...

А ноги будто приросли к этому камню...

Уж я — не я... Кто-то несет нас... Играет нами...

(Гонгоре.)

Что они сделают с братом?

Гонгора

Я уж сказал... суд, строгий суд народа, должна
расплата...

Альда

За что? За прямоту? За то, что он толпе не льстит?

Гонгора

За то, что мы летим, а он стоит.

«Да здравствует король» —

Это грязное, захватанное серебро,

Придворные, вино из Хереса, а у голодной матери

Младенец тянется к груди иссохшей... слабее...

слабее...

Берегитесь! Тысячи мертвых младенчиков синими

ручками схватят

Это нежное кружево на вашей девичьей шее.

Девки из порта, которые спят каждую ночь с дюжиной

матросов,

Грузчики, что плюются кровью, надрываясь,
Скорняки, вшивые, мозолями, как гнойной корой,
обросшие...

Впрочем, это вас мало занимает!..
Ваш брат хотел «восстановить порядок»...
Для нас это виселицы, для вас заслуженный отдых,
балы и награды.

Он знал одно: на помощь банды короля идут.
Придут ли? Посмотрим!.. Теперь пусть узнает наш
суд!

Альда

Никто из нас не знает, что впереди.
И кто вам дал право судить?
У каждого своя правда, каждый господа по-своему
славит.
Почему вы уверены, что только ваш путь — правильный?

Гонгора

Был рай Христа в голубеньком небе, с розовыми
ангелочками,
А ваш брат устраивал еще собственный рай — чего
лучше —
За бутылкой ликера, с танцовщицей, ночью...
Один рай для жизни, другой, Христов, на всякий
случай...

Наш рай — дорога в край,
Куда нельзя никогда прийти,
Нет рая выше, чем борьба за рай,
Нет счастья слаще, чем всегда идти.

Альда

Но если люди в этот рай идти не захотят?
Что, если им милей привычный с детства ад?

Гонгора

Я их заставлю! Я сожгу их затхлый дом.
Слепцов надо в рай загонять бичом!..

Альда

В рай загонять?.. Вы не смеетесь?.. О, как я тебя
ненавижу!..

(Идет к нему, всходит на ступени веранды.)

Но отчего меня влечет к тебе и ты всё ближе?
У тебя твоя правда, не моя, другая... Ведь есть
тысячи правд.
Может быть, я ее узнаю, не теперь, потом, отстрадав.

Гонгора

Мне жаль вас, ваш отец академик, верно, профессора и
адвокаты нянчились с вами,
Но вы бедны и темны, как наша Испания.
Вы не знали движенья, волненья, творческих мук.
Вы как земля, которую еще не взрезал плуг.
Читаете «Подражанье Христу», вас убаюкивают монахи
хитрые —
Ученики проклятых инквизиторов...

Альда

Вы мне напомнили... У нас в галерее есть старый
портрет,
Вы так на него похожи,
Тот же дикий рай в глазах, жестокий свет,
Такие же руки ропотные и тревожные...

Гонгора

Кто ж мой двойник? Беспечный поэт? Каторжник? Иль
шалый капитан?

Альда

Главный Инквизитор отец Хуан.

Гонгора

Я?.. Инквизитор?.. Нет! Послушайте... Лицо порой
обманывает:
Вот вы не похожи на светскую даму.
В вас тот же огонь... Вы могли быть с нами.
Но вы — донья Альда Романьес.
Враги!.. А меня к вам что-то тянет.
Прощайте! Я «вождь разбойников», вы добродетельная
роялистка,
Наш разговор может показаться подозрительным.

(Подает руку.)

А л ь д а
(*про себя*)

Какие руки! .. Летучий пламень...

(*Громко.*)

Скажите, неужели вы б могли вот этими руками? ..

Входит Педро.

Педро

Гражданин Гонгора, там девять заговорщиков поймали,
Вас ждут в Верховном Трибунале.

Гонгора

Иду.

(*Альде, подымая руку.*)

Да, вот этой рукой!
Прощайте!

(*Уходит.*)

Ни щ и й

Ветер-то какой!

А л ь д а

Ушел. Трибунал. Что будет с Диего?
Брат или враг? Недруг иль друг?
Все мы в ночи друг друга не видим, сырые, бедные,
Огоньки на ветру...

Ни щ и й

Христа ради, одну монету.

Альда дает монету.

Пять песетов!

(*Разглядывает ее.*)

Король, наш добрый старый король, где ты?
Ах, госпожа, если бы вы родились на пятьдесят лет
раньше!

Как было тихо, хорошо в нашей Испании.
Все короля любили, молились и жили спокойно,
А хлеб! Ведь хлеб ничего не стоил! ..

Альда

Как странно!
Я ненавижу этих повстанцев!
Я ненавижу их песни — хула и злоба в каждом слове.
Я ненавижу их флаг — он пропитан еще теплой кровью,
Они не люди, они не плачут и по-ребячьи не смеются,
Я их ненавижу! Я ненавижу революцию!
Но это так странно — ты испугаешься —
Я сама себя не понимаю —
Я рада, что живу в это время,
Когда жить не под силу,
Что вот эта ночь осенняя
Мне не только приснилась,
Что, может, на муку, может, на смерть
Его я встретила,
Что влетел в мое сердце
Ветер...

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Зал в доме Романьес. Сумерки.

Граф

Эти бродяги победили!

1 - я барышня

Какой ужас!

2 - я барышня

Торжество насилия!

Граф

Они арестовали вашего брата! Посмели его коснуться!
Конечно, это недоразумение, и его сегодня же
выпустят...

Альда

Мы ждем Диего с минуты на минуту.

Дама

Но пережить этот день — какая пытка!

Граф

Мы все отныне — на Голгофе.
Доколе, боже?

Дама

И представьте — сегодня мне подали кофе
Без пирожных!

Граф

А мне сегодня господь послал страшное испытание.

2-я барышня

Святая дева! Что они сделали с вами?

Граф

На главной улице какой-то лудильщик или сапожник
Назвал меня... Мне, право, стыдно повторить перед
вами это прозвище...

1-я барышня

Он, верно, назвал вас королевским шпионом?

2-я барышня

Или мадридским наемником?

Дама

Или притеснителем?

Граф

О, если бы так! Гораздо оскорбительней!..
Меня — дона Пабло-Эльяс-Фернандес-Клара-Барга-
Варинос —
Он назвал... гражданином!

1-я барышня

Какая ужасная весть!

2-я барышня

Этого нельзя перенести!

Дама

Они готовы надругаться над всем святым!
Дон Пабло-Фернандес...

Граф
(поправляет)

Дон Пабло-Эльяс-Фернандес...

Дама

...Гражданин!

Граф

Лучше смерть! Мы должны выступить —
Терпению есть конец.

Дама

По-моему, это от антихриста.
Не правда ли, святой отец?

Духовник

О, да! Начнем с декрета об отмене титулов.
Небесная иерархия не допускает изменений чина.
Я все деления постиг:
Есть ангелы, архангелы, есть херувимы, серафимы,
И есть ар-хи-стра-тиг!

Альда

По-вашему, они не христиане
Только оттого, что борются с нами?

Дама

Если они не уважают моих владений, моей собственности,
моего дома —
Как они могут уважать Христа или мадонну?

Граф

Отобрать мои виноградники, поселить в моем доме
Каких-то ребят, невоспитанных и совсем необразованных!
У этих людей нет ничего святого!

Поэт

Христос — это красота. А вы заметили,
Какие у них грубые жесты, прозаические речи,
убожество линий —
Полное непонимание эстетики.
Мне просто скучно с ними!

Я могу понять красоту санюлотов: Карманьола,
Бастилия, Робеспьеры, Мараты.
Но наши рабочие могут только ругаться.
Конечно, они не христиане: Святая дева — это нечто
изящное, с картины Мурильо,
Как она могла бы жить среди этих грузчиков или
носильщиков!

Альда

Святая дева — мать назаретского плотника. Она жила
на земле.

Простая женщина, работница Иудеи,
Ее мозоли нежнее редких колец,
И пот на лбу — мира святее.

Духовник

Вам надо упражняться в нашей вере,
Не то вы впадете в ересь.
Они нарушают законы божьи: на короля злословят,
Идут против титулов, против собственности, против
торговли.

Если бы Христос сейчас сошел на землю —
Он был бы наш. . .

Альда

Христос для всех, Христос — ничей.

Духовник

Он поднял бы руку в ярости священной. . .

Альда

Он поднял только раз ее — на торгашей.
Разве его распяли рабы, а не фарисеи?

Духовник

Видно, речи Гонгоры на вас действуют.
Есть лев и ягненок, гранд и чистильщик сапог.
Так было, так будет. Так устроил сам бог.
Они не христиане.
Дочь моя, неужели вы с ними? Берегитесь!

Альда

Нет, я не с ними, но я и не с вами. . .

Граф

Я всегда говорил, что женщины не должны заниматься
политикой.

Альда

Это не политика, может быть, это женская слабость:
Для вас одна дорога, для меня много дорог и одно
людское бездорожье.

Я знаю, что кроме моей есть другая, чужая правда
И враги, как двойники, друг с другом схожи.

Духовник

Есть правые, и есть неправые.
У святой церкви ключ от истины.
А они прислужники дьявола,
Во главе с этим Гонгорой... «Неистовый»!..

Граф

Что ж, я, по-вашему, похож на Гонгору, на этого
предателя, Иуду?
А вы знаете, что он получил от англичан миллион
«за услугу»?..

Дама

Защитник бедных, он тратит народные деньги
на шампанское,
Поселил во дворце какую-то распутную цыганку...

Альда

Не смейте лгать —
Будьте достойны такого врага!

Поэт

Не понимаю вашего увлечения, в нем ничего изящного,
Манеры приказчика.

Граф

Что сказал бы ваш брат, услышав, что в его доме
защищают так речисто
Этого, ну, скажем мягко... авантюриста?

Альда

Я знаю двух людей. Оба любовью горят
И на смерть летят, иступленные:

Это мой брат
И Хорхэ Гонгора.

Г р а ф

Вы прогрессируете, и быстро.
Еще денек-другой, и вы станете отменной анархисткой.

А л ь д а

Легко и просто я отдала бы
Свой титул, дом и богатство —
Быть бедной такая радость!
Только нищие и дети могут смеяться.
Можно бороться за веру, за родину, за свою правду,
Но не за этот зал с золотыми канделябрами.
Они хотят жить здесь, как жили мы, —
С улыбкой отпущенья им отдам ключи еще одной
тюрьмы.

Нет, я их ненавижу за другое,
За то, что они не знают покоя.
За то, что люблю я небо предвечернее,
Когда тихо-тихо, только ребята кричат вдаль,
И когда отходит трепетное сердце
От безумной суетной земли.
Они не умеют становиться на колени,
Тихо улыбаться, говорить вполголоса,
Умирать, как умирает этот сад осенний,
Обливаясь пурпуром и золотом.
Я их ненавижу за то, что на могилах играют беспечные
дети,
За то, что ветер раздувает яркий факел и гасит свечу,
За то, что я сама хочу,
Чтоб задул меня этот ветер! . .

Г р а ф

О каком ветре вы говорите?.. Мне стало тревожно...
Отчего Диего не приходит?.. Уж поздно... .

1-я б а р ы ш н я
(подходит к окну)

Темно... И ветер... Как воев протяжно...
Ваш брат, верно, ждет, пока буря уляжется...

А л ь д а
(*глядит в окно*)

Отчего его нет? . . Звезда упала . . .
Будто ветер сорвал ее . . .
Хоть бы скорей прошел этот вечер! . .
Тереза, зажги свечи.

Входит Тереза с подсвечником.

Т е р е з а

Ох, быть беде, быть судьбе, быть всему!
Не к добру, а что и как — не пойму. .
Приходили, говорили. . . Страшно мне!
И короля нет, и бога нет, и никого нет. . .
А стреляют, стреляют, разве знают, в кого? . .

(*Крестится.*)

Господи, упокой душу раба твоего! . .

(*Уходит.*)

Г р а ф

Здесь все свои? Мы можем говорить свободно.
Только Диего нет. Мы должны обсудить кое-какие
подробности.
Через несколько дней войска Руиса будут у города.
Мы должны выступить в День Всех Мертвых.
Я всё наметил и людей надежных подобрал.
Диего с сотней захватит арсенал.
Я окружу дворец и арестую комитет. . .

А л ь д а

Уж ночь, а Диего нет. . .

Г р а ф

Неужели они посмеют? . .

Ветер раскрывает окно.

А л ь д а

Что это?

Г р а ф

Ветер окно раскрыл. . . Успокойтесь!

Альда
Пречистая дева, огради, помоги!

Дама
Вы слышите? Шаги!

Граф
Это Диего! Диего!
Входит Луис.

Луис!

Луис
Альда, мужайтесь!
Вы ему обещали — помните. .

Альда
Скорей! Я знаю!
Всё кончено?

Луис
Я ждал. . .
Трибунал. . .
Только теперь сказать посмели.

Альда
Убит?

Луис
Расстрелян.

Альда
Братик!

Луис
Сядьте!

Альда
Нет, нет, я не плачу. . .
Разве можно плакать теперь. . .
Так значит, это — смерть. . .

Луис
Солдат сказал мне.
На заре. Светало.

Он был тверд. С открытыми глазами.
Он был — Диего Романьес.
Он солдатам сказал:

«Не надо! Завяжите себе глаза!
Вам страшно. Я буду глядеть даже мертвый,
Ведь меня казнят за то, что я не умел
отвертываться.

Я хочу эти горы видеть.
За ними Мадрид. Король в Мадриде».
Он говорил. Солдаты плакали.

А л ь д а

Нет, я не буду плакать. . .
Так умереть — ведь это победа. . .
Диего! . . Диего! . .

Л у и с

Да, не плакать.
Молчать. Только клятва.
Сейчас, здесь
Ни слова. Только месть.

Г р а ф

Мы назначили — День Всех Мертвых.
Дорога на Севилью уже взорвана.
Вы вместо Диего — арсенал.

Л у и с

Он был бы спокоен, если б знал.
Идут на наш дом. Ни спора, ни вздоха, ни стопа.
Притаиться, крепиться и ждать врага.
Блажен погибший на пороге непоруганного дома,
За честь еще не умершего очага!

Д у х о в н и к

Благословляю вас на ратный подвиг.
С вами сила господня!
Близок час торжества.
Будьте только бесстрашны.
Восстановите все права
Святейшей церкви, короля и ваши.

Д а м а

Накажите этих извергов! Сразу
Железом выжгите язву!
Надо только без всякой нежности —
На каждый кипарис по одному мятежнику,
И детей ихних. . . Чтоб знали! . .
Ведь это облегчит ваше горе, Альда?

Л у и с

Как ни страшна потеря,
Я верю,
Вы нам поможете в заговоре.

А л ь д а

Нет, не просите меня. . . не надо!
«Восстановить права», «наказать мятежников» . . .
Я от вас ушла теперь.
Я не хочу, чтоб было, как прежде.
Прежде — это смерть.
Я для вас безрассудная женщина,
Хуже того — изменница.
Я всё та же, только сегодня не вчера,
А что будет завтра? . .

1-я б а р ы ш н я
(второй)

И это его сестра! . .

2-я б а р ы ш н я

И после смерти брата! . .

А л ь д а

Я попрошу вас пройти в гостиную. Луис,
останьтесь.
Мне надо поговорить с вами.

Все, кроме Альды и Луиса, уходят.

Л у и с

Вы стали федералисткой! . . Другой, чужой,
Вы даже смотрите теперь иначе. . .

Альда

Нет, просто слабость, вы сильны блаженной
слепотой,

А я . . . я слишком зрячая.

Скажите, Луис, кто судил Диего?

Луис

Трибунал.

Альда

А Гонгора?

Луис

Он подписал.

Альда

Вы знаете наверно? Это очень важно, вы потом
поймете. . .

Луис

Я сам видал его подпись.

Этот неистовый, бешеная собака! . .

Альда

Зачем? Ведь, оскорбляя его, вы сами падаете.

Луис

Но это убийца вашего брата.

Альда

Он верил — так надо.

Мои слова вам покажутся бредом, —

Судьба решила иначе, —

Но он и Диего —

Братья.

Он прекрасен! . . . Теперь поздно. . . Не наша воля. . .

На брата идем, на себя, и больно. . .

Луис, я должна увидеть его!

Устройте это! Вы поняли?

Луис

Но кого?

Альда

Конечно, Гонгору.

Луис

Опомнитесь!

Ведь есть же честь, есть гордость, наконец!

Альда

Я должна видеть Гонгору.

Достаньте пропуск во дворец!

Луис

Я думал, что вы испанка, — я ошибся.

Вам чести дороже каприз, прихоть.

Бежать на свиданье к этому палачу,

К убийце брата! . .

Альда

Вы можете оскорблять меня. Я так хочу.

Поймите — нет пути обратно. . .

Луис

На свиданье с ним! Прославлять, упрашивать,

Быть может, целовать эту руку, только что

подписавшую. . .

Если у вас нет чести, достоинства, верности,

Быть может, хоть брезгливость вас удержит.

Альда

Не сама иду — несет меня смерч,

И на сердце кладет леденеющий перст

Смерть.

Луис, идите во дворец!

Завтра я должна быть у Гонгоры, не то конец!

Луис

Зачем? Слушать, как он поносит Диего?

Поздравить его с сегодняшней победой?

Альда

Не надо этих слов. Теперь можно только ждать

и молиться.

А то, что будет, — не может не быть.

Луис

Зачем? Перед убийцей преклониться?

Альда

Нет, я иду сама убить.

Луис

Простите! Простите, Альда! . .

Альда

Не радуйтесь!

Не печальтесь!

Так надо.

Луис

Я не стану вас отговаривать.

Но надо быть трезвой, не только смелой.

Лучше принять участие в заговоре,

Это полезней для нашего дела.

Альда

Луис, я от вас не скрываю, мое дело не ваше.

Мне очень, очень тяжело! . .

Вы и они — это война.

Только я одна, совсем одна.

Вы — два лагеря, я одна в ночи, и ветер мой плащ

вздувает.

Вы — два берега, я не мост, а река, что их делит, и спуск
крутой и плоский луг ласкает.

Я глядела в глаза ему и вам — тот же огонь,

Так же спорят зрачки с ночами,

И если поднять на солнце его или вашу ладонь —

Тот же розовый вспыхнет пламень.

Что будет? Он сейчас еще ходит, кровь густеет в висках,
гроза в глазах,

Он упадет — недвижимый, серый прах. . .

Всё равно! Ведь нельзя беречь. . .

Луис

Мне страшно за вас — слишком тяжел крест.

Альда

Легко умереть, но надо убить. «Не мир, но меч».

Не только муку взять — и грех.

Идите, Луис! Еще эту ночь пережить остается. .
Я жду вас завтра с пропуском.

Луис

Я знал на земле ваше имя. . .
Только имя и лик.
Я вас любил. Вы мимо проходили.
Прошли.
Я не понял, но принял.
Я сделаю всё, о чем вы просили.
Я думал дать вам радость, а теперь
Я дам вам смерть.

(Уходит.)

Альда

Какая смута!
Чужая стезя.
На кого подымаю я руку?
А опустить — нельзя.
Была, молилась, росла
Среди тихих подруг. . .
Теперь я только стрела,
И кто натянул этот лук?
Хуже иль лучше —
Кому судить?
О немнучая,
Скорей иди!

(Падает на колени перед статуей богородицы.)

Входит Тереза, причитая.

Тереза

Семь ночей кричали неумные,
Заклевали моего лебеденыша,
Заклевали, закопали под раkitами.
Холодно тебе, родимое дитяtko.
Выйду, завою, землю разрою, лягу около,
Согрею тебя моей грудью теплой.
Только из сердца не закаплет кровь горячая,
Очи мутные больше не заплачут,
Ногой не топнешь, не тряхнешь головой. . .

А л ь д а

Не вой! Ради бога, не вой!
Одного уж нет, другого не будет.
Любим, судим и губим.
Один в земле, другой еще ходит, говорит зачем-то,
спорит.

Т е р е з а

Горе ты, горе!
Всем один венец! Всем один конец!
С четырех сторон гореть, да на одном огне!

А л ь д а

Тереза, а я могла бы убить Диего?
Вот так — подойти и выстрелить. . .

Т е р е з а

А про это никто не ведает.
Уж кому на роду написано. . .
Только горя на землю много пущено,
Горючее оно, неминучее. . .

А л ь д а

Всю жизнь томиться, ждать этой встречи.
Встретить.
Свершилось. И неуютно.
Другая судьба, другая дорога.
Суждено ненавидеть любя.
Убить свою радость, себя, себя.

Т е р е з а

Всем один конец, одна дорога.
Диего мой! . . Господи, душу его упокой!

А л ь д а

Господи, я не дрогну.
Да!

(Подымает руку.)

Вот этой рукой! . .

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Дворец, кабинет Гонгоры. Педро, Пабло, Родриго.

Педро

Да, хорошо эти господа жили.

Родриго

А по-моему, скучно — столько золота и пыли,
Конечно, «аристократической» пыли.

Педро

Что ж, можно и развеселиться, каждому свой черед.

(Отворяет шкаф.)

Главное — это учет.

Посмотрим, что у них в архиве. . .

(Вынимает бутылку.)

Куантро, и хорошая марка.

Пабло, вы любите Куантро?

Пабло

Кто это? Бланкист? Или сторонник Маркса?

Бутылка? Алкоголь? Он только сознание трудящихся
одурманивает.

Вы ведь знаете, что я сторонник абсолютного
воздержания.

Педро

Пабло, а вы были когда-нибудь в театре?

Пабло

Один раз, в Бургосе. Мне пришлось тогда от жандармов
прятаться.

Там какие-то безыдейные женщины прыгали по сцене.

Я объясняю подобные явления отсутствием
просвещения.

Педро

Ну и чудак! Вы похожи на монаха или на ребенка.

А в жизни столько прекрасного. . . Посмотрите-ка.

(Заглядывает в боковую дверь.)

В приемной ждет Гонгору
Очаровательная просительница.
Пабло, а вы знали женщин? Только скажите правду...

Пабло

Конечно! А гражданка Агнесса? Она участвовала во всех
заговорах.

Педро

Но гражданка Агнесса — современница наполеоновских
войн и похожа на ведьму Гойя.

Пабло

Что ж, зато она опытна в конспирации и многих
молоденьких стоит.

Родриго

Вы не знаете нашего Пабло! Мы как-то с ним мимо
садоводства проходили,
Я показал ему на чудесные лилии —
Так он нарочно отвернулся и пошел скорей в смущении.

Пабло

Я был погружен в раздумье.
Я всегда отвертываюсь, проходя мимо цветов или
красивых женщин.
Они мне мешают думать о фаланстере и трудовой
коммуне.

Педро и Родриго смеются. Педро закуривает сигару.

Педро

Мы не аскеты, есть улады и для нас,
Я знаю толк в вине и в барышнях.
Мой идеал — чтоб каждый, даже папуас,
Курил бы вечером такую же сигару,
Конечно, после честно проведенного и трудового дня.

(Заглядывает в дверь.)

Черт побери! Но отчего я не Гонгора
И эта красотка ждет не меня!

Родриго

А вы ее примите вместо Гонгоры. Ну кто там
разберет? ..

По крайней мере, забавный анекдот.

Для меня переворот — нечто вроде цирка.

Всё становится наоборот,

Шиворот-навыворот.

Гидальго жирненький в цилиндре картошку чистит и
осла скребет,

А я вот в этом кресле с графскими гербами

Пишу приказ. . . «об уничтожении имперской власти
в Германии».

Перекрасить вывески, переставить календарь,
перепутать имена,

Заставить каталонца говорить по-якутски,

Теперь октябрь, не всё ль равно — «провозглашается
весна», —

Вот это революция!

Педро

Ты фантазер! Мое желанье сейчас более скромно —

На полчаса превратиться в Гонгору.

Глаза какие! Точно искры, вспыхивают.

Родриго тоже заглядывает в дверь.

Ну как? Прозрели?

Родриго

Она похожа на того роялиста.

Что с ним?

Педро

Расстрелян.

Родриго

В ней что-то необычное. . . невнятное. . .

Я бы боялся с ней остаться. . .

Через другую дверь входит Гонгора.

Гонгора

Вы заняты?

Родриго

Мы разрабатываем план восстания в Германии.

Гонгора

Наши войска разбиты у Карэбы.
На базарах четвертый день нет хлеба.
Народ ропшет. Нельзя терять ни одной минуты.
Они готовятся исподтишка. Они хитрее нас.
Это двенадцатый час,
Не мой, не ваш — Революции.

Пабло

Гонгора, я разработал до мельчайших деталей
План общественного кормления грудных младенцев
в народном сквере.
Надо, чтобы граждане со дня рожденья приучались
К новой социальной эре.

Гонгора

Войска Рунса в трех переходах от Картагена,
А вы лепечете о младенцах.
Я был в комитете, там со вчерашнего вечера грызутся,
В десятый раз голосуют резолюцию
О нашем отношении к последнему письму Бакунина
И о том, допустимы ли памятники в Коммуне. . .

Пабло

Вопрос о памятниках мною обследован, надо все
решения пересмотреть.

Гонгора

Теперь надо одно — уметь умереть.

Родриго

Вот я хочу умереть. Дайте мне десяток резвых ребят,
И я перережу сотню королевских солдат.
Вы здесь с Пабло сидите,
А мне надоело это. . . как его? . . «мирное строительство».

Гонгора

Резвитесь, ребята, на картонные мечи надейтесь.
Для вас революция — это игра в индейцев.
Войска Руиса — армия, кого обманывать?
И против них — десяток партизанов!

Родриго

Всё равно ничего не выйдет.
А так, по крайней мере, можно хорошо погибнуть.

Гонгора

Вы думаете, что мне сладко сидеть в этом дворце?
Что я не мечтаю о таком же конце?
Но кто будет писать законы,
Устанавливать цены, посылать солдатам патроны?
А хлеб, этот проклятый хлеб — кто его достанет?
Да, это труднее, чем поднять восстание!
Родриго хочет героического, громкого,
Пабло проверяет теории Сан-Симона,
Другие просто ищут выгоды
И только прикидываются,
Но все изменяют, и все предают. . .
А те идут — шаг за шагом идут.
Пабло, Родриго! Идите на митинг.
Сигарщицы требуют хлеба, не расходятся, ждут.
Уговорите их, скажите,
Что хлеб везут! . .

Родриго

Кто везет? Уж не Руис ли? . . А впрочем, какая разница!
Эх, хорошо б сейчас в Мексику, все-таки
разнообразие! . .
Иду!

Пабло

И я иду! Я им скажу: довольно мечтать
о мирном конце,
Довольно утопий в духе Фурье. . .
Уходят.

Педро

Остался один только выход из положения.

Гонгора

Какой?

Педро

Компромисс, соглашение.
Начать переговоры с либералами, может быть,
и с Рунсом,
Умеренное правительство,
Кой-какие реформы. Пока примириться.
Перейти в оппозицию.
Тогда мы сэкономим хоть зерно для будущего. . .

Гонгора

Кто хочет сберечь — только губит.
Если мы погибнем — через десять лет, через сто
В Мадриде, в Париже, в России, в Германии
Исступленный работник в земле найдет
Наше окровавленное знамя.
Надо, чтобы пролилась наша кровь,
Огонь залиют, метнется искра в ночь,
Но если мы уступим, вино смешаем с водой,
Что станет с нашим знаменем?
За розовую тряпку кто пойдет на бой?
Могила может к мести звать, но не кресло
в парламенте.

Нет, есть лишь один исход:
Живыми не уйдем с этого места.
Пусть Коммуна еще раз умрет,
Чтобы снова и снова воскреснуть,
А нам, Педро, не уйти от смерти — так на роду
написано, —
Но всё же пуля в сердце лучше виселицы.

Педро

Хорхэ, вы слишком спешите,
Хотите сразу переделать мир.
А наше ремесло — политика,
Мы имеем дело с людьми.
Вы от них требуете нечеловеческого.
Ночь кругом, темная,
Мы одни на дороге, безумные разведчики,
Нас не догонят отставшие легионы.

Гонгора

Да, мы предтечи
Обреченные. . .
Но медлить нельзя.
Вперед! Вперед!
Пусть погибну я,
Смена придет.
Они придут в неслыханном величии,
По пути окровавленному, за нами следом.
Теперь нас сотни — будут тысячи тысяч,
Теперь гибель — будет победа.

Педро

Но страшно умирать в ночи. . .

Гонгора

Я вижу первые лучи.
Они умирают, видя сияние рдяное
Былого мира, отсверкавшего огня.
А мы, мы встали слишком рано,
Чтоб встретить свет иного дня.

Педро

Хорхэ, простите, что я вас об этом спрашиваю,
Скажите, вам никогда не бывает страшно?
Ведь ясно всё, и смерть близка. . .

Гонгора

Страх? Нет, не страх порой находит — смертная
тоска.

Кончен путь. Я кого-то не встретил.
Слишком легко я ступал, не касаясь земли.
Без следа пролетел, будто ветер,
Не увяз в болоте, не погряз в пыли.
Я хочу вцепиться корнями в эту рыхлую землю
И хоть в час последний
На дороге, слишком мгновенной,
Помедлить, помедлить. . .
Такое томление!
Я тоскую о земле. . .

Педро

(переспрашивает)

О ком?

Гонгора

О женщине.

Пусть это слабость — я хочу познать любовь,
К устам припасть и даже ветер позабыть, любя,
Почуять рядом теплую трепещущую плоть
И семя бросить в ночь, продлить, продлить себя.
Недавно ночью я встретил женщину, и это так странно,
так непонятно, —

Она не наша, аристократка,
Но почему-то сердце забилось, я замер,
Услыхав ее голос, — она говорила бог весть о чем,
Но будто я был всю жизнь в изгнании
И вернулся в отчий дом.
Мне показалось, что из ее ладони, маленькой и слабой,
Дано мне испить великую радость.
Но лучше не думать об этом. . . Она меня ненавидит,
сама мне об этом сказала. . .
Я так хочу ее! . . . Что это? . . .

Педро

Любовь. . . А может быть, только усталость.

Гонгора

Усталость? Нет! Работать надо.
Педро, я хочу поручить вам важное дело:
Вот донос, прочтите.

(Дает письмо Педро.)

На День Всех Мертвых — роялистский заговор. . .
Надо пресечь. . . В наших руках все нити. . .
Они сносятся с Руисом. . .
Медлить нельзя — враг слишком близко.
Я даю вам все полномочия. Вне закона.
Для них еще хватит патронов.
Довольно колебаний; мы должны быть беспощадны.
Палачи? Что же! Так надо. . .

Педро

Да, это ремесло любого правителя.
Я сделаю всё, Гонгора. А вы немного отдохните,
Ведь вы три ночи не спали.

(Уходит.)

Гонгора

Отдохнуть?.. Нет... Ее зовут Альдой...
Отчего я думаю о ней всё время,
Будто в этой маленькой женщине
Оправдание, примирение?..

Педро показывается в дверях.

Педро

Я забыл — вас ждет просительница.

Гонгора

Зачем?.. Да всё равно... Пустите... .

Педро скрывается.

О, если б увидеть еще раз эти волосы, ветром
вздутые,
В глазах бушующие мятежи,
Эту смуглую руку,
Дарящую жизнь... .

Входит Альда. Гонгора, потрясенный, вскакивает с места, потом
откидывается назад.

Альда

Вы боитесь меня?.. Гонгора боится?.. Как
странно, Гонгора может быть слабым... .

Гонгора

Нет, это не страх, только радость.
Я звал вас, как присужденный к смерти.
Я ждал вас, ждал, но не верил... .

Альда

Вы не знаете, зачем я пришла... .

Гонгора

Зачем? Скажи!

Альда

Я принесла вам... .

Гонгора

Жизнь! Я знаю, только жизнь!

А л ь д а

Господи! Какая мука!
Подыми, подыми, подыми эту руку!

Гонгора ловит ее руку.

Г о н г о р а

Дай мне эту руку. Я от жажды умираю.
Губы черны, и в сердце душная ночь.

(Целует руку.)

Твоя ладонь — ручей неспякающий,
Пью из нее любовь.
Я дна не знал, — на волне только гневная пена.
Только ветер, скользкий по верхушкам олив, я
не ведал глубли.

Испытавший страсть и великую ненависть,
Я не знал, что можно так просто любить.

(Разглядывает ее ладонь.)

Как странно: астролог вздыхал о звездах,
О розовом острове бредил Колумб,
Из моей души истекали черные грозы,
Под землей закипал немисланный бунт,
И всё, всё, что таилось в земле и в небе
разверстом —

Моления халдея и звездные письма, —
На этой тонкой ладони начертано. . .

А л ь д а

(вырывая руку)

Нет, не читай! И не пытай судьбы — она темна.
Смерть моя и твоя. . . Не держи.
Не спорь с судьбой! Не зови!

Г о н г о р а

Смерть? Но она убежит
От такой любви.

А л ь д а

Что ты делаешь? Ты снова всё перепутал. . .
Я не помню, зачем я пришла
И зачем эту слабую руку
Я тебе подала. . .

Гонгора

(на коленях, припав к руке Альды)

Твои пальцы пахнут малиной. . .
Ты как земля, дремная, родимая. . .
Ведь я когда-то был ребенком,
Землю любил, траву, солнцем опаленную. . .
Моя земля! . . Припал к ней и дремлю. . .
Мятой дышу, а щеки в росе. . .
Видишь, я снова вернулся на землю,
Стал таким же, как все.

Альда

Ты снова меня закружил, унес, и какая дана тебе
сила?
Встретив тебя, я про всё забыла,
Потеряла свою жизнь, свою веру, даже имя, —
странно, что меня зовут еще Альдой.
Я только песчинка — неси меня дальше!
Какая радость всё потерять, любя,
И не считать потерь.
Благодарю, благодарю тебя
За то, что ты — моя смерть.

Гонгора

Только теперь для жизни открылось сердце —
Почему же ты всё время говоришь о смерти?

Альда

Идем по дороге.
Дана нам встреча,
Вечер один и час расставанья.
Кто-то нас сводит, разводит.
Кто-то играет нами.
Может быть, ветер. . .

Гонгора

Любовь сильнее — она удержит. . .

Альда

Нет, нельзя остановиться.
Слышишь, как бьется сердце —
Вспугнутая птица?

Твой голос — тревожный, ты не можешь
убаюкивать, ты должен пророчествовать,
Когда ты говоришь, мне кажется, что я одна
в поле, темной ночью.

Даже имя твое такое громкое —
«Хорхэ Гонгора».
С тобой нельзя быть, жить,
Ты можешь только унести, замести, убить.

Гонгора

Ты хочешь меня убить? Или сама умереть?

Альда

Нет, теперь на руке моей цепь.
Я буду до конца с тобой, не живой, не собой —
рабой.

Как странно — мы вместе. . .
Мне вспомнилась старая песня. . .

(Поет.)

Позади, впереди дорога.
Погоди, погоди немного.
Я бедна, и темна, и убога.
Но тебе я дана от бога.
Мы с тобой вдвоем, любимый,
А потом мы пройдем, и мимо. . .
Ты со мной побудь, дай руку.
А потом тот же путь и разлука.
Уж меня никогда не встретить.
Унесет, и куда, этот ветер.
Позади, впереди дорога.
Погоди, погоди немного.

Гонгора

Какой покой! Время стоит. Я стою.
Родная!

Альда

Люблю! Люблю!
Не помню, не знаю!
(Закрывает глаза, блаженно улыбается.)

Гонгора

Как ты странно улыбаешься... Ведь ты прежде
никогда не улыбалась?..
Я эту улыбку видел когда-то...
Но где?.. Да, в ту ночь... после трибунала...
У тебя улыбка твоего брата!..

Во время последних слов Альда порывисто встает, вынимает спрятанный револьвер.

Гонгора

Что с тобой?
Обожди! Стой!

Альда стреляет. Промахнулась. Убегает. Педро и два часовых.

Педро

Выстрел!
Заговор! Покушение! Роялисты!
Гонгора, что с вами? Невредимы.
Мимо!

(Часовым.)

Держите ее! Держите роялистку!

Гонгора

Оставьте ее!

Педро

Но ведь это ж она выстрелила?

Гонгора

Она верила, что так надо.

Педро

Вы больны?.. Не вы ли мне приказали карать их,
не зная пощады?

(Часовым.)

Ведите ее.

Часовые уводят Альду.

Она в вас стреляла?

Гонгора

Нет, не она, кто-то третий... Она сама не знала...

Педро

Вы бредите, Хорхэ? Кто третий?

Гонгора

Не знаю... Может быть, ветер...

И как ни сильна любовь,

Ее сильнее судьба слепая.

Педро, над нами ветер и ночь.

Что мы можем? И что мы знаем?..

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Зал суда. В глубине большие, с полу, окна на площадь. Вечер. За сценой рев толпы.

Пабло

(председатель трибунала)

Что это за шум под окнами?

Нам мешают работать.

1-й часовой

Верно, торговки из-за места дерутся

Или поймали вора.

Народу на площади тьма-тьмущая,

Ведь нынче праздник Всех Мертвых.

2-й часовой

Нет, это граждане ждут,

Чем кончится суд.

Пабло

О, в таком случае окна настезь раскройте!

Они нам напомнят о нашем долге перед павшими

героями.

Окна раскрывают. Доносятся голоса:

«Смерть! Смерть роялистке!

К стенке! На виселицу!»

Пабло

Именем восставшего народа, мы судим женщину,
преступную и безумную,
Гражданку Альду Романьес, поднявшую руку наемную
На сердце и мозг Коммуны —
На Хорхэ Гонгору.

Она получила изрядную мзду от мадридских бандитов
за верность.
Возможно, что деньги шли из Франции от самого Тьера.
Она думала привлечь на свою сторону народ,
Восстановить его против свободы.
Но вот он, негодуя, казни ждет.
Слушайте, граждане, голос народа!

За цепой крики:
«Смерть убийце!
Смерть роялистке!»

1-й судья

Крови! Мы жаждем крови!
Мы не просто судьи — мы народная совесть!
Мечь за убитых граждан!
Мы крови, крови роялистов жаждем!

2-й судья

Принципиально я против смертной казни и вообще
отрицаю суд.
У меня даже есть по этому вопросу небольшой труд.
Но это прежде, когда король судил и правил.
А теперь... Исключение только подтверждает правило.

Пабло

Конечно, нас не интересует судьба Альды Романьес.
Будет она жить или умрет — для Коммуны это неважно.
Для нас смертная казнь — социальное воспитание
Отсталых граждан.
Итак, гражданка Романьес, признаете ли вы себя
виновной
В том, что, будучи подкуплены испанскими
и чужестранными роялистами.

Вы в ночь на первое ноября покушались на жизнь
гражданина Гонгоры,
Произведя один выстрел?

А л ь д а

Да, я стреляла.

П а б л о

Итак, вы признаете себя виновной?
Хорошо, но этого мало.
Факт преступления, конечно, установлен.
Но укажите также ваши побуждения,
И от кого, и каково вознаграждение?

А л ь д а

Зачем говорить? Ваше дело судить, мое — умереть,
Слепые не могут прозреть.
Вы спрашиваете, почему я стреляла в Гонгору?
Вслушайтесь в этот гул неумемный и темный, —
Разве вы знаете, почему ревет людская чернь,
Почему море ропщет, когда растёт прилив?
Вот перед нами война и смерть,
Но откуда они пришли?
Я тоже не знаю. Я тоже слепая. Мной правил кто-то
слепой.

И как я могла тягаться с судьбой?
Вы спрашиваете, кто толкнул мою руку, кто стоял
позади —
Французские дипломаты или дельцы Мадрида?
Тот же, кто вас привел в этот зал, чтоб судить,
Кто шепчет вам на ухо смертный приговор,
Кто правит войсками Руиса и этой безумной толпой —
Зовите его как хотите: революцией, ветром, судьбой.

Г о н г о р а

(*про себя*)

Увести? . . Спасти? . . Нет надежды. . .
И всё, и всё неизбежно. . .
Тосковал и ждал, и встретил. . .
Чтоб опять потерять. . . навеки. . . навеки. . .

1-й судья

Она нам грозит генералом Руисом?
По-моему, процесс слишком затянулся... надо
торопиться...
Я не люблю слушать — только подписывать.

2-й судья

К тому же она уверяет, что ее поступок
революционный, —
Как будто она стреляла в короля, а не в Гонгора.
Конечно, естественно ее желание все правила морали
перепутать,
Но для нас ее речь — оскорбление революции.
Народ, ты слышишь, как оскорбляют твое священное
знамя?

Голоса за сценой:
«Смерть! Смерть Романьес!»

П а б л о

В ее словах проследить уместно
Обычные уловки роялистов:
Грубые интересы
Прикрываются мистикой.
Вместо объяснения причин — описание моря, как будто
мы поэты.
Вместо определения полученной суммы — разговоры
о ветре.
«Кто-то третий» — отсутствие третьего установлено
точно наукой.
И мы не можем терять время, слушая эти глупости.
Для нас обвинение доказано, но мы сделаем всё,
что полагается.
Если кто-либо из граждан хочет защитить обвиняемую,
Пусть выступит.

Голоса за сценой:
«Позор! Защищать роялистку!
Никто не хочет защищать!
Дайте нам ее! Расстрелять!»

Гонгора

Я хочу выступить защитником гражданки Альды
Романьес.

П а б л о

Вы, Гонгора? Какое странное желание...

1-й судья
(второму)

Неистовый! Он, верно, хочет, защищая, обвинить.

2-й судья

Иль просто красноречие выявить и всласть
поговорить.

Голоса за сценой:
«Тише, тише!
Гонгора будет говорить!»

Г о н г о р а

Граждане, чтоб не заглохли нежные побег
Коммуны молодой.

Надо выдергивать сорные травы умелой рукой.
Вы знаете, что ни разу эта рука не дрогнула,
Карая врагов народа,
Я в рай послал немало роялистов.
Недаром аристократы прозвали меня «неистовым».

1-й судья

Ваши заслуги очевидны.
Мы с радостью подпишем этот приговор.

Голоса за сценой:
«Браво, Гонгора!
Смерть убийце!»

Г о н г о р а

Я знаю — вы истинные революционеры,
Но революция умеет быть и милосердной.
Конечно, эта женщина аристократка.
Я сам требовал смерти ее брата.
С врагами мы неумолимы,
Но Альда Романьес невинна.

Голоса за сценой:
«Как невинна?
Слышите?
Тише! Тише!»

Я расскажу вам всё, что было:
Она ко мне пришла и плакала.

1-й судья
(про себя)

Какая обида!

А л ь д а

Вы не смеее меня оправдать. Уж окончена жизни
дорога.

Я сделала всё, что могла. Теперь я свободна.
Я прошла, протекла, и остыл уже беглый след.
Мне больше нечего делать здесь, на земле.
Смертный грех приняла, его смоее лишь смертная мука.
Только смерти одной я смогу протянуть эту руку.
Я слишком любила и слишком грешила.
У меня хватит сил умереть, но жить я не в силах.

П а б л о

Это нас не интересуеет. По всей вероятности, вы будете,
Как и все граждане, заниматься производительным
трудом.

Нам дорого революционное правосудие,
Красный закон.

Входит П е д р о .

П е д р о

Граждане, они решились выступить!
Смерть роялистам!
Подкупленная рота сдала арсенал.
Я ранен в руку. Я девять негодяев расстрелял.
Я нашел на одном записку. Сомнений нет.
Их план таков: арестовать комитет,
Расстрелять Неистового,
Ночью в город впустить солдат Руиса.

Голоса за сценой:
«Да здравствует Гонгора! Да здравствует Неистовый!
Смерть роялистам!»

А л ь д а
(потрясенная, про себя)

Пресвятая дева, какое испытание!
Огради! Отведи его руку, как мою отвела ты.

Гонгора¹

(Альде)

Гражданка Романьес, что с вами?
Вы так опечалены неудачей ваших соратников?

Альда

Я молюсь обо всех, кто в эти ночи глухие
Встает, идет куда-то,
Покорен темной стихии,
Подымает руку на брата,
В чьей руке занесенный меч.
Я молюсь о жертве и о палаче...

Педро

Еще стреляют на Монастырской улице.
Мы окружили их. Мы расправимся с ними.
Жаль, главари ускользнули,
Но мы поймали трех зачинщиков.

(Страже.)

Введите их.

Голоса за сценой:

«Смерть роялистам!»

Вводят Духовника, Поэта и Лунса.

Поэт

Куда меня ведут?
Я понимаю — концерт, театр, но при чем тут суд?

Духовник

Почему меня арестовали? Ведь это ошибка!
Я шел по улице и повторял «Ave, Maria», к тому же
очень тихо.

Я все декреты соблюдаю строго:
Нет власти, аще не от бога.
А может быть, я в этот миг Коммуну прославлял?

¹ Здесь, вероятно, ошибочно напечатано «Гонгора» вместо «Паб-ло» или «Педро». — *Ред.*

Духовник
(*тихо поэту*)

Если дело отложат, мы можем быть спокойны:
Денек-другой — и Руис освободит нас, наградит
героев. . .

Луис
(*подходит к Альде*)

Теперь примите меня
Так судьба хотела.
Нас те же люди казнят.
Мы гибнем за то же дело.
Крепитесь — мы обречены.
Быть может, через час у крепостной стены. . .
Но уж слышен орудий грохот блаженный,
Всё ближе и ближе ракеты вспыхивают
Уж трепещут у стен Картагена
Сигнальные огни батальонов Руиса.
Альда, дайте мне вашу руку.

Гонгора
(*возмущенный*)

Что же ты скажешь в ответ?

Альда
(*протягивая руку Луису*)

Ему и тебе
Я дам мою слабую руку. . .

Входит быстро комендант трибунала.

Комендант

Гражданин председатель, прикажите утроить охрану.
Под влиянием роялистских агитаторов толпа
настроена несколько странно.
Только что один пацифист продажный,
При явном сочувствии несознательных граждан,
Проповедовал необходимость компромисса
И предлагал начать переговоры с бандитами Руиса.

1-й судья

Шпион!
Конечно, он? . .

Комендант

О да! Конечно! Устранен...

Пабло

Поставьте верный караул и плотней закройте эти
окна —
Голос обманутых граждан нам только мешает работать.

Комендант уходит. Часовые закрывают окна.

Сейчас мы разберем дело трех роялистов, захваченных
на месте преступления,
Обвиняемых в организации мятежа и в измене.
Но позвольте раньше огласить приговор по делу
гражданки Романьес.
Итак, я не вижу возражений против оправдания?..

Гонгора

Я прошу слова.

Пабло

Вы? Но ведь мы согласны с вами...
Вы просите слова, чтоб обосновать юридическую
сторону, столь важную,
Или чтоб точнее формулировать наше общее мнение?..

Гонгора

Нет. Чтобы покаяться перед всеми гражданами
В великом преступлении...

2-й судья
(первому)

Это что-то необычайное:
Гонгора — кается!

Гонгора

(идет к окну. Про себя)

Гремят орудия... Последний час грядет...
(Раскрывает окно. Громко)

Перед тобой я буду каяться, народ.

Голоса за сценой:
«Чего он хочет?
Он поможет нам! Он насытит нас!
Снова морочит!..
Да здравствует Ненстовый!»

Вы ропщете — на базарах нет хлеба?
Многие из вас сегодня не обедали.
Новых денег никто не берет.
Не достать ни рыбы, ни риса,
И трусы уже слышат у Железных ворот
Топот эскадронов Руиса.
Бедные! Над вашими подвигами дети содрогнутся —
Чем вы не жертвовали для Революции?

Голоса за сценой:
«Мы не можем без хлеба! Бороться безумно!
Натошак и Коммуна не Коммуна!
Достань хлеба! Прогони Руиса!
Или мирись с роялистами!»

Да, вы герои! А я хочу покаяться пред всеми
В скупости и в нерадении.
Мне было шестнадцать лет, я покинул дом родной,
Покой, уют, богатство,
Пошел работать в шахты,
Киркой сердца дробить и звать на бой.
Меня схватили мадридские ищейки,
Заковали в цепи, бросили в склеп.
Глядите, на этих руках еще чернеют
Следы королевских колец.
Бежал! В Бильбао — баррикады! Нас мало! Трудно было!
Пуля в руку, снова поймали, что ж — еще монаршая
мильность,
В каземате ждал казни. Вот чьи-то шаги. . . За мной
пришли. . .
Но нет! Вы восстали, ворота взломали, спасли!

Голоса за сценой:
«Браво, Гонгора, мы пойдем за тобою!
Нет, мы не хотим быть героями!
Смерть или победа!
Хлеба! Только хлеба!»

Но вождь — простой человек.
Порой в его сердце слабость,
И кренит набегающий ветер
Даже самый высокий корабль.
Слушайте, судьи! Слушай, народ! И ты, ночь!
Ко мне пришла любовь.
Я отдал всё! Но в исступлении
Я хотел любви, любви для себя!

Я хотел спасти эту бедную женщину,
Ненавидя ее и любя.
Ваш неумолимый, ваш ненстовый
Полюбил роялистку.
Что ж вы не кричите? Кричите громче:
Позор, позор Гонгоре!
Да, позор! Себя оголю донага,
Кину вам мое темное сердце.
Знайте все: сейчас на суде я лгал,
Только чтоб спасти ее от смерти.
Не человека хотели сразить ее хрупкие руки,
Но знаменосца Революции.
Я снова тверд! Дышу этим дымом пороха,
Этой грозой, что сейчас разразится над городом.
Революция, тебе я отдал смертное сердце,
Душу мою и плоть,
Ныне прими последнюю жертву —
Эту небывшую любовь.
Казните ее! Вот там горят, как волчьи очи,
Руисовы огни.

Надо крепиться — мы или они.
Быть может, завтра и мы уйдем
За нею следом и тем же путем.
О жизни забудь! Не таи огонька в твоей келье убогой.
Шире в ночь распахни забвенную дверь.
Теперь есть только одна дорога —
И это смерть.
Я отдал всё. Я ниц и светел.
Бери, бери меня, ветер!

Голоса за сценой:
«Смерть роялистам!
Смерть федералистам!
И тем и этим! И этим и тем!
Смерть! Смерть всем!»

1 - й судья

Это я понимаю. Я больше не в силах ждать.
Дайте! Дайте мне подписать!

П а б л о
(читает)

Признать гражданку Романьес виновной
И расстрелять!

Луис

Альда, ко мне! Ко мне!

Гонгора

Ты с ними? . .

Альда

Гонгора! Неужели ты не понял — разные дороги,
но один конец. . .

Голоса за сценой:
«Смерть! Смерть!»

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Площадь перед дворцом — та же, что и в первом действии. Ночь.
Гонгора выходит из дворца, сходит вниз по ступенькам балкона.
В стороне дремлет нищий.

Гонгора

Здесь я ее встретил. . .

Она говорила, просила, любила. . . Она жила. . .

Еще сегодня, на рассвете,

Она была. . . Ее нет. . . Не будет больше. . . Ушла. . .

В ту ночь, кружа и тревожа,

Звездная буря охватила небо.

И всё казалось таким возможным.

И ничего не было.

Прошли три недели —

Вся жизнь. . . Альда, прости!

Мы оба так хотели

Помедлить на страшном пути.

Мы оба преступили запреты.

Хотели любить, забыть. . .

И что могут два человека

Против одной Судьбы?

Где ты, святое безумье?

Стою у последней межи.

Быть может, я уже умер

И только гляжу на жизнь.

(Вздрагивает.)

Что это? Стреляют! Близо! Они ворвались!

Гонгора, очнись!
Еще не все патроны вышли!
Мы будем на каждом перекрестке биться,
И кровью эта рука допишет
Последнюю страницу!

Вбегает Педро.

Педро

Они вошли. Мы пропали.

Гонгора

Надо защищаться в старом квартале.
Баррикады. Раздать оружие. На каждой улице.
До последней пули.
Живьем не получат! Ведь красный полк еще
не сдался?
Мы держим мост у арсенала?

Педро

Выдали вождей. Все предали. Во дворце последний
отряд.
Но они требуют смены. Они тоже сдать хотят.
Что им сказать? Ведь это не герои, просто люди...

Гонгора

Смена будет.

Педро

Откуда? Ты бредишь!
Все разбежались. Это последние.
Теперь против нас весь народ.

Гонгора

Но смена придет, придет.
Через год, через век — не всё ли равно?
У этих стен Картагена
Они закричат, целясь в ночь:
«Мы пришли! Мы пришли на смену!»
Снова сердца закружатся в снежной вьюге...
Педро, скажи им, что смена будет!

Педро

Оставь эти бредни! Я не пойду к ним — они меня
выдадут.

Пойми же, всё проиграно.

Нам одно осталось — скряться,

В шляпке до Барселоны,

А там за границу.

Ты будешь полезен для нашего дела, будешь нашим
теоретиком,

Может, где-нибудь в Женеве изучишь эти роковые
недели.

Гонгора

Ты что же, хочешь использовать ветер

Для добродетельных мельниц?

Пусть другие пишут исследования,

Наше дело — умирать,

Наше дело — сделать так, Педро,

Чтобы было о чем писать.

Педро

Нет, мы должны себя беречь

Для новых гроз, для новых сеч.

Сгореть, как ракета, — это просто глупо.

А кто будет через десять лет делать новую
революцию?

Гонгора

Революцию нельзя сделать. Она приходит сама,

Как смерть, как смерч, как чума.

Долго огонь в утробе земной цепенеет.

Законы беззаконья кто исчислить сможет?

Кто скажет любовникам новой Помпеи:

Скорее бегите с брачного ложа?

Революция приходит в некий срок таинственный;

Ничто не замедлит ее суровых родов,

В урочный час уходит и напрасно тщимся мы

Раздуть костры ее отпылавших зрачков.

Педро, нам мало осталось — не устраивать новые
заговоры,

Не начинать опять уже пройденный путь

Но только здесь, под этой жадной лавой,
Уснуть.

Педро

Гонгора, но это ужасно!
Ведь все, все скрылись:
У Пабло я давно видел заграничный паспорт.
Хуан вчера удрал в Севилью.
Карлос перешел к Руису.
Только мы остались. Идем! Скорей! Ты слышишь?
Они близко!

Гонгора

Меня поставили на этот пост. Я только часовой.
Я не уйду отсюда. Оставь меня лучше!

Педро

Но что ты стережешь? Дворец пустой?

Гонгора

Я стерегу грядущее!

Педро

Гонгора, я еще так мало жил!
Я жить хочу, просыпаться утром
И кричать изо всех сил:
«А все-таки жизнь чудесная штука!»
Пусть это слабость, предательство —
Я не могу остаться.

Гонгора

Тогда — спеши! Пора!
Прощай, Педро!

Педро уходит.

Христос? Может быть, Христа и не было,
Но Петр был, он руки грел у мирного костра.
Их звали Пабло, Карлос, Хуан, Педро —
Искры, взнесенные ветром,
Отгорели, и нет их...
Ночь такая темная...
Ты один, Гонгора!..

Вбегают повстанцы, прохожие, рабочие.
Голоса: «Хлеба, хлеба!»

1 - й повстанец

Вот мы орем, а Гонгора сейчас спокойно обедает
И уписывает хлеб, не простой — слобный.
Знаем мы этих «друзей народа»!

2 - й повстанец

Довольно он нас морочил!
Вот я, к примеру, человек рабочий,
Дома — семья, дети хлеба просят.
Что ж, мне их кормить речами о Коммуне?

Женщина

Мой мальчик с голоду умер.

3 - й повстанец

Долой Коммуну! Пора за ум-разум взяться!

Бабка

И какая от нее польза, спрашивается, от этой
федерации?
Только что с голодудохнем.

Дама

А ведь при короле жилось не так уж плохо?

1 - й прохожий

Хоть биты, да сыты.
А хлеб! Каждый день круглый, ситный...

2 - й прохожий

Булочки, пирожки, ватрушки — чего только не было!

Голоса:

«Долой! Долой!
Хлеба! Хлеба!»

Гонгора

(подходит к толпе)

Когда все огни погасли —
Один последний...

Его заглушает рев толпы:
«Долой! Долой! Сказки!
Басни! Бредни!»

2-й прохожий

Довольно он нас кормил ветром!

3-й прохожий

Ну, день гори, два гори — пора и погреться...

Гонгора

Дайте сказать мне!

Крики:

«Долой Гонгору!
Долой федерацию!»

Молодой рабочий

Стойте! Нет пути обратно!

Пусть голод! Пусть холод! Пусть не дойти до небес!
Пусть на горе, на плечах и в сердцах вечный Крест!
Не для того ли даны нам руки,
Чтоб заносить их всё выше и выше?
Мы не уйдем! Не уступим!..

4-й повстанец

Довольно! Слышали!

1-й повстанец

Он смеется над нами!

2-й прохожий

Что же, мы сыты будем твоими речами?

Крики:

«Ташите его!
В речку! Выкупать!»

3-й повстанец

Он, верно, обедал,
Пусть теперь водички отведаст!

Крики:

«Хлеба! Хлеба!»

Молодого рабочего выволакивают со сцены.

Граф

Братья, мы все страдали три недели от этих бандитов
проклятых,
Все, все страдали — бедные и богатые.

Они преступили заповеди божии и предались дьяволу —
Не охраняли частной собственности, отрицали право.
Но вот вы прозрели, вернулись к богу.
Судите сами, что лучше: ржаной хлеб или звезды
с неба?

Крики:
«Мы не хотим свободы!
Хлеба! Дайте нам хлеба!»

Слышите выстрелы? Это войска Руиса.
У Руиса сколько угодно муки, картошки, риса.

Б а б к а

Да, да! Его солдаты едят пироги с начинкой.

Г р а ф

И вы будете есть — надо только выдать зачинщиков.

1 - й про хо ж и й

Да где их найдешь? Небось все удрали!
Вот! Держите! Стой! Ты кто?

Р о д р и г о

Я? «Зачинщик»? Гражданин Родриго! Слыхали?

(Про себя.)

Эх, хотел я в Мексику! Да вот суждено в Картагене...
Что ж, можно и здесь закончить представление.

(Громко.)

Любезные граждане, сейчас вы меня повесите
На самом видном месте.

Ведь я невозможен в прилично обставленном
государстве,

В консти-туцио-нной монархии!

Что же! А всё же

Мы вас слегка потревожили!

Уничтожили троны, законы

И — боже, боже! —

Купоны!

Всё поставили вверх дном.

Даже в раю учинили маленький погром.

Вечером, за чашкой кофе, в саду,

Вы вдруг вспомните: «Это было в семьдесят третьем
году...
Ах, что было!.. Лучше не вспоминать на ночь!..
А что, если снова!..» И ворвется в сердце ветер
пьяный.

Зазвенит, зашумит неумный гром:
«Мы придем! Мы опять придем!»
Берите меня! Я не костер, только малая искра.
Весело было мне по степи носиться.
Гори, трава! Степной огонек, звени!
Вот они, ответные огни!
Я недаром жил, умирать не обидно.
Я только веселый парень, бродяга Родриго.
Но вот языки буревые к небу простер
Небывалый кровавый костер.
Весь мир сгорит, и эти светила несметные
Прольются в ночь серебряным пеплом.
Это будет!.. А теперь тащите меня! Казните!
Смягчите хоть этим сердце доброго Руиса!

Крики:
«Чего его слушать! Собака бешеная!
На фонарь бродягу! Всех перевешать!»

Родриго уводят.

Г р а ф

Вы страдали, голодали, терпели,
А для них это только веселое зрелище.
Они вас кормили притчами о Коммуне,
Сулили рай небывалый.
Наш идеал — священное благоразумие.
Каждый должен довольствоваться малым.
Зачем быть такими жадными!
Богатые и бедные могут жить в полном согласии.
Надо только, чтобы каждый на черный день кое-что
откладывал.
Спасенье не в Коммуне, а в Сберегательной Кассе.
Вот если б вы не бунтовали, а работали терпеливо,
Каждый, состарившись, мог бы в саду, под оливой,
Рассказывать внукам о жизни мирной и честной
И даже приобрести на кладбище вполне приличное
место.

Ба б ка

Правда, правда!
Попутал лукавый!

2 - й повстанец

Не иначе как от дьявола.

3 - й прохожий

И только подумать:
Кто ее выдумал — эту Коммуну?
Жили без нее тихо, по-хорошему,
А теперь ни хлеба, ни рису, ни картошки. . .

Гра ф

Я вижу, вы теперь разбираетесь во всем.
Вы поняли, что церковь, король и министры о вас
пекутся.

Ныне блудный сын вернулся в отчий дом.
Слава богу, кончилась эта. . . «революция»!

Крики.

«Кончилась! Хорошенького понемножку!
С ней хлопот не оберешься!»

3 - й повстанец

Мы хотим жить, как жили прежде!

4 - й повстанец

Что нам делать? Руис нас повесит как мятежников.

Гра ф

О нет, вы такие же, как прежде,
Вы не мятежники!
Покайтесь, выдайте зачинщиков, украсьте
королевскими флагами дворец.
Идите навстречу Руису.
Ведь он вас любит, как родной отец,
Он простит вас. . .

Ж ен щ и н а

Мы будем кидать розы под копыта коней.

1 - й прохожий

Мы повесим всех федералистов и их детей!





Ба б ка

Мы будем поить королевских солдат самым лучшим
вином!

2 - й про хо ж и й

Мы все на колени падем!

Г ра ф

Идем! Встречать Руиса! Пусть скажет королю, что
мы образумились,

Забыли о Коммуне,

Что нам ненавистна свобода,

Что мы не граждане, а верноподданные!..

2 - й про хо ж и й

И будут булки, белые, слобные!

Голоса:

«Идем!

Падем!»

Уходят.

Ни щ и й

Над самым ухом палят! Пресвятая Мария!

Такая ж ночь, как тогда, когда брали город другие... .

Так же стреляли, пели, с флагами шли.

Г он го ра

Да, похоже.

Тогда — прилив, теперь — отлив,

А море — всё то же.

Ни щ и й

В ту ночь одна госпожа дала мне целых пять
песетов... .

Ох, ветер!.. Никуда не уйти от этого ветра!..

Г он го ра

Да, мы укрыться пытались,

Остановиться... Ветер унес... Ее звали Альда...

Нищий

Господин, дай грош!

(Вглядываясь в лицо.)

Это ты! Чего ж ты ждешь?

Беги! Они идут! Сейчас придут! Уходи! Они ж тебя
казнят!..

Гонгора

*(подымая винтовку, брошенную повстанцем,
и ленту с патронами)*

Нет! Есть еще патроны: пять для них, шестой для меня.
Через десять минут часы на башне пробьют половину
четвертого.

Я буду здесь валяться мертвый.

Позовешь — никто не ответит.

Будут мутные очи, не видя, смотреть.

Умру. Но останется ветер.

Ветер не может умереть.

Он никогда не рождается, пребывает всегда.

Прилетает. Улетает. Откуда? Куда?

Сейчас он несется прочь из Испании

На север — играть ледяными сердцами,

Но срок придет, и черной ночью

Он вззоет здесь, на этой площади.

В души ворвется, люди проснутся,

И кто-то первый робко шепнет: «Революция!..»

Несутся и бьются. А после — земля.

Зачем? Разве знаю? Иначе нельзя.

Впереди только ночь пустая, глухая,

И ветер еще ревет позади... .

(Наводит винтовку.)

Эй, старик! Отойди!

Стреляю!..

Июнь 1919

Киев

ПЕРЕВОДЫ

Народные песни

338. ПО ДОРОГЕ, ПО ЛОРРЭНСКОЙ

(XVI век)

По дороге, по лоррэнской
Шла я в грубых, в деревенских —
Топ-топ-топ, Марго,
В этаких сабо.

Повстречала трех военных
На дороге, на лоррэнской —
Топ-топ-топ, Марго,
В этаких сабо.

Посмеялись три военных
Над простушкой деревенской —
Топ-топ-топ, Марго,
В этаких сабо.

Не такая я простушка,
Не такая я дурнушка —
Топ-топ-топ, Марго,
В этаких сабо.

Не сказала им ни слова,
Что я встретила другого, —
Топ-топ-топ, Марго.
В этаких сабо.

Шла дорогой, шла тропинкой,
Шла и повстречала принца —
Топ-топ-топ, Марго,
В этаких сабо.

Он сказал, что всех я краше,
Он мне дал букет ромашек —
Топ-топ-топ, Марго,
В этаких сабо.

Если расцветут ромашки,
Я принцессой стану завтра —
Топ-топ-топ, Марго,
В этаких сабо.

Если мой букет завянет,
Ничего со мной не станет —
Топ-топ-топ, Марго,
В этаких сабо.

339. РЕНО

(XVI век)

Ночь была, и было темно,
Когда вернулся с войны Рено.
Пуля ему пробила живот.
Мать его встретила у ворот:
«Радуйся, сын, своей судьбе —
Жена подарила сына тебе».
— «Поздно, — ответил он, — поздно, мать.
Сына мне не дано увидеть.
Ты мне постель внизу приготовь,
Не огорчу я мою любовь,
Вздых проглоти, слезы утри,
Спросит она — не говори».
Ночь была, и было темно,
Ночью темной умер Рено.

«Скажи мне, матушка, скажи скорей,
Кто это плачет у наших дверей?»

— «Это мальчик упал ничком
И разбил кувшин с молоком».
— «Скажи мне, матушка, скажи скорей,
Кто это стучит у наших дверей?»
— «Это плотник чинит наш дом,
Он стучит своим молотком».
— «Скажи мне, матушка, скажи скорей,
Кто поет это у наших дверей?»
— «Это, дочь моя, крестный ход,
Это певчий поет у ворот».
— «Завтра крестины, скорей мне ответь,
Какое платье мне лучше надеть?»
— «В белом платье идут к венцу,
Серое платье тебе не к лицу,
Выбери черное, вот мой совет,
Черного цвета лучше нет».

Утром к церкви они подошли.
Видит она холмик земли.
«Скажи мне, матушка, правду скажи,
Кто здесь в могиле глубокой лежит?»
— «Дочь, не знаю с чего начать,
Дочь, не в силах я больше скрывать.
Это Рено — он с войны пришел,
Это Рено — он навек ушел».

«Матушка, кольца с руки снимн,
Кольца продай и сына корми.
Мне не прожить без Рено и дня.
Земля, раскройся, прими меня!»

Земля разверзлась, мольбе вняла,
Земля разверзлась, ее взяла.

340. ВОЗВРАЩЕНИЕ МОРЯКА

(XVII век)

Моряк изможденный вернулся с войны,
Глаза его были от горя черны,
Он видел немало далеких краев,
А больше он видел кровавых боев.

«Скажи мне, моряк, из какой ты страны?»
— «Хозяйка, я прямо вернулся с войны.
Судьба моряка — всё война да война.
Налей мне стаканчик сухого вина».

Он выпил стаканчик и новый налил.
Он пел, выпивая, и с песнями пил.
Хозяйка взирает на гостя с тоской,
И слезы она утирает рукой.

«Скажите, красотка, в чем гостя вина?
Неужто вам жалко для гостя вина?»

«Меня ты красоткой, моряк, не зови.
Вина мне не жалко, мне жалко любви.
Был муж у меня, он погиб на войне,
Покойного мужа напомнил ты мне».

«Я слышал, хозяйка, от здешних людей,
Что муж вам оставил двух малых детей.
А время бежит, будто в склянках песок,
Теперь уже третий, я вижу, сынок».

«Сказали мне люди, что муж мой убит,
Что он за чужими морями лежит.
Вина мне не жалко, что осень — вино,
А счастья мне жалко, ведь счастье одно».

Моряк свой стаканчик поставил на стол,
И молча он вышел, как молча пришел.
Печально пошел он на борт корабля,
И вскоре в тумане исчезла земля.

341. ВРАКИ

(XVII век)

— Я видела — лягушка
Дала солдату в зубы.
У зуба на макушке
Росли четыре чуба,

И каждый зуб был выше,
Чем эти вот дома,
И даже выше мыши.

— Не врете ль вы, кума?

— Я видела — два волка
Петрушкой торговали,
Кричали втихомолку
И щуку отпевали.
Король влюблен был в щуку,
От щуки без ума,
Он предложил ей руку.

— Не врете ль вы, кума?

— Я видела — улитка
Двух кошек обряжала,
В иглу вдевала нитку,
А нитка танцевала,
Баран был очень весел,
И шум, и кутерьма,
Их чижик всех повесил.

— Не врете ль вы, кума?

342. ГОСПОДИН ЛЯ ПАЛИСС

(XVII век)

Кто ни разу не встречал
Господина ля Палисса,
Тот, конечно, не видал
Господина Ля Палисса.
Но скрывать тут нет причин,
Мы об этом скажем прямо:
Ля Палисс был господин
И поэтому не дама.

Знал он с самых ранних лет,
Что впадают реки в море,

Что без солнца тени нет
И что счастья нет без горя.
Жизнь была ему ясна,
Говорил он, строг и точен:
«Чтоб проверить вкус вина,
Нужно отхлебнуть глоточек».

Если не было дождя,
Выходил он на прогулку.
Уходил он, уходя.
Булкой называл он булку.
Жизнь прожив холостяком,
Не сумел бы он жениться,
И поэтому в свой дом
Ввел он чинную девицу.

У него был верный друг,
И сказал он сразу другу,
Что, поскольку он — супруг,
У него теперь супруга.
По красе и по уму,
Будь бы он один на свете,
Равных не было б ему
Ни в мечтах, ни на примете.

Был находчив он везде,
Воле господу послушен,
Плавал только по воде
И не плавал он на суше.
Повидал он много мест,
Ездил дальше, ездил ближе,
Но когда он ездил в Брест,
Не было его в Париже.

Чтил порядок и закон,
Никаким не верил бредням.
День, когда скончался он,
Был и днем его последним.
В пятницу он опочил.
Скажем точно, без просчета —
Он на день бы дольше жил,
Если б дожил до субботы.

Франсуа Вийон

343. БАЛЛАДА ПОЭТИЧЕСКОГО СОСТЯЗАНИЯ В БЛУА

От жажды умираю над ручьем.
Смеюсь сквозь слезы и тружусь играя.
Куда бы ни пошел, везде мой дом,
Чужбина мне — страна моя родная.
Я знаю всё, я ничего не знаю.
Мне из людей всего понятней тот,
Кто лебедицу вороном зовет.
Я сомневаюсь в явном, верю чуду.
Нагой, как червь, пышной я всех господ.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Я скуп и расточителен во всем.
Я жду и ничего не ожидаю.
Я нищ, и я кичусь своим добром.
Трещит мороз — я вижу розы мая.
Должна слез мне радостнее рая.
Зажгут костер — и дрожь меня берет,
Мне сердце отогреет только лед.
Запомню шутку я и вдруг забуду,
Кому презренье, а кому почет.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Не вижу я, кто бродит под окном,
Но звезды в небе ясно различаю,
Я ночью бодр, а сплю я только днем.
Я по земле с опаскою ступаю,
Не вехам, а туману доверяю.
Глухой меня услышит и поймет.
Я знаю, что полыни горше мед.
Но как понять, где правда, где причуда?
А сколько истин? Потерял им счет.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Не знаю, что длиннее — час иль год,
Ручей иль море переходят вброд?
Из рая я уйду, в аду побуду.
Отчаянье мне веру придает.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

344. ИЗ «БОЛЬШОГО ЗАВЕЩАНИЯ»

Я знаю, что вельможа и бродяга,
Святой отец и пьяница поэт,
Безумец и мудрец, познавший благо
И вечной истины спокойный свет,
И щеголь, что, как кукла, разодет,
И дамы — нет красивее, поверьте, —
Будь в ценных жемчугах они иль нет, —
Никто из них не скроется от смерти.

Будь то Парис иль нежная Елена,
Но каждый, как положено, умрет.
Дыханье ослабеет, вспухнут вены,
И желчь, разлившись, к сердцу потечет,
И выступит невыносимый пот.
Жена уйдет, и брат родимый бросит,
Никто не выручит, никто не отведет
Косы, которая не глядя косит.

Скосила — и лежат белее мела,
Нос длинный заострился, как игла,
Распухла шея, и размякло тело.
Красавица, нежна, чиста, светла,
Ты в холе и довольстве век жила,
Скажи, таков ли твой ужасный жребий —
Кормить собой червей, истлеть дотла?
— Да, иль живой уйти, растаять в небе.

345. БАЛЛАДА И МОЛИТВА

Ты много потрудился, Ной,
Лозу нас научил сажать,
При сыновьях лежал хмельной.
А Лот, отведав кружек пять,
Не мог понять, где дочь, где мать.
В раю вам скучно без угара,
Так надо вам похлопотать
За душу стряпчего Котара.

Он пил, и редко по одной,
Ведь этот стряпчий вам под стать,
Он в холод пил, и пил он в зной,
Он пил, чтоб лечь, он пил, чтоб встать,
То в яму скок, то под кровать.
О, только вы ему под пару,
Словечко надо вам сказать
За душу стряпчего Котара.

Вот он стоит передо мной,
И синяков не сосчитать,
У вас за голубой стеной
Одна вода и тишь да гладь,
Так надо стряпчего позвать,
Он вам поддаст немного жара,
Уж постарайтесь постоять
За душу стряпчего Котара.

Его на небо надо взять,
И там по памяти по старой
С ним вместе бочку опростать
За душу стряпчего Котара.

346. ИЗ ЖАЛОБ ПРЕКРАСНОЙ ОРУЖЕЙНИЦЫ

Где крепкие, тугие груди?
Где плеч атлас? Где губ бальзам?
Соседи и чужие люди
За мной бежали по пятам,
Меня искали по следам.
Где глаз манящих поволока?
Где тело, чтимое, как храм,
Куда приходят издалека?

Гляжу в тоске — на что похожа?
Как шило нос, беззубый рот,
Растрескалась, повисла кожа,
Свисают груди на живот.
Взгляд слезной мутью отдает,
Вот клочок волос растет из уха.

Самой смешно — смерть у ворот,
А ты всё с зеркалом, старуха.

На корточках усевшись, дуры,
Старухи все, в вечерний час
Мы раскудахчемся, как куры,
Одни, никто не видит нас,
Всё хвастаем, в который раз,
Когда, кого и как прельстила.
А огонек давно погас —
До ночи масла не хватило.

347. БАЛЛАДА ПРЕКРАСНОЙ ОРУЖЕЙНИЦЫ ДЕВУШКАМ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Швея Мари, в твои года
Я тоже обольщала всех.
Куда старухе? Никуда.
А у тебя такой успех.
Тащи ты и хрыча и шкета,
Тащи блондина и брюнета,
Тащи и этого и тех.
Ведь быстро песенка допета,
Ты будешь как пустой орех,
Как эта стертая монета.

Колбасница, ты хоть куда,
Колбасный цех, сапожный цех —
Беги туда, беги сюда,
Чтоб сразу всех и без помех!
Но не зевай, покуда лето,
Никем старуха не согрета,
Ни ласки ей и ни утех,
Она лежит одна, отпета,
Как без вина прокисший мех,
Как эта стертая монета.

Ты, булочница, молода,
Ты говоришь — тебе не спех,

А прозеваешь — и тогда
Уж ни прорух и ни прорех,
И ни подарков, ни букета,
Ни ночи жаркой, ни рассвета,
Ни поцелуев, ни потех,
И ни привета, ни ответа,
А позовешь — так смех и грех,
Как эта стертая монета.

Девчонки, мне теперь не смех,
Старуха даром разодела,
Она как прошлогодний снег,
Как эта стертая монета.

**348. БАЛЛАДА, В КОТОРОЙ ВИЙОН
ПРОСИТ У ВСЕХ ПОЩАДЫ**

У солдата в медной каске,
У монаха и у вора,
У бродячего танцора,
Что от троицы до пасхи
Всем показывает пляски,
У лихого горлодера,
Что рассказывает сказки,
У любой бесстыжей маски
Шутовского маскарада —
Я у всех прошу пощады.

У девиц, что без опаски,
Без отяжки, без зазора
Под мостом иль у забора
Потупляют сразу глазки,
Раздают прохожим ласки,
У любого живодера,
Что свежует по указке, —
Я у всех прошу пощады.

Но доносчиков не надо,
Не у них прошу пощады.

Их проучат очень скоро —
Без другого разговора,
Для показки, для острастки,
Топором, чтоб знали гады,
Чтобы люди были рады,
Топором и без огласки.

Я у всех прошу пощады.

349. ИЗ «БОЛЬШОГО ЗАВЕЩАНИЯ»

Я душу смутную мою,
Мою тоску, мою тревогу,
По завещанию даю
Отныне и навеки богу
И призываю на подмогу
Всех ангелов — они придут,
Сквозь облака найдут дорогу
И душу богу отнесут

Засим земле, что наша мать,
Что нас кормила и терпела,
Прошу навеки передать
Мое измученное тело,
Оно не слишком раздобрело,
В нем черви жира не найдут,
Но так судьба нам всем велела,
И в землю все с земли придут.

350. БАЛЛАДА ИСТИН НАИЗНАНКУ

Мы вкус находим только в сене
И отдыхаем средь забот,
Смеемся мы лишь от мучений,
И цену деньгам знает мот.
Кто любит солнце? Только крот.
Лишь праведник глядит лукаво,
Красоткам нравится урод,
И лишь влюбленный мыслит здраво.

Лентяй один не знает лени,
На помощь только враг придет,
И постоянство лишь в измене.
Кто крепко спит, тот стережет,
Дурак нам истину несет,
Труды для нас — одна забава,
Всего на свете горше мед,
И лишь влюбленный мыслит здраво.

Коль трезв, так море по колени,
Хромой скорее всех дойдет,
Фома не ведает сомнений,
Весна за летом настает.
И руки обжигает лед.
О мудреце дурная слава,
Мы море переходим вброд,
И лишь влюбленный мыслит здраво.

Вот истины наоборот:
Лишь подлый душу бережет,
Глупец один рассудит право,
И только шут себя блюдет,
Осел достойней всех поет,
И лишь влюбленный мыслит здраво.

351. СПОР МЕЖДУ ВИЙОНОМ И ЕГО ДУШОЮ

- Кто это? — Я. — Не понимаю, кто ты?
— Твоя душа. Я не могла стерпеть.
Подумай над собою. — Неохота.
— Взгляни, подобно псу, — где хлеб, где плоть,
Не можешь ты ни жить, ни умереть.
— А отчего? — Тебя безумье охватило.
— Что хочешь ты? — Найди былые силы,
Опомнись, изменись. — Я изменюсь.
— Когда? — Когда-нибудь. — Коль так, мой милый,
Я промолчу. — А я, я обойдусь.
- Тебе уж тридцать лет. — Мне не до счета.
— А что ты сделал? Будь умнее впрямь.

- Познай! — Познал я всё, и оттого-то
Я ничего не знаю. Ты заметь,
Что нелегко отпетому запеть.
— Душа твоя тебя предупредила.
Но кто тебя спасет? Ответ. — Могила.
Когда умру, пожалуй, примирюсь.
— Поторопись. — Ты зря ко мне спешила.
— Я промолчу. — А я, я обойдусь.
- Мне страшно за тебя. — Оставь свои заботы.
— Ты — господин себе. — Куда себя мне деть?
— Вся жизнь — твоя. — Ни четверти, ни сотой.
— Ты в силах изменить. — Есть воск и медь.
— Взлететь ты можешь. — Нет, могу истлеть.
— Ты лучше, чем ты есть. — Оставь кадило.
— Взгляни на небеса. — Зачем? Я отвернусь.
— Ученье есть. — Но ты не научила.
— Я промолчу. — А я, я обойдусь.
- Ты хочешь жить? — Не знаю. Это было.
— Опомнись! — Я не жду, не помню, не боюсь.
— Ты можешь всё. — Мне всё давно постыло.
— Я промолчу. — А я, я обойдусь.

352. РОНДО

Того ты упокой навек,
Кому послал ты столько бед,
Кто супа не имел в обед,
Охапки сена на ночлег,
Как репа гол, разут, раздет, —
Того ты упокой навек!

Уж кто его не бил, не сек?
Судьба дала по шее, нет,
Еще дает — так тридцать лет.
Кто жил похуже всех калек —
Того ты упокой навек!

**353. ЭПИТАФИЯ,
НАПИСАННАЯ ВИДОМ ДЛЯ НЕГО И ЕГО ТОВАРИЩЕЙ
В ОЖИДАНИИ ВИСЕЛИЦЫ**

Ты жив, прохожий. Погляди на нас.
Тебя мы ждем не первую неделю.
Гляди — мы выставлены напоказ.
Нас было пятеро. Мы жить хотели.
И нас повесили. Мы почернели.
Мы жили, как и ты. Нас больше нет.
Не вздумай осуждать — безумны люди.
Мы ничего не возразим в ответ.
Взглянул и помолишь, а бог рассудит.

Дожди нас били, ветер тряс и тряс,
Нас солнце жгло, белили нас метели.
Летали вороны — у нас нет глаз.
Мы не посмотрим. Мы бы посмотрели.
Ты посмотри — от глаз остались щели.
Развеет ветер нас. Исчезнет след.
Ты осторожней нас живи. Пусть будет
Твой путь другим. Но помни наш совет:
Взглянул и помолишь, а бог рассудит.

Господь простит — мы знали много бед.
А ты запомни — слишком много судей.
Ты можешь жить — перед тобою свет,
Взглянул и помолишь, а бог рассудит.

354. БАЛЛАДА ПРИМЕТ

Я знаю, кто по-шегольски одет,
Я знаю, вссел кто и кто не в духе,
Я знаю тьму кромешную и свет,
Я знаю — у монаха крест на брюхе,
Я знаю, как трезвонят завирухи,
Я знаю, врут они, в трубу трубя,
Я знаю, свахи кто, кто повитухи,
Я знаю всё, но только не себя.

Я знаю летопись далеких лет,
Я знаю, сколько крох в сухой краюхе,

Я знаю, что у принца на обед,
Я знаю — богачи в тепле и в сухе,
Я знаю, что они бывают глухи,
Я знаю — нет им дела до тебя,
Я знаю все затрещины, все плюхи,
Я знаю всё, но только не себя.

Я знаю, кто работает, кто нет,
Я знаю, как румянятся старухи,
Я знаю много всяческих примет,
Я знаю, как смеются потаскухи,
Я знаю — проведут тебя простухи,
Я знаю — пропадешь с такой, любя,
Я знаю — пропадают с голодухи,
Я знаю всё, но только не себя.

Я знаю, как на мед садятся мухи,
Я знаю смерть, что рыщет, всё губя,
Я знаю книги, истины и слухи,
Я знаю всё, но только не себя.

355. ИЗ «БОЛЬШОГО ЗАВЕЩАНИЯ»

О юности могу грустить я.
Когда я был еще глупцом,
Кутил я до ее отбытья.
Она оставила мой дом,
Она ушла, но не пешком,
Не на коне, но как — не знаю!
Внезапно скрылась за кустом. . .
Ищу, грущу и вспоминаю.

356. ВИЙОН СВОЕЙ ПОДРУГЕ

О нежность, полная жестоких мук,
Вся красота, обманная и злая!
Притворный взгляд, и ласка, и испуг.
Тяжка любовь, и каждый день, пытая,
Меняется и гнет, и нет ей края.

Гордыня! И глазам меня не жаль,
Они смеются, жалости не зная.
Не отягчай, но утоли печаль!

Нет, лучше бы уйти от этих рук.
Не здесь искать мне отдыха и рая.
Неисцелимый взял меня недуг
И сушит, и томит, не упуская.
Большой и малый — видят все: вздыхая,
Я умираю раненый. Не сталь
Меня сразила, но любовь слепая.
Не отягчай, но утоли печаль!

Придет пора, и ты, мой нежный друг,
Себя увидишь — желтая, сухая.
Прекрасный цвет ланит — завял он вдруг,
И волосы белеют, выпадая.
Скорее пей же эти воды мая!
И приходящего тоской не жаль!
Пока ты свежая и молодая,
Не отягчай, но утоли печаль!

ПОСЛАНИЕ

О принц, любовным жалобам внимая,
Ты ясно зришь любви высь и даль,
Тебя прошу — все муки отпуская,
Не отягчай, но утоли печаль!

357. БАЛЛАДА (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ)

Закрывается здесь Завещанье,
Замолкает здесь бедный Вийон.
О, придите вы все на прощанье,
Как раздастся торжественный звон.
Приоденьтесь же для похорон.
Ибо умер, любви унылой
Он стрелой беспощадной сражен,
Отходя от сей жизни постылой.

Он в отрепьях, изведав изгнание,
Всеми брошен, везде заклеямен,
Переживши любви страданье,
Горечь ласк и разлуки урон,
Был обманут и был обойден.
Он об этом твердил пред могилой,
Чуя смерти целительный сон,
Отходя от сей жизни постылой.

.

ПОСЛАНИЕ

Сколь любезен ты, принц, и влюблен,
Знай — Вийона любовь охватила,
Залпом горечь вина выпил он,
Отходя от сей жизни постылой.

358. ЭПИТАФИЯ

В сей горнице стрелой ужасной,
Любви стрелой навек сражен,
Покойно спит школяр несчастный
По имени Вийон.

359. БАЛЛАДА О ДАМАХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

Скажите, где они, в какой стране
Таис и Флоры сладостные тени?
И где принявшая конец в огне
Святая девственница — дочь Лоррени?
Где нимфа Эхо, чей напев весенний
Порой тревожил речки тихий брег,
Чья красота была всех совершенней?
Но где же он — где прошлогодний снег?

Где Берта и Алиса — где оне?
О них мои томительные пени.

Где дама, плакавшая в тишине,
Что Буридана утопила в Сене?
О, где оне, подобны легкой пене?
Где Элоиза, из-за коей век
Окончил Пьер под схимой отречений?
Но где же он — где прошлогодний снег?

Я королеву Бланш узрю ль во сне?
По песням равная былой сирене,
Что запевала на морской волне,
В каком краю она — каких пленений?
Еще спрошу о сладостной Елене.
О дева дев, кто их расцвет пресек?
И где оне, владычицы видений?
Но где же он — где прошлогодний снег?

ПОСЛАНИЕ

Принц, всё проходит мимо в быстрой смене,
Но пусть припев сей прозвучит навек —
Тщетой припоминаний и томлений:
Но где же он — где прошлогодний снег?

360. БАЛЛАДА ВИЙОНА К ТОЛСТОЙ МАРГО

Люблю красотку я, служу ей страстно,
Но не дурак я, не простец смешной.
Она на всякий вкус, для всех прекрасна,
Обут и сыт из-за нее одной.
Приходит гость — беру кувшин большой,
Несу воды, не говоря ни слова,
Им хлеб даю, плоды, вина густого.
Коль платит хорошо — кричу потом:
«Как распалитесь, киньтесь снова
В блудилище, где вместе мы живем».

Но иногда взглянуть на нас опасно,
Как без гроша Марго придет домой.

Я видеть не могу ее! Ужасна!
Беру наряды все ее — постой!
Коль так, я всё отдам за золотой!
Тут начинается, она среди рева
Кричит, что не отдаст свои обновы.
Я ей даю по морде кулаком
И ставлю на щеке пятак багровый
В блудилище, где вместе мы живем.
.
Потом мир заключен, она рукой
Мне ляжку гладит — «ты милашка мой».
.
И, пьяные, мы спим мертвецким сном.
Всю ночь мычит проклятая корова
В блудилище, где вместе мы живем.

ПОСЛАНИЕ

Что ветер, снег? Мне хлеб всегда готовый.
Я жулик, а она нашла такого.
Кто лучше? Хороши они вдвоем!
И, верьте, рыбка стоит рыболова
В блудилище, где вместе мы живем!

361. ИЗ «БОЛЬШОГО ЗАВЕЩАНИЯ»

Для матери молитва скреплена,
Чтоб прославлять Заступницу отныне,
Бог знает, сколько вынесла она,
Простая женщина, скорбя о сыне.
Нет мне убежища, иной твердыни!
Но плоть мою и душу может ограждать
Средь множества печалей и уныний
Старуха бедная — и это мать!

**362. БАЛЛАДА,
КОТОРУЮ ВИФОН НАПИСАЛ СВОЕЙ МАТЕРИ,
ЧТОБ ОНА ПРОСЛАВЛЯЛА БОГОРОДИЦУ**

Небесная царица и земная,
Хранительница преисподних врат
И госпожа заоблачного края,
Прими убогую в свой райский сад,
Где дети славословят и кадят.
Я, грешная, жила не так, как надо.
Я, нерадивая, прошу пощады.
Грехов изведала я злую сеть,
Но ныне к деве обращаю взгляды —
Хочу в сей вере жить и умереть.

Ты сыну своему скажи — темна я,
Чтоб он не оттолкнул меня назад.
Так Магдалину принял он, прощая,
И так монаха, что грешил стократ,
Продавши черту душу, выпив яд
Всей дьявольской науки и услады,
Простил он, добрый пастырь злого стада.
Заступница, моли его и впредь
Ты, лилия невидимого сада.
Хочу в сей вере жить и умереть.

Я женщина убогая, простая.
Читать не знаю я. Меня страшат
На монастырских стенах кущи рая,
Где блещут арфы, и под раем ад,
Где черти нечестивцев кипятят.
Сколь радостно в раю, сколь страшно ада
Среди костров, и холода, и глада!
К тебе должны бежать и восхотеть
Твоих молений и твоей ограды.
Хочу в сей вере жить и умереть.

ПОСЛАНИЕ

Ты, мать божия, — печаль и страда!
Твой сын оставил ангелов усладу,
За нас он принял крест, и бич, и плеть.
Таков он, и в такого верить рада,
Хочу в сей вере жить и умереть.

**363. ЧЕТВЕРОСТИШИЕ,
КОТОРОЕ НАПИСАЛ ВИЙОН,
ПРИГОВОРЕННЫЙ К ПОВЕШЕНИЮ**

Я Франсуа — чему не рад!
Увы, ждет смерть злодея,
И, сколько весит этот зад,
Узнает скоро шея.

Ронсар

364

Старухой после медленного дня,
Над пряжей, позабывши о работе,
Вы нараспев стихи мои прочтете:
Ронсар в дни юности любил меня.

Служанка, голову от сна клоня
И думая лишь о своей заботе,
На миг очнется. Именем моим вспугнете
Вы двух старух у зимнего огня.

Окликнете — ответить не сумею;
Я буду мертвым, под землей истлею.
И, старая, вы скажете грустя:

«Зачем его любовь я отвергала?»
Вот роза расцветает, час спустя
Ее не будет — доцвела, опала.

Иоахим дю Белле

365

Голубка над кипящими валами
Надежду обреченным принесла —
Оливы ветвь. Та ветвь была светла,
Как весть о мире с тихими садами.

Трубач трубит. Несет знаменщик знамя.
Кругом деревни сожжены дотла.
Война у друга друга отняла.
Повсюду распри и пылает пламя.

О мире кто теперь не говорит?
Слова красивы, и посулы лживы.
Но я гляжу на эту ветвь оливы:

Моя надежда, мой зеленый щит,
Раскинь задумчивые ветви шире
И обреченным ты скажи о мире!

366

Уж ночь на небо выгоняла стадо
Своих блуждающих косматых звезд,
И ночи конь, вздымая черный хвост,
Уж несся вниз, в подземную прохладу.

Уж в Индии, встревожены и рады,
Перекликались сонмы сонных звезд.
Всё розовело. Трав был слышен рост.
Туманов плотных дрогнула ограда.

Тогда, вся в жемчуге, светясь, горя,
Вдруг показалась новая заря.
И день, пристыжен смутным ожиданьем,

Далекой Индии большой Восток
И пыль анжуйских голубых дорог
Залил своим как бы двойным сияньем.

367

Увидев Рим с холмами неживыми,
Безмолвствует в смятенье пилигрим:
Нагромождение камней пред ним.
Напрасно Рим найти он тщится в Риме.

Был пышен Рим и был непобедим,
Он миром правил. В серо-синем дыме —
Обломки славы, щепень. Где же Рим?
Уж Рима нет, осталось только имя.

Он побеждал чужие города,
Себя он победил — судьба солдата.
И лишь несется, как неслась когда-то,

Большого Тибра желтая вода.
Что вечным мнилось, рухнуло, распалось,
Струя поспешная одна осталась.

368

Повсюду славен, повсеместно чтим,
С поверженными, праздными богами,
С убогим мусором в разбитом храме,
Нам открывается великий Рим.

Был блеск его уму непостижим,
Беседовали башни с небесами.
И вот, расщеплен, он лежит пред нами,
Он нас томит ничтожеством своим.

Где слава цезарей, рабов работа,
Побед кровавых пышные ворота,
Героев рой, бессмертия ключи?

Всё унесли века. Страшней нет власти.
Я говорю себе: коль эти страсти
Испепелило время, промолчи.

369

Пришельца потрясает запустенье:
Те арки, что страшили небеса,
И дерзкий мост, и мрамора леса —
Пожарище, камней нагроможденье.

380

Но этот прах — источник вдохновенья;
Еще звучат бывшего голоса,
И зодчий, открывая чудеса,
Возносит к небу дивные строенья.

Не думайте, что всё окрест мертво,
Колонны рухнули, не мастерство.
Обманчивому облику не верьте.

Вот он — веками истребленный Рим,
Он воскресает, он неистребим,
Рожденный страстью, он сильнее смерти.

370

Я не берусь проникнуть в суть природы,
Уму пыливому подать совет,
Исследовать кружение планет,
Архитектуру мира, неба своды.

Не говорю про битвы, про походы.
В моих стихах высоких истин нет,
В них только сердца несколько примет,
Рассказ про радости и про невзгоды.

Не привожу ни доводов, ни дат.
Потомкам не твержу, как жили предки.
Не громок я, цветами не богат.

Мои стихи — случайные заметки.
Но не украшу, не приглашу их —
В них слишком много горестей моих.

371

Льстецы покажут нам искусство лести,
Влюбленные раскроют сердца страсть,
Хвастун свой подвиг приукрасит всласть,
Вздохнет пройдоха о доходном месте.

Ревнивец будет бурно жаждать мести,
Ханжа докажет, что от бога власть,
Подлиза скажет, как к стопам припасть,
Вояка бравый помянет о чести,

Хитрец откроет мудрость дурака,
Дурак его похвалит свысока,
Моряк расскажет, как он плавал в море,

Злословить будут злые языки,
Шутить не перестанут шутники.
Я в горе вырос и прослаблю горе.

372

В лесу ягненок блеет — знать,
Овцу зовет. Меня вскормила
Ты, Франция. Кого мне звать?
Ты колыбель, и ты могила.

Меня ты нянчила, учила.
Меняют стих, меняют статью.
Но как найти другую мать?
Кому ты место уступила?

Зову, кричу, а толка нет:
Лишь эхо слышу я в ответ.
Другим тепло, другим отрада.

А мне зима, а мне сума,
И волчий вой сведет с ума.
Я — тот, что отстаёт от стада.

373

Служу — я правды от тебя не прячу, —
Хожу к банкирам, слушаю купцов.
Дивишься ты — на что я годы трачу,
Как петь могу, где время для стихов.

Поверь, я не пою, в стихах я плачу,
Но, сам заморожен звучаньем слов,
Я до утра слагать стихи готов,
В слезах пою и не могу иначе,

Так за работою поет кузнец,
Иль, веслами ворочая, гребец,
Иль путник, вдруг припомнив дом родимый,

Так жнец поет, когда невмочь ему,
Иль юноша, подумав о любимой,
Иль каторжник, кляня свою тюрьму.

374

Счастлив, кто, уподобясь Одиссею,
Исколесит полсвета, а потом,
В чужих порядках сведущ, зрел умом,
На землю ступит, что зовет своею.

Когда ж узрю Лауру, что лелею,
Мою Луару, мой убогий дом
И дым над крышей в небе голубом?
Я не хочу величья Колизея.

Не мил мне мрамор. Как ни дивен Рим,
Он не сравнится с домиком моим.
На что бы ни глядел и ни был где бы,

Передо мной не боги на горе,
Не быстрый Тибр, а милая Лирé
И Франции единственное небо.

375

Хочу я верить, а кругом неверье.
Свободу я люблю, но я служу.
Слова чужие нехотя твержу,
Который год ряжусь в чужие перья.

Льстецы трусливо шепчутся за дверью,
Вельможа лжет вельможе, паж — пажу.
Не слышу правды, правды не скажу.
Хожу, твержу уроки лицемерья.

Ищу покоя, а покоя нет.
Я из одной страны спешу в другую
И тотчас о покинутой тоскую.

Стихи люблю, а мне звучит в ответ
Всё та же речь, фальшивая, пустая —
Святоши ложь, признанья красная.

376

Зачем глаза им? Ведь посмотрит кто-то,
Доложит. Уши им зачем? Для сна?
Они не видят горя, им видна
Доспехов и трофеев позолота.

Кто плачет там? Им воевать охота.
Страна измучена, разорена,
Но между ними и страной стена.
Еще поцарствовать — вот их забота.

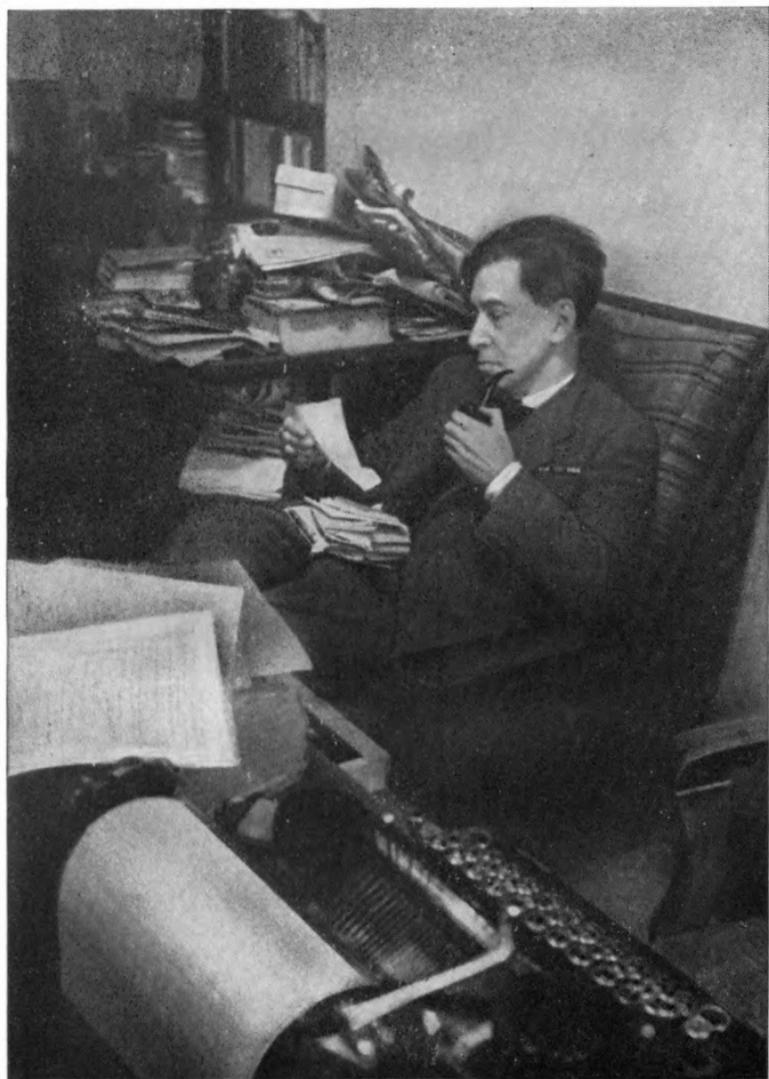
Страна в слезах. У них свои игрушки:
Знамена, барабаны, трубы, пушки.
Приказ готов. Оседлан быстрый конь.

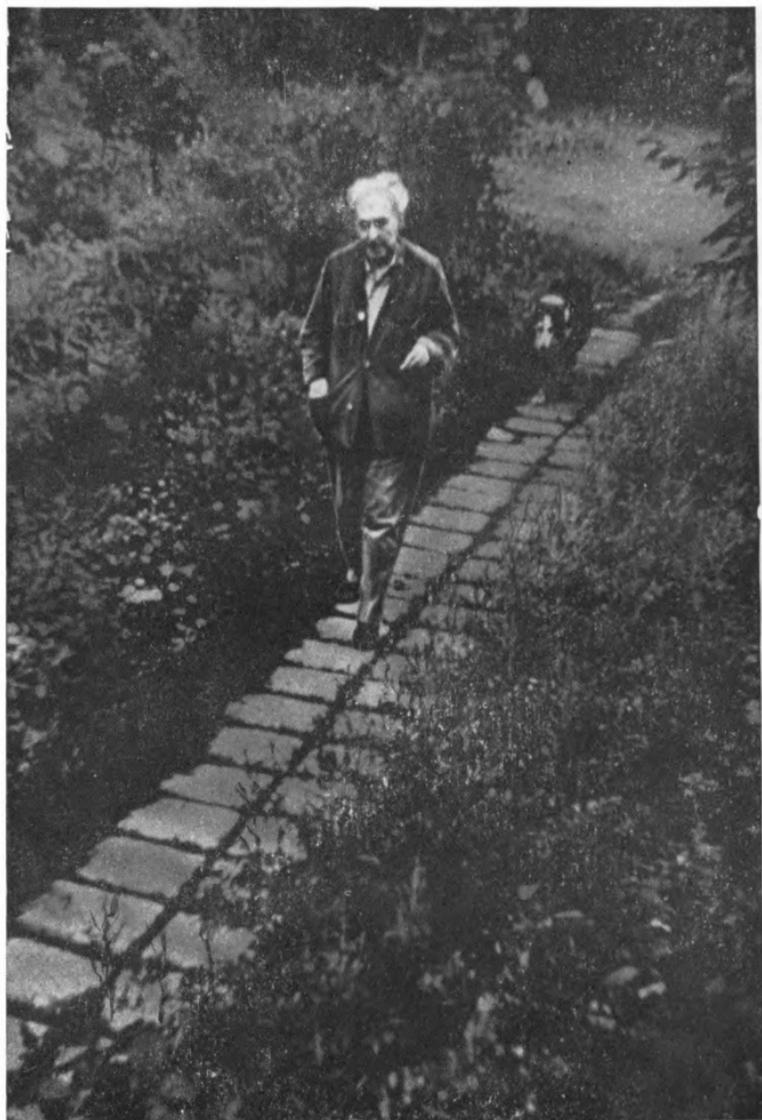
Так, на холме король троянский стоя,
Глядел, как перед ним горела Троя,
И, обезумев, прославлял огонь.

Поль Верлен

377. СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА

По небу струились закатные чары,
И ветер, слабея, качал неньюфары,
Большие цветы на уснувших прудах
Печально белели в густых тростниках.





Я шел одинокий и думал тоскливо,
Меня провожали плакучие ивы.
Туман безнадежный над темной водой
Свивался, как призрак, усталый, больной.

Сливаясь с туманом, с моими слезами,
Пугливые птицы звенели крылами.
Я шел одинокий с печалью моей,
И ивы клонили верхушки ветвей.

Вечерние тени сбегали безмолвно
На черное небо, на блеклые волны,
Одни неньюфары в густых тростниках
Печально белели на тихих прудах.

378. СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

В покинутом парке, печальном, пустом,
Две скорбные тени проходят вдвоем.

Глаза их погасли, уста побледнели,
Их тихие речи звучат еле-еле.

В покинутом парке, печальном, пустом,
Две тени, встречаясь, грустят о былом.

— Скажи мне, ты помнишь ли счастье бывшее?
— Зачем вы хотите, чтобы помнил его я?..

— Душа моя снится тебе, и тогда,
Скажи мне, ты плачешь во сне? — Никогда.

— О, прошлая радость тебя не тревожит
И первых признаний восторги? — Быть
может...

— И синее небо и вера в сердцах?
— Но вера исчезла в ночных небесах... .

Так тихо проходят две скорбные тени,
И ночь только слышит их речи сомнений.

379. АМУР НА ЗЕМЛЕ

Сегодня ночью ветер тягостный и хмурый
В аллее самой темной и пустой,
Блуждая, сбросил с пьедестала хитрого Амура,
Коварного Амура с тоненькой стрелой.

Вчера мы целый день о той стреле мечтали,
А ветер сбросил статую. Едва-едва
В тени деревьев на опустевшем пьедестале
Мы разбираем стертые почти слова.

О мысли грустные, одна другой грустнее. . .
Себя я вижу одиноким и пустым,
Как этот пьедестал в заброшенной аллее,
Перед которым мы сейчас вдвоем стоим.

О, грустно это! Даже ты грустить готова,
Почти растроганная. . . Но исподтишка
Ты весело глядишь на ярко-золотого,
Играющего над цветами мотылька. . .

380. СВЕТ ЛУНЫ ТУМАННОЙ...

Свет луны туманной
Серебрит леса.
И стихают странно,
Где-то замирая,
Птичьего голоса.

Нежная, родная!

И под ветром мрачным,
Тихо и лениво,
Над прудом прозрачным
Скорбною листвою
Наклонилась ива.

Погрусти со мною!

Помечтаем вместе,
С высоты небесной
К нам доходят вести
Мира и прощенья.
Это миг чудесный!

Это миг забвенья!

381. ТЕНЬ ДЕРЕВЬЕВ...

Тень деревьев, склоненных над ручьем неживым,
Умирает, как призрак, как дым,
А в кустах, наклонившись над зеркалом вод,
Соловей, засыпая, поет.

Расскажи мне, прохожий, этот вечер, скорбя,
Заставляет скорбить и тебя;
И как жалобно плачут средь ночной тишины
И твои безнадежные сны?

382. РУКА ПЕЧАЛЬНАЯ ЛАСКАЕТ ПИАНИНО...

Рука печальная ласкает пианино,
И звуки льются медленной волной
И в пахнувшей ее духами маленькой гостиной
Летают тихо надо мной.

Какой напев знакомый, но забытый
Так ласково баюкает меня?
Окно в уснувший сад полуоткрыто.
И звуки тихо, плача и звеня,
Как будто умирают на закате дня. . .

383. СЕРДЦЕ ТИХО ПЛАЧЕТ...

Il pleut doucement sur la ville.

A. Rimbaud ¹

Сердце тихо плачет,
Точно дождик мелкий,
Что же это значит,
Если сердце плачет?

Падая на крыши,
Плачет мелкий дождик,
Плачет тише, тише,
Падая на крыши.

И, дождю внимая,
Сердце тихо плачет.
Отчего — не зная,
Лишь дождю внимая.

И ни зла, ни боли!
Всё же плачет сердце,
Плачет оттого ли,
Что ни зла, ни боли?

384. БЕДНЫЕ ДОБРЫЕ ПОМЫСЛЫ...

Бедные добрые помыслы, снова я вижу вас, снова,
Крепкая вера и грусть о растроченной силе былого,
Разум суровый с печальной и нежно-покорной душой,
Строгая бдительность эта и сердцу внушенный покой.
Все вы! Покуда идете вы медленно, робко и вяло,
Шли бы вы бодро, но теплая ночь ваши очи застлала.
Все вы идете за самой неловкой, и светом луны,
Белым и сладостным светом, вы, бедные, все смущены.
Все вы как овцы, что только что вышли из хлева на
волю:
Тихо одна за другой, опустив свои головы, в поле

¹ Тихо идет дождь над городом. А. Рембо (франц.). — *Ред.*

Жмутся они и ступают, пугливо взирая кругом,
Тихо проходят, не зная куда, за своим вожакom.
Он остановится — все они тотчас, не зная причины,
Кротко застынут, сложив свои морды друг другу
на спины.
Бедные овцы, ваш пастырь не я, я не вижу пути,
Это Иной и Достойный — Он знает, куда вас вести.
Он вас держал взаперти, но настанет минута, и стадо
Выпустит Он, и своею рукой поведет куда надо.
Овцы, идите за Ним, и под бляенье ваших сердец
Буду я псом пастуха моих бедных и добрых овец.

Артур Рембо

385. СОН НА ЗИМУ

Ей

Зимой уедем мы в вагоне розовом и скромном
Среди подушек голубых,
Нам будет хорошо, и в каждом уголке укромном
Гнездо для наших ласк шальных.

Ты глаз закроешь, чтоб не видеть в этот час
вечерний
За окнами больших теней,
Чудовищных кривляний их и всей противной черни,
Больших и маленьких чертей.

Ты станешь, может быть, еще смущенней и краснее,
Когда, твою щеку ужалив, побежит по шее
Мой поцелуй, как паучок.

Ты скажешь: «Поищи его», — склонив свою головку,
И мы начнем искать того, кто так умно и ловко
Ужалил лучшую из щек.

386. LES CHERCHEUSES DE POUX ¹

Когда ребенок, полный красной мукн,
Оплакивает сказок белый дым,
Две старшие сестры, закинув руки,
К кровати маленькой идут за ним.

Ведут к окну, раскрытому широко,
Где листья моет вечер голубой,
И с нежностью, особенно жестокой,
Скользят в кудрях, обрызганных росой.

Он слушает, как сестры дышат ровно,
В дыханье их сокрыт цветочный мед.
И иногда одна из них любовно
Его тем ароматом обдает.

И в тишине трепещут их ресницы,
Исходит свист из их прилежных уст.
Когда ж их взор добычей насладится,
Под острыми ногтями слышен хруст.

Он чувствует вино сладчайшей лени,
Под ласками сестер не плачет он,
Обвеян негой медленных движений
И словно погружаясь в тихий сон.

Франсис Жамл

387. ПОЛЕЗНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В марте (знак Овена) начинают сеять
Каротель, капусту и пахучий клевер.
Боронить кончают и в садах навозом
Удобрят землю, подстригают лозы.
Для животных зимний корм окончен, в села
Матери прилежно лижут пухлых телок.

¹ Искательницы вшей (франц.). — *Ред.*

День на час и пятьдесят минут длиннее,
И, когда по вечерам едва темнеет,
Козьи пастухи, оставши на опушке,
Надувая щеки, что-то трубят в дудки,
И овчарка, стадо коз оберегая,
Машет поднятым хвостом и громко лает.

В марте вербное выходит воскресенье.
В детстве мне давали в этот день печенье.
Я к вечерне шел послушный, молчаливый. . .
Перед службой мать мне говорила:
«У меня на родине цветут оливы. . .
Под оливами Христос тогда молился. . .
И за ним пришла толпа. В Иерусалиме
Люди, плача, повторяли божье имя,
И его осленок семенял ногами
По дороге, густо устланной ветвями.
Злые нищие кричали от восторга,
Потому что веровали в бога,
Женщины дурные делались другими,
Оттого лишь, что он ехал перед ними. . .
И его за солнце люди принимали. . .
Он умерших воскрешал. . . Его распяли. . .»
Тихо плачу я, сжимая зубы,
Вспоминая о вечерней службе,
Как держал кадилъницу я в сельском храме
В крестном ходе, меж хоругвями, крестами,
И как тихо слушал я юре седого,
Говорившего нам о страстях Христовых.

Будет хорошо тебе с подругой в марте,
На лугу, где вы найдете темные фиалки,
Вы в тени увидите барвинок, раньше
Цвет его любил Руссо, и одуванчик. . .
Курослепы, лютики, густые кашки,
Золотые или белые ромашки.
Анемон, жонкильи, снежные нарциссы
Вас заставят думать о швейцарских высях!
Плющ, полезный для страдавших астмой. . .

Если у подруги тонкие колени,
Для твоей любви прекрасен свет весенний.

Плечи нежные покажутся светлее,
С головы до ног ее простое тело
Будет как ручей, разлитый в бедрах, белый.

От любви уставши, можно на охоте
Несколько бекасов подстрелить в болоте.

Друг, от городской работы утомленный,
Я зову тебя в приют мой скромный.
Мы не будем спорить об искусстве, жизни,
Но, взглянув в окно на черный сад, на горы
И на стадо коз, идущих мимо,
Ты прочтешь хорошие стихи, в которых
Мне расскажешь о своей любимой.

388

Кто-то тащит на убой телят,
И они на улице мычат.

Пробуют, веревку теребя,
На стене лизать струю дождя.

Боже праведный, скажи сейчас,
Что прощенье будет и для нас.

Что когда-нибудь у райских врат
Мы не станем убивать телят.

А напротив, изменившись там,
Мы цветы привесим к их рогам.

Боже, сделай, чтоб они, дрожа,
Меньше б чуяли удар ножа.

Я читал романы, сборники стихов,
 Писанные умными людьми в Париже.
 Ах, они не жили у моих ручьев,
 Где бекас, купаясь, шелестит и брызжет.
 Пусть они приедут поглядеть дроздов,
 На пруду опавшие сухие листья,
 Маленькие двери брошенных домов,
 Ласковых крестьян и уток серебристых,
 И тогда, с улыбкой трубку закурив,
 От тоски своей излечатся, наверно,
 Слушая глухой пронзительный призыв
 Ястреба, повисшего над ближней фермой.

390. МОЛИТВА, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЗВЕЗДУ

Боже, дай мне одну золотую звезду,
 Может, в ней для души я спасенье найду.
 Если ты не захочешь отдать ее мне,
 Без обиды, без жалобы всё я снесу.
 Если гибель в звезде — подари ее мне,
 Как дают бедняку золоченое су.
 Я плетусь, как осел. . . Вспоминаешь ли ты,
 Как ребенком я клал остролиств кусты
 Перед яслями в храме, где мать моя встарь
 Убирала розетками нищий алтарь?
 Если в этой звезде я спасенье найду,
 Подари мне одну золотую звезду,
 Потому что мне надо сегодня ее
 Положить на замерзшее сердце мое.

391. МОЛИТВА, ЧТОБ ВОЙТИ В РАЙ С ОСЛАМИ

Когда ты, господи, прикажешь мне идти,
 Позволь мне выбрать самому пути;
 Я выйду вечером в воскресный день
 Дорогой пыльной, мимо деревень,

И, встретивши ослов, скажу: «Я Жамм,
И в рай иду. — И я скажу ослам: —
Пойдемте вместе, нежные друзья,
Что, длинными ушами шевеля,
Отмахивались от ударов, мух,
Назойливо кружившихся вокруг».

Позволь к тебе прийти среди ослов —
Средь тех, что возят фуры паяцов,
Средь тех, что тащат на спине тюки
Иль в маленьких повозочках горшки.
Среди ослиц, что ноги ставят так,
Что трогает вас их разбитый шаг,
Что, пчелами ужалены, должны
На ножках раненых носить штаны.
Позволь прийти мне с ними в райский сад,
Где над ручьями яблони дрожат,
И сделай, господи, чтоб я в него вошел,
Как много поработавший осел,
Который бедность кроткую несет
К прозрачной чистоте небесных вод.

Гонсало из Берсео

**392. ЯВЛЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ, ЗАПИСАННЫЕ
МОНАХОМ ГОНСАЛО ИЗ БЕРСЕО**

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Близ Толедо жил священник, верил в бога,
Божьи заповеди соблюдал он строго.
По ночам молился деве пресвятой,
Звал Христа он солнцем, мать его — звездой.
Но один порок имел священник рьяный:
Он вино любил и часто шляется пьяный,
Потеряв рассудок, в кабаках лежал,
Речи безрассудные пастве держал.
Раз зашел священник в кабачок соседний,
И кувшин вина он выпил пред обедней.
На ногах едва стоял, услышав звон,
Тщетно в божий дом идти пытался он.
Черт решил прикончить пастыря дурного,
Стал быком — рогатый и весьма здоровый,
Кинулся на пьяницу издалека,
И священник вскрикнул, увидав быка:
«Мать божия, всех грешников жалея,
Пожалей меня, плохого иерея!»
Богородица сошла на этот крик,
Как ягненок, замер перед нею бык.
Дьявол, обозлившись, гордый и унылый,
Обратился в пса с клыками страшной силы,
На священника он прынул, разъярен.

Иерей издал тогда великий стон:
«Мать божия, ты панцирь наш от века!
Пожалей меня, дурного человека!»
Богородица сошла, и пес пред ней
Лег смущенный, малого щенка смирней.
Дьявол обратился в льва, ревя, как трубы,
На священника пошел, оскалив зубы.
И, когда приблизился ужасный лев,
Завопил священник, чудище узрев:
«Мать божия, звезда и луч единый,
Пожалей, жалея всех, дурного сына!»
Богородица сошла, и грозный лев
Кроток, точно кот, забыл вражду и гнев.
Богоматерь иерею путьказала,
Увела его, свое накинув покрывало,
Пьяного покрыла, уложила спать,
Как ребенка всепрощающая мать.
Молвила ему, исполнена любви:
«Помни — мать печалит каждый грех сыновий,
Не покину я вовек твоей души,
Ради матери опомнись, не греши!»
Плакал иерей: «О свет, из тьмы влекущий!
Дева! Искупленье всякой твари сущей!
Нестыдящая наставница сердец!
О, не знающая, где любви конец!»

Хуан Руис

393. О НАРУЖНОСТИ ПРОТОНЕРЕЯ И О ВСТРЕЧЕ С ДОНЬЕЙ ГАРСОЙ

«О госпожа, — старуха ей сказала, —
Таких красавцев в наше время мало:
Высокий, крепкий, ходит он степенно,
Ступает важно, как павлин надменный,
Большая голова на низкой шее,
Крутые волосы угля чернее,
Нос маленький, а рот большой и алый,
Две алые губы, как два коралла.

Глаза, признаться надо, небольшие,
Но грудь навывкат, ноги молодые,
Широкоплечий, крепконогий, статный,
Всегда любезный и всегда приятный,
Играет на гитаре, знает песни,
Он шутками всех шутников известней.
Кругом мужчин видала я немало,
Но равного ему я не видала.
Люби ж, люби скорей протоиерея!»
Гароса слушала ее, краснея,
И после молвила неосторожно:
«Но где ж его самой увидеть можно?»
Старуха засмеялась: «Как я рада!
Бегу! Ему всё передать мне надо!
Любовь не терпит долгих ожиданий,
Он будет завтра здесь на мессе ранней».
Гароса молвила: «Но, ради бога,
Пусть будет скромн он, я буду строгой.
О господи! Спаси от хитрой лести!
Я буду завтра здесь, на этом месте».

.
Во имя господа, как подобало,
Я был на мессе ранней, и она стояла!
Монахиня молилась, розовея.
О, цвет граната! Дикой серны шея!
О, в грубой рясе нежная черница!
На белой розе эта власяница!
Увы, неотразимо искушенье —
Я согрешил и каялся в смущенье.
Она взглянула, очи — точно свечи.
А сердце плакало от жданной встречи.
Я говорил, она мне говорила,
Я уж любил, она уже любила.
Любовь ее была чиста пред богом,
Она меня вела и помогла во многом.
Своим постом она меня спасала,
Меня своей молитвой ограждала.
Два месяца спустя моя подруга
Скончалась от тяжелого недуга.
Но слаще смерть сей суеты постылой,
О боже, душу грешную помилуй!

Хорхе Маурисиэ

394. НА СМЕРТЬ ДОНА РОДРИГО, РЫЦАРЯ ОРДЕНА СВ. ИАКОВА, ЕГО ОТЦА

1

Годы проходят, годы уходят,
Меняется высь, колеблется твердь.
Зри кругом,
Как жизнь проходит,
Как приходит смерть
Тайком,
Как мало мы радости знаем,
Как быстро приходит расплата,
Гляди —
Как мнится нам раем
Всё, что было когда-то
Позади.

2

Наша жизнь — лишь реки,
А смерть берет, точно море,
Столько рек,
Туда уходят навеки
Наша радость и горе —
Чем жил человек.
Туда уходит богатый,
И нищий уходит тоже.
Средь этих вод
Они, что были иными когда-то,
Как капли друг с другом схожи,
И кто разберет?

3

Сей мир — лишь дорога
К иному, где нет тревоги
И нет забав.
Тщись же пройти его мудро и строго,

Не спутав дороги
И не упав.
Рождаясь, мы путь начинаем,
Мы идем в годы жизни,
Мы кончаем путь
Лишь тогда, когда умираем,
Умирая, приходим к некой отчизне,
Чтоб уснуть.

4

Всё, что мы жаждем, всё, что мы ищем,
Мгновенно и тленно,
Всё это прах.
И мы подобны безумным нищим,
Которые ищут струи сокровенной
В песках.
Вот старец! Где его гибкость стана,
Легкий смех и забавы,
Юные года?
Они увяли слишком рано,
Как вянут малые травы
В холода.

5

Все утехи и радости плоти,
Всё, что нам надо
Для сердец, —
Что это, если не стая гончих на охоте,
А впереди засада
И конец.
Мы несемся, друг друга обгоняем,
Спешим напрасно
Жить.
Когда же ловушку мы замечаем,
То места нет, чтоб сей бег ужасный
Остановить.

Были короли великой власти,
 О которых мы знаем по изображениям
 Былым.
 Были судьбы их полны страсти.
 Они исчезли, как над селеньем
 Дым.
 Были императоры и папы Рима.
 Смерть вошла, когда надо,
 В дворец
 И увела их от власти мнимой,
 Как будто пасли они только стадо
 Овец.

Где столь прославленные герои?
 Рыцари в сече? Короли на троне?
 Где их стан?
 Где победители Трои?
 Где инфанты Арагонии?
 Где дон Хуан?
 Где звонкие песни и лиры?
 Где певцы, что бродили, храбрых прославляя,
 По всей стране?
 Где пиры? И где турниры?
 Что они, если не зелень сухая
 На гумне?
 Дам великолепные наряды,
 Пена кружев и горноста
 Снега,
 Дворцов порфировых фасады,
 Короны, что горели, золотом блистая,
 И жемчуга,
 Камни цены небывалой,
 Кони, возвращенные в холье,
 Садов краса —
 Что с ними ныне стало?
 Что это, если не в поле
 Роса?

Столько именитых баронов,
 Графов, полных отваги,
 Князей —
 Как смерть не побоялась стражи и заслонов,
 Их богатства, их славы, их верной шпаги,
 Их друзей?
 Заключавшие мир, начинавшие войны,
 Сеявшие грозы
 И страх
 Столь прославлены, столь достойны.
 Что они, если не высохшие слезы
 На очах?

Вот храбрый рыцарь дон Родриго,
 Он горел великой любовью
 И враждой.
 Свергая мавров проклятое иго,
 Он кропил поле своей кровью.
 Жизнь его — бой.
 Пусть недруги вспомнят в испуге,
 Как он Крест прославил
 Огнем побед,
 И мы да вспомним про его заслуги
 Теперь, когда он навеки оставил
 Сей свет.

Какой друг друзьям верным,
 Какой глава семье обширной
 И слугам,
 Какой враг неверным,
 Какой защитник обители мирной
 И дам,
 Какая мудрость для молчаливых,
 Для коварных, честь потерявших.

Какой гнев,
Какой язык для болтливых,
Для храбрых и всё испытавших —
Лев!

11

Не богатство сплело ему лавры,
Он золота не искал на чужбине,
Был пуст его дом.
Но пред ним трепетали мавры,
Ибо он брал города и твердыни
Мечом.
Кому не известна его отвага?
Он смело кидался навстречу неверным,
Не сгоряча,
Но зная, что в этом высшее благо,
Ибо он был рыцарем верным
Меча.

12

Итак, столько пешек передвинув
На шахматном поле
И страсть утоля,
Итак, низвергнув столько властелинов,
Сражаясь по доброй воле
За короля,
Итак, изведав разные испытанья,
Которых перечислить нет сил
Теперь,
Он заперся в своем замке Оканье,
И смерть тогда его посетила,
Стукнув в дверь.

(13)

С м е р т ь

Сказала: Рыцарь смелый,
Ты сражался храбро и иступленно,
Ты побеждал,
Ныне ты кончил земное дело,

Гляди, как путь, тобой завершённый,
Жалок и мал.
Оставь сей мир и его утехи,
Как жалкие бредни,
Как сон ночной.
Откинь свой меч, сними доспехи
И, полон веры последней,
Иди за мной!

(14)

Рыцарь отвечает:

Я в этой жизни знал немного,
Брел, как ночью черной,
Слепцом.
Но крепко верил я в бога,
И воля моя была ему покорна
Во всем.
Я умираю с верой чудной,
Ибо человеку безумно
Хотеть жить,
Когда господь его хочет от жизни скудной,
Трудной и шумной
Освободить.

(15). МОЛИТВА

Ты, ради нашего спасенья,
Принял человеческое имя,
Чтоб смерть обороть,
Ты принял земное успенье
И сам слился с делами людскими,
И познал плоть.
Ты выдержал все мучения
Без единого крика,
Не стеля.
Не за дела мои или моления,
Но по твоей милости великой
Прости меня!

(16). ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Так, при полном сознание,
Он после тяжкого недуга
Собрал всех вокруг.
И были при последнем прощанье
Его сыновья, его супруга
И много слуг.
Тогда мудро и покойно
Он тому отдал душу обратно,
Кто ее дал
И кто, если она достойна,
Для жизни ныне незакатной
Ее взял.

Пабло Неруда

395. ОБЪЯСНЕНИЕ

Вы спросите: где же сирень,
где метафизика, усыпанная маками,
где дождь, что выстукивал слова,
полные пауз и птиц?
Я вам расскажу, что со мной случилось.

Я жил в Мадриде, в квартале, где много колоколен,
много башенных часов и деревьев.

Оттуда я видел
сухое лицо Кастилии:
океан из кожи.

Мой дом называли «домом цветов»:
повсюду цвела герань.
Это был веселый дом
с собаками и с детьми.

Помнишь, Рауль?
Помнишь, Рафаэль?
Федерико¹ — под землей, — помнишь балкон?
Июнь метал цветы в твой рот.

¹ Поэты: Рауль Гонсалес Туньон, Рафаэль Альберти, Федерико Гарсиа Лорка.

Всё окрест было громким:
горы взволнованных хлебов,
базар Аргуэльес и памятник,
как чернильница, среди рыбнн.

Оливковое масло текло в жбаны.
Сердцебиение ног заполняло улицы.
Метры, литры. Острый настой жизни.
Груды судаков. Крыши
и усталая стрелка на холодном солнце.
Слоновая кость картошки,
а помидоры до самого моря.

В одно утро всё загорелось.
Из-под земли вышел огонь,
он пожирал живых.
С тех пор — огонь,
с тех пор — порох,
с тех пор — кровь.

Разбойники с марокканцами и бомбовозами,
разбойники с перстнями и с герцогнями,
разбойники с монахами, благословлявшими
убийц,
пришли,
и по улицам кровь детей
текла просто, как кровь детей.

Шакалы, от которых отступятся шакалы,
гадюки — их возненавидят гадюки,
камни — их выплюнет репейник.

Я видел, как в ответ поднялась кровь Испании,
чтобы потопить вас
в одной волне
гордости и ножей.

396. ПРЕДАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЫ

Предатели генералы,
посмотрите на мой мертвый дом,
на разломанную Испанию.
Но из каждого мертвого дома

вместо цветов
вылетает сталь.
Но из каждого пустыря Испании
встает Испания.
Но из каждого убитого ребенка
прорастает ружье с глазами.
Но из каждого преступления
рождаются пули,
они заменят вам сердце.

Вы спрашиваете, почему я не говорю о мечтах,
о листьях,
о больших вулканах моей земли?

Смотрите: на улице кровь.
Смотрите:
кровь
на улице!

397. ПРИБЫТИЕ В МАДРИД ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ БРИГАДЫ

Утром, в холодный месяц,
в месяц ненастья, замаранный грязью и дымом,
в грустный месяц осады,
когда, щерясь, выли шакалы Марокко,
когда мы ни на что больше не надеялись,
когда мир казался добычей чудовищ,
ломая легкий лед холодного утра,
в раннем тумане Мадрида
я увидел вот этими глазами,
этим сердцем, что видит, —
шли вы:
нежная и зрелая, светлая, крепкая
бригада камня.

Это было время тоски, и разлука
жгла женщин, как уголь.

Испанская смерть,
что острее и терпче смерти,
бродила по полю, дотоле гордому хлебом.
На улице кровь раздавленных людей
смешивалась с водой,
которая вытекала
из сердца разрушенного дома.
Невыносимое молчание матерей,
глаза детей, закрытые навеки, —
всё было грустью, ущербом, утратой,
убитым садом, вытопанной верой.
Товарищи, тогда я вас увидел,
и мои глаза еще полны гордостью:
я увидел в туманное утро:
стойкие и спокойные,
с винтовками,
с голубыми глазами,
вы подымались на фронт Кастилии,
пришедшие издалека,
из ваших потерянных родин, из ваших снов,
чтобы отстоять испанский город,
где раненая свобода
не знала, протянет ли день.

Братья,
пусть ребенок и муж, женщины, старцы
узнают вашу высокую повесть,
пусть она дойдет до сердец без надежды,
пусть пронесется по шахтам, полным удушья,
пусть спустится вниз по бесчеловечной лестнице
рабства.
Пусть все звезды, все колосья Кастилии и мира
запишут ваши имена, вашу суровую борьбу,
вашу победу, тяжелую и земную, как ветви дуба,
ибо вашей жертвой вы возродили доверье к земле,
вашей щедростью и вашей смертью.
Вы река среди кровавых скал,
стальные голуби, надежда.

Полковники из терракоты,
политиков томный лай,
булочки с маслом и кофе.
Гитара моя, играй!

Чиновники все на месте,
берут охотно на чай
двести долларов в месяц.
Гитара моя, играй!

Янки дают нам кредиты,
они купили наш край, —
родина всего превыше.
Гитара моя, играй!

Болтают всю депутаты,
сулят горемыке рай,
а за всем этим сахар и сахар. . .
Гитара моя, играй!

Чтоб заработать на хлеб,
трудись до седьмого пота,
чтоб заработать на хлеб,
трудись до седьмого пота,
хочешь того или нет —
работай, работай, работай.

Сахар из тростника,
чтоб кофе послаще было,
сахар из тростника,
чтоб кофе послаще было.
Горче желчи тоска
жизнь мою подсластила.

Ни дома нет, ни жены —
куда идти, я не знаю,
ни дома нет, ни жены —
куда идти, я не знаю.
Никто мне не скажет «вы»,
собак на меня спускают.

Говорят: «У тебя есть нож,
мужчина ты, не чечетка».
Говорят: «У тебя есть нож,
мужчина ты, не чечетка».
Я был мужчиной — и что ж?
Сижу теперь за решеткой.

За решеткой теперь умирай.
Что тут дни или годы?
Это и есть мой рай,
это и есть мой рай —
свобода, свобода, свобода.

400

Они убивают, когда я работаю,
и, когда я не работаю, они убивают;
работаю я или не работаю —
всё равно они убивают.

Вчера я видел человека —
он глядел, как солнце всходило,
он глядел на солнце уныло,
своими заботами полный,
он глядел, как солнце всходило,
но он не видел солнца.

Вчера я видел, играли дети —
один убивал другого;
вчера я видел, играли дети —
один убивал другого.
Когда они вырастут, кто им скажет,
что взрослые — это не дети?

Когда они вырастут, кто им скажет,
что солнце для каждого светит?

Они убивают, когда я не работаю,
и, когда работаю, они убивают;
работаю я или не работаю —
всё равно они убивают.

401. ЭЛЕГИЯ

Дорогой моря,
добыче рад,
дорогой моря
пришел пират;
он улыбался
чужой тоске,
держал он палку
в сухой руке.
Забыть не может моя тоска
о том, что помнят и облака.

Он ствол надрезал,
он смял луга,
он вез железо
и жемчуга.
Дорогой моря
и черных слез
на запад горя
он негров вез.
О том, что помнят и облака,
забыть не может моя тоска.

Увез он негров,
чтоб негры шли,
чтоб рыли недра
чужой земли,
и хлыст, чтоб щедро
рабов хлестать,

и смерть, чтоб негру,
уснув, не встать.

Дорогой моря
идем одни;
здесь я и горе
моей родни.
Ты не забудешь, моя тоска,
о том, что помнят и облака.

402. КОГДА Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ

Когда я пришел на эту землю,
никто меня не ожидал.
Я пошел по дороге со всеми
и этим себя утешал,
потому что, когда я пришел на эту землю,
никто меня не ожидал.

Я гляжу, как люди приходят,
как люди уходят
в славе и в обиде.
Я иду по дороге.
Нужно глядеть, чтоб видеть,
нужно идти по дороге.

Некоторые плачут от обид,
а я смеюсь смело:
это мой щит,
мои стрелы, —
я смеюсь смело.

Я иду вперед,
нет у меня посоха.
Кто идет — поет.
Я иду вперед,
я пою досыта,

я иду вперед,
нет у меня посоха.

Гордые меня не любят:
я простой, а они — знать,
но они умрут, эти гордые люди,
и я приду их отпевать,
они меня потому и не любят,
что я приду их отпевать.

Я гляжу, как люди приходят,
как люди уходят
в славе или в обиде.
Я иду по дороге,
нужно жить, чтоб видеть,
нужно идти по дороге.

Когда я пришел на эту землю,
никто меня не ожидал.
Я пошел по дороге со всеми
и этим себя утешал,
потому что, когда я пришел на эту землю,
никто меня не ожидал.

403. ВЕНЕСУЭЛА

Она — как сало,
белее мела,
луна большая
Венесуэлы.
И тот же голос
поет усердно
про тот же голод,
того же негра
и про рубашку —
она из пепла,
про печь без углей —
она ослепла.
Земля — и койка
и одеяло.

Как это грустно!
Начнем сначала:
она устала
и побледнела,
луна большая
Венесуэлы.

ПРИМЕЧАНИЯ

Стихотворное наследие И. Г. Эренбурга довольно обширно. При жизни поэта вышло 24 сборника его стихотворений и поэм, причем большинство из них (за исключением сборников 1940—1950-х годов) не дублируют по составу друг друга, то есть почти полностью состоят из новых стихов. Свои стихи Эренбург включал и в собрания сочинений, однако очень ограниченно.

Настоящее издание является первым сборником избранных поэтических произведений Эренбурга, отражающим его творческие искания от ранних стихотворений 1910-х годов до произведений, написанных им в последние годы жизни и оставшихся неопубликованными. Оно включает свыше 350 стихотворений (в том числе 28 публикуются впервые), 4 поэмы и одну трагедию в стихах, а также лучшие переводы.

Сборник состоит из двух разделов: оригинальные произведения и переводы. В первом разделе материал сгруппирован по жанрам: стихотворения, поэмы, трагедия (внутри жанров — по хронологии); во второй раздел включена лишь небольшая часть переводов Эренбурга (более полно они представлены в сборнике: «Тень деревьев». Стихи зарубежных поэтов в переводе Ильи Эренбурга, М., 1969).

Тексты печатаются в последней авторской редакции по тому изданию, где данный текст впервые установился, или по автографам, в которых отражена последняя стадия работы над произведением. В ряде стихов восполнены пропуски по авторским экземплярам книг из личной библиотеки Эренбурга; исправлены опечатки.

Для настоящего сборника тщательно выверены все даты написания стихотворений. Стихи из ранних сборников поэта — от первого сборника «Стихи» до сборника «Детское» включительно — не датируются в книгах автора. Время написания этих стихотворений установлено по данным записной книжки Эренбурга 1917—1918 гг., где имеется хронологическая канва и сообщаются сведения о времени и месте создания произведений, вошедших в ранние книги (вплоть до «Молитвы о России»).

Авторская датировка многих стихотворений менялась при переизданиях, становясь подчас менее полной и точной. В данной книге во всех случаях воспроизводится более полная дата, независимо от того, имеется ли она в источнике, по которому публикуется текст, или содержится в каком-то другом издании или автографе.

Случаи расхождения в годе написания произведения — по разным сборникам или автографу — специально оговариваются в комментарии. Для некоторых (немногих) стихов установить безошибочно год написания представляется невозможным, так как разные даты чередуются буквально во всех сборниках, куда входили эти стихи, а соответствующие архивные материалы не сохранились. Так, приблизительно датировка ряда «испанских» (1938 или 1939), а также и некоторых предвоенных (1939 или 1940) и военных стихов (1941 или 1942). Не поддается точной датировке и ряд стихов, извлеченных из архива писателя.

В примечаниях сообщаются сведения о первой публикации текста, об изданиях, в которых текст подвергся авторской правке; указывается источник, по которому печатается текст (ссылка только на первую публикацию означает, что произведение более не перепечатывалось или перепечатывалось без изменений); отмечается наличие автографов или авторизованной машинописи; наличие машинописи без авторской правки (главным образом, из личного архива писателя) отмечается лишь в том случае, если в этом источнике зафиксирован новый вариант текста. Некоторые наиболее интересные варианты и другие редакции также приводятся в примечаниях. Там же сообщаются необходимые сведения историко-литературного и реального характера.

Сокращения, принятые в примечаниях

авториз. — авторизованный.

альм. — альманах.

АРСП — Антология русской советской поэзии, т. 1, М., 1957.

Будни — И. Эренбург, Будни, Париж, 1913.

В — И. Эренбург, Верность (Испания. Париж), М., 1941.

В звездах — И. Эренбург, В звездах. Роман в стихах, Киев, 1919.

ВСЧ — И. Эренбург, В смертный час (Молитва о России), 2-е изд., Киев, 1919.

газ. — газета.

ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, Отдел рукописей.

Гильен, Стихи — Н. Гильен, Стихи. Пер. с испанского, М., 1952.

ГЛМ — Государственный литературный музей, Отдел рукописей.

ГПБ — Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Отдел рукописей.

Д — И. Эренбург, Дерево, М., 1946.

Детское — И. Эренбург, Детское. Стихи в прозе, Париж, 1914,

загл. — заглавие.

Зв. — «Звезда».

Зн. — «Знамя».

ЗР — И. Эренбург, Зарубежные раздумья, М., 1922.

ЗТ — И. Эренбург, Звериное тепло, М. — Берлин, 1923.

ИЛ — «Иностранная литература».

Испания в сердце — П. Неруда, Испания в сердце. Перевел И. Эренбург, М., 1939.

- К — И. Эренбург, Кануны, Берлин, 1921.
кн. — книга.
- Костры — альманах «Костры», кн. 1, М., 1922.
Л — «Ленинград».
- ЛА — личный архив Эренбурга.
- ЛГ — «Литературная газета».
- ЛГЖ — И. Эренбург, Люди, годы, жизнь.
- ЛР — «Литературная Россия».
- М — «Москва».
- МоР — И. Эренбург, Молитва о России, М., 1918.
- НМ — «Новый мир».
- Ог. — «Огонек».
- Огонь — И. Эренбург, Огонь, Гомель, 1919.
- Одуванчики — И. Эренбург, Одуванчики, Париж, 1912.
- Окт. — «Октябрь».
- ОЛ — И. Эренбург, Опустошающая любовь, Берлин, 1922.
- П — «Простор».
- ПФ — Поэты Франции. 1870—1913. Переводы И. Эренбурга, Париж, 1914.
- ПФВ — Поэты французского Возрождения. Антология, Л., 1938.
- РI — И. Эренбург, Раздумия, Рига, 1921.
- РII — И. Эренбург, Раздумия, Пг., 1921.
- РIII — И. Эренбург, Раздумия, Пг., 1922.
- РБ — «Русское богатство».
- С — И. Эренбург, Стихи. 1938—1958, М., 1959.
с. — страница.
- сб. — сборник.
- Св. — И. Эренбург, Свобода. Поэмы, М., 1943.
- Собр. соч. — И. Эренбург, Собрание сочинений в девяти томах, М., 1962—1967.
- СоВ — И. Эренбург, Стихи о войне, М., 1943.
- СоК — И. Эренбург, Стихи о канунах, М., 1916.
- Соч. — И. Эренбург, Сочинения в пяти томах, т. 4, М., 1953.
- Стихи — И. Эренбург, Стихи, Париж, 1910.
- ТД — Тень деревьев. Стихи зарубежных поэтов в переводе И. Эренбурга, М., 1969.
- ФВI — Ф. Вийон, Отрывки из «Большого завещания», баллады и разные стихотворения. Переводы и биогр. очерк И. Эренбурга, М., 1916.
- ФВII — Ф. Вийон, Стихи. Пер. с франц. Ф. Мендельсона и И. Эренбурга, М., 1963.
- ФЖ — Ф. Жамм, Стихи и проза. Переводы И. Эренбурга и Е. Шмидт, М., 1913.
- ФТI — И. Эренбург, Французские тетради. Заметки и переводы, М., 1958.
- ФТII — И. Эренбург, Французские тетради. Заметки и переводы, М., 1959.
- ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.
- Я живу — И. Эренбург, Я живу, СПб., 1911.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. Стихи, с. 74. Написано от лица распятого Христа. *Пилат* Понтий — римский прокуратор Иудеи (26—36). Согласно евангельской легенде, санкционировал смертный приговор Иисусу Христу; подчинившись требованию иудейских первосвященников. Стремясь очистить себя от соучастия в казни, умыл руки перед народом и сказал: «Невиновен я в крови праведника сего» (Матф., XXVII, 24). *Мария Магдалина* — христианская святая; увидев, что тело Христа исчезло из гроба, не поверила в его воскресение из мертвых до тех пор, пока он не заговорил с нею. *Добивают сморщенную грудь*. Один из стражников пронзил копьем ребра Христа, и тотчас, как повествует Евангелие, истекли кровь и вода (Иоанн, XIX, 34).

2. Я живу, с. 53. Автографы ЛА и ЦГАЛИ.

3. Я живу, с. 55. Автограф ЛА.

4. «Новая жизнь», 1912, № 9, с. 57, без загл. Печ. по Будни, с. (44).

5—7. Одуванчики, с. (5, 6, 10).

8. Одуванчики, с. (13). *Как скучно в «одиночке»*. Арестованный за участие в подпольной большевистской ученической организации, Эренбург находился в заключении около пяти месяцев, в том числе — и в одиночной камере в Бутырьках. *Остоженка* (ныне Метропоевская) — улица в Москве, где жила семья Эренбурга.

9—12. Одуванчики, с. (30, 31, 32, 37).

13. Одуванчики, с. (38). Автограф ЦГАЛИ под загл. «Март», в цикле «Месяцы года», подготовленном для альб. «Мусагет».

14. Одуванчики, с. (41). Печ. по кн.: «Избранные стихи русских поэтов, период третий», вып. 2, СПб., 1914, с. 158.

15—16. Одуванчики, с. (45, 56).

17—18. РБ, 1913, № 11, с. 36, 69.

19. Будни, с. (3). *Вержболово* — железнодорожная станция и таможня (на границе России и Пруссии).

20—21. Будни, с. (12, 17).

22. Будни, с. (23). *Верлен* П. (1844—1896) — французский поэт. Эренбург переводил его стихи — см. № 377—384.

23. Будни, с. (38).

24—25. Будни, с. (42, 44).

26—27. РБ, 1913, № 4, с. 241.

1. *Плющиха* — улица в Москве. *Вандомская колонна* воздвигнута в честь побед Наполеона I на Вандомской площади в Париже. *Тюльери* (Тюильри) — дворец французских королей, часть Лувра. Большая часть его сгорела во время Парижской коммуны; теперь здесь находится сад.

2. *Девичье поле* — район Москвы, где расположен Новодевичий монастырь.

28. «Вечера» (Париж), 1914, № 1, с. 18, без загл., как первое стих. в подборке из 11 стих., озаглавленной «Из книги „Noli me tangere“». Печ. по СоК, с. 98. Автограф ГЛМ (СоК) без загл.

29. Детское, с. 5. *Жамм Франсис* (1868—1938) — французский поэт; писал о природе, простой сельской жизни; многие книги его отмечены печатью католицизма. «Я посвятил Жамму сборничек стихов «Детское»; вспоминал день, проведенный в Ортезе», — писал об этом стих. Эренбург (Собр. соч., т. 8, с. 79). Эренбург переводил стихи Ф. Жамма — см. № 387—391.

30—35. Детское, с. 8, 9, 11, 18, 19.

36—38. «Современник», 1914, № 13-15, с. 62—63.

39. «Современник», 1914, № 13-15, с. 63. Пиза — город в Италии на реке *Арно*. *Кампанило* (итал.). — колокольня.

40. «Вечера» (Париж), 1914, № 1, с. 23, как последнее стих. в подборке «Из книги „Noli me tangere“» *Фома* — см. примеч. 295.

41. «Современник», 1914, № 13-15, с. 65, без загл. Печ. по СоК, с. 61. Автограф ГЛМ (СоК) без загл., с датой: февраль 1914.

42—43. Печ. впервые по автографу ГЛМ (СоК).

44. СоК, с. 18, без ст. 9—12. Печ. по К, с. 16. Автограф ГЛМ (СоК), под загл. «О Реймском соборе». *Реймс* — город во Франции, знаменитый своим собором Нотр-Дам — шедевром французской готики XIII в. Собор был подвергнут варварскому обстрелу немецкой артиллерии во время первой мировой войны и сильно пострадал. *Обратив на запад стылый и пустынный Последний суд*. «В готических соборах изображение Последнего суда всегда на западном фасаде» (И. Эренбург, На костре. — «Понедельник», 1918, 10 июня). *Это плачет Каин Над пеплом жертвенных даров*. По библейской легенде, Каин принес в дар богу плоды земли, а его брат Авель — ягнят, но бог, приняв дары Авеля, отвергнул жертвоприношение Каина, после чего Каин убил брата.

45. Печ. впервые по автографу ГЛМ (СоК).

46. Печ. впервые по автографу ГЛМ (СоК).

47. СоК, с. 89, без последнего ст. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 374. Автограф ГЛМ (СоК) под загл. «Гоголь в Риме». *Пьяцца Спанья* — площадь Испании в Риме. С конца 1830-х годов Гоголь подолгу жил в Риме.

48. СоК, с. 80. Автограф ГЛМ (СоК) с датой: февраль 1915.

49. СоК, с. 59. Автограф ГЛМ (СоК). Авториз. машинопись ЦГАЛИ, без посвящения. *Милюкова Н. А.* — парижская знакомая Эренбурга.

50. Печ. впервые по автографу ГЛМ (СоК).

51—61. Печ. впервые (за исключением № 3 и 8) по автографу ГЛМ (СоК). Раздел «Ручные тени» в этом автографе образует единый цикл, состоящий из пятнадцати стихотворных портретов парижских знакомых Эренбурга. Открывается он посвящением ко всему разделу:

Вы жить обречены
В снегах моей полярной страны
И охотиться ночами весенними
За уплывающими тюленями.
Каждый день
Розовый умирает, серый тюлень,
Каждый день я повторяю: «Боже,
Вот они бродят голые,
Оснй их плоть тихим холодом
И сердца замороженные
Сохрани
В дни и в дни.
Чтоб они не плакали,
Чтоб они не прыгали,
Проклятые —
Я их выдумал! . . .»

Посвящение каждого стих. стоит в родительном падеже, являясь определением к опущенным словам — «ручная тень». В настоящем издании цикл воспроизводится не полностью, авторская нумерация не сохраняется.

1. *Е. Ш.* — Екатерина Оттовна Шмидт (р. 1889), первая жена Эренбурга.

2. *М. Н.* — М. Немирова, жена В. Немирова, впоследствии вышедшая замуж за бельгийского писателя Ф. Элленса (см. о ней: Собр. соч., т. 8, с. 390—391).

3. «Гиперборей», 1912, № 3, с. 21, под загл. «Н. М.-ой». Печ. по автографу ГЛМ (СоК). *Милюкова Н. А.* — см. примеч. 49.

4. *Инбер Вера* Михайловна (1890—1972) — советская писательница; Эренбург познакомился с ней в Париже. *Рифмы «Ленотра и смотра»*. Такая рифма встречается в стих. В. Инбер «Раны Версаля». *Не хмельную печаль, не чужое вино* — намек на поэтические образы первого сборника стих. В. Инбер «Печальное вино» (Париж, 1914).

5. *Маревна* — М. Воробьева-Стебельская, художница, подруга Д. Риверы.

6. *Бальмонт* Константин Дмитриевич (1867—1942) — русский поэт. Эренбург познакомился с ним в 1911 г. в Париже (см. о нем: Собр. соч., т. 8, с. 94—99).

7. *Волошин Максимилиан* Александрович (1878—1932) — русский поэт; занимался живописью; долгие годы жил в Париже (см. о нем: Собр. соч., т. 8, с. 113—121).

8. СоК, с. 46. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 370. Автограф ГЛМ (СоК) с датой: май 1915. *Модильяни А.* (1884—1920) — итальянский художник, долго жил в Париже (см. о нем: Собр. соч., т. 8, с. 143). *И вдруг я услышал страшного Данта* и т. д. Ср. в ЛГЖ: «Редко я беседовал с Модильяни без того, чтобы он не прочитал мне несколько терцин из «Божественной комедии»: Данте был его любимым поэтом» (Собр. соч., т. 8, с. 143).

9. *В. Н.* — В. Немиров, издавал вместе с Эренбургом в Париже журнал «Вечера». *Матильда* — английская королева (1141—1153). *Бергсон А.* (1859—1941) — французский философ-идеалист.

10. *Цадкин Ж.* (1890—1967) — скульптор; появлялся в «Ротонде» «в рабочей спецовке, его сопровождал огромный датский дог, славившийся крутым нравом» (Собр. соч., т. 8, с. 136). *Саломея* — дочь царицы Иродиады. Библейский миф рассказывает, что она плясала перед царем Иродом и потребовала, по наущению матери, в награду голову Иоанна Крестителя.

62. СоК, с. 9, без двух последних строк. Печ. по К, с. 7. Автограф ГЛМ (СоК). *Успение* — по церковному календарю день смерти богородицы (15 августа).

63. СоК, с. 81. Автограф ГЛМ (СоК) с датой: январь 1915. *Вийон Франсуа* (1431—1463?) — французский поэт; связал свою судьбу с воровскими шайками, не раз сидел в тюрьмах; был осужден за убийство и приговорен к повешению, однако казнь была отменена, а Вийон изгнан из Парижа. Эренбург неоднократно переводил стих Вийона — см. № 343—363. *На твоём Завещании Три повешенных*.. Имеется в виду «Большое завещание» Вийона. *Турень* — историческая провинция на западе Франции. *Петухи кричали. Трижды От Него отрекся Петр*. По евангельской легенде, Иисус предсказал, что в ночь, когда он будет схвачен, один из его учеников, Петр, трижды отречется от него, прежде чем прокричит петух (Матф., XXVI, 69—75).

64. СоК, с. 68. Автограф ГЛМ (СоК) под загл. «Двадцать пятое марта», с датой: февраль 1915. *Двадцать пятого марта* — церковный праздник Благовещения богородицы, в честь дня, когда архангел Гавриил возвестил деве Марии благовую весть, что она носит в чреве своем божьего сына. *Девять лун отойдут, и звезда загорится в Сочельник*. Девять месяцев спустя после Благовещения отмечается другой церковный праздник — Сочельник, канун Рождества Иисуса Христа. По евангельской легенде, в ночь, когда родился Иисус, над Вифлеемом загорелась звезда.

65. Печ. впервые по автографу ГЛМ (СоК). *Рембо* Артю (1854—1891) — французский поэт. Эренбург перевел его стихи —

см. № 385—386. *Харрара* (Харар) — город в Эфиопии; здесь, после долгих скитаний по странам и городам Африки, осел А. Рембо, став агентом торговой фирмы. Тяжелая болезнь (опухоль ноги) заставила его вернуться во Францию, где после операции он умер. *Пьяный корабль* — намек на одноименное стих. Рембо, в котором поэт предсказал свою трагическую судьбу.

66. СоК, с. 24. Автограф ГЛМ (СоК).

67. СоК, с. 34. Автограф ГЛМ (СоК).

68. СоК, с. 49, под загл. «Nature morte». Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 372. Автограф ГЛМ (СоК) под загл. «Nature morte».

69. СоК, с. 48. Автограф ГЛМ (СоК).

70. СоК, с. 17. Автограф ГЛМ (СоК). *Моравская Мария Людвиговна* (р. 1889) — детская поэтесса. *Жупан* (польск.) — мужская верхняя одежда.

71. Печ. впервые по автографу ГЛМ (СоК).

72. СоК, с. 13. Автограф ГЛМ (СоК) с датой: июнь 1915.

73. СоК, с. 97, под загл. «Еще колыбельная», с посвящ. «Белле». Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 375. Автограф ГЛМ (СоК). Белла — сестра поэта Изабелла Григорьевна Эренбург (1885—1965).

74. СоК, с. 20. Печ. пр К, с. 10. Автограф ГЛМ (СоК). *Пеги Шарль* (1873—1914) — французский поэт; убит в сентябре 1914 г. в сражении при реке *Марне*.

75. СоК, с. 21. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 366. Автограф ГЛМ (СоК) без загл.

76. «Новый журнал для всех», 1915, № 7, с. 3, под загл. «На войну». Печ. по СоК, с. 12. Автограф ГЛМ (СоК). *Закланный* (устар.) — принесенный в жертву. *Зуав* (франц.) — колониальный алжирский солдат французской армии.

77. СоК, с. 63. Автограф ГЛМ (СоК). *Малая птичка Будет клевать мою печень* — намек на миф о Прометее.

78. СоК, с. 15, с пропуском ст. 12. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 364. Автограф ГЛМ (СоК). *Семьдесят пять* — калибр пушки.

79. СоК, с. 93. Автограф ГЛМ (СоК). *Но в душе не осталось золота, Чтоб отлить много тельца*. Библейское предание рассказывает, что во время великого исхода из Египта израильтяне, усомнившись в вере в бога Яхве, просили Аарона сделать им нового бога. Аарон, тоже мучимый сомнениями, отлил фигуру золотого тельца, которому народ стал поклоняться (Исход, XXII, 1—8)

80. СоК, с. 67. Автограф ГЛМ (СоК) без загл., с датой: июнь 1915.

81. СоК, с. 28; К. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 369. В К после ст. 18 следовало:

Но горька, горька, горька
Матки полная река.
Отхлебни, мой сынок,
Золотой сосунок.
Господи, вот мое вымя
Полное — и никого!
Своими перстами сухими
Выжми, выжми его!

Реймский собор — см. примеч. 44. «*И презревши все прегрешения...*» — из молитвы об умерших.

82. СоК, с. 95. «*Ротонда*» — кафе на бульваре Монпарнас в Париже, где собирались поэты и художники. «*Я живу*», «*Одуванчики*» — названия стихотворных сборников Эренбурга.

83—88. СоК, с. 135, с купюрами. Печ. по авторскому экземпляру СоК, где восстановлены пропущенные строки.

2. *Вырастет из тебя лопух*. Ср. разговор Базарова с Аркадием Кирсановым в романе Тургенева «*Отцы и дети*». *Петр* — см. примеч. 63. *Озирис* — древнеегипетское божество умирающей и воскресающей природы.

3. *Так делили твои ризы воины*. Согласно евангельской легенде, воины, распявшие Христа, разделили между собой его одежды. *Тернии*. Христу перед казнью надели венок из терна.

6. *Ты простил того... кто тебя целовал* — намек на Иуду, который предал Христа в руки первосвященников, сказав, что тот, кого он поцелует, и есть Христос.

89. МоР, с. 8; К. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 377. *Пугач* — Пугачев Е. И. (ок. 1740, по др. данным: 1742—1775) — предводитель Крестьянской войны 1773—1775 гг. в России. Казнен в Москве четвертованием. *Чистый четверг* — последний четверг Великого поста.

90. МоР, с. 24. Черновые наброски и черновой автограф ЛА, без загл.

91. МоР, с. 37. Черновые наброски и черновой автограф ЛА.

92. «*Путь*», 1918, № 1, с. 6, под загл. «*Старая испанская песня*». Печ. по кн.: И. Эренбург, Книга для взрослых, М., 1936, с. 19.

93. Альм. «*Весенний салон поэтов*», М., 1918, с. 176, под загл. «*О себе*». Печ. по Огонь, с. 14. Черновой автограф ЛА. *Лишь когда запоет труба архангела* — т. е. в день Страшного суда, знаменующе-

го конец мира. *И ослиные копыта прозвелят по площади каменной* — намек на пришествие Иисуса Христа, который, по евангельской легенде, въехал в Иерусалим на осле. «Осанна! Осанна!» (древне-евр.) — «Спаси же!» (молитвенный возглас).

94. Огонь, с. 16, как 1-е стих. цикла под этим загл., состоящего из трех стих. Черновой автограф ЛА, под загл. «Ночью». Незавершенные черновые наброски ЛА, в том числе и под загл. «Ночи».

95. Альм. «Огонь», М., 1918, с. 36, под загл. «Еще о себе». Печ. по Огонь, с. 24. Черновой набросок ЛА. *О своих молитвах читать рецензии*. Речь идет о сборнике стих. Эренбурга «Молитва о России». *Газзела* (газель) — вид лирического стихотворения, распространенный в восточной поэзии. *Рондо* — особая стихотворная форма, возникшая во французской поэзии.

96. Однодневная газ. «День пролетарской культуры» (Киев), 1919, 6 апреля; Огонь; Сто стихотворений, сост. А. Ярцев, Тверь, 1923. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 379, где поэт вернулся к варианту сб. Огонь.

97. В звездах, с. 53, в составе 28-й гл.; Огонь (др. ред.); К. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 381.

98. Огонь, с. 11. *Творец... Шесть дней клонился над глыбой света* и т. д. Согласно Библии (Книга Бытия), бог сотворил землю и все живое на ней за 6 дней.

99. РІ, с. 6, с датой: январь — март 1920. Автограф ЦГАЛИ (рукописная кн. «Полдень» с дарственной надписью Б. Л. Пастернаку). Датировано по автографу. *Марсий* (греч. миф.) — один из спутников Диониса; нашел флейту Афины и состязался в игре на флейте с самим Аполлоном. В наказание за дерзость Аполлон содрал с Марсия кожу, повесил ее на дереве; при звуках флейты она трепетала.

100. РІ, с. 5; К; альм. «Трилистник», кн. 1, М., 1922, под загл. «Раздумия». Печ. по РІІІ, с. 9, где автор вернулся к варианту К. Черновой автограф ЦГАЛИ (рукописная кн. «Полдень»). Датировано по автографу.

101. РІ, с. 6. Печ. по РІІ, с. 7.

102. РІ, с. 19; К. Печ. по РІІІ, с. 34, где автор вернулся к варианту РІ.

103. РІ, с. 11; К. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 383. Автограф ГБЛ с датой.

104. К, с. 39. Автограф ГБЛ (рукописная кн. «Блузник» с дарственной надписью А. А. Чумаченко). В автографе вместо ст. 17—20:

Победитель, слеп и светел,
 Ты глядишь на этот гроб пустой.
 Не прельстись наследием столетий,
 Мира мавзолейной лепотой.
 Будь творцом, презрей свои творенья
 И, дары земли легко даря,
 Претвори властителя бывшее бремя
 В утреннюю песню косаря.
 Пусть пышен гроб и вечер золот,
 Суровы первые часы земного дня.
 Ты, взявши жезл, припомни тяжкий молот,
 Весну средь дыма и огня.

Багряница — мантия из дорогой ткани багряного цвета, символ власти. *Иерей* — священник. *Потир* — чаша, употребляемая в христианском культовом обряде. *Лепота* (устар.) — красота.

105. К, с. 43. Автограф ГБЛ под загл. «Ода».

106. Р1, с. 25. *Мой век среди растущих вод* и т. д. Намек на библейскую легенду о всемирном потопе: Ной выпустил из ковчега голубку, чтобы узнать, обнажилась ли суша, и голубка вернулась с масляной ветвью в клюве.

107. К, с. 51. Печ. по Костры, с. 87. *Верден* — город на северо-востоке Франции, место ожесточенных боев между французскими и немецкими войсками во время первой мировой войны в 1916 г.

108. К, с. 61; Костры. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 384.

109. К, с. 55. Печ. по Костры, с. 93. *Засевши в бест*, т. е. укрывшись от преследования, выжидая. *Парадиз* (устар.) — рай. *Беатриче* — возлюбленная Данте, которой посвящено множество сонетов поэта; здесь: олицетворение любви.

110. К, с. 58. Печ. по Костры, с. 96. *Скрижали дикого Синая*. Согласно Библии, отправляясь на гору Синай, Моисей, по велению бога, взял с собой две каменные скрижали, на которых бог начертал десять заповедей. *Суламита* (Суламифь) — девушка, в которую влюбился царь Соломон, но не смог добиться ее привязанности: Суламита постоянно тосковала о своем возлюбленном — пастухе. Эта любовная история явилась содержанием «Песни песней» — части Ветхого завета.

111. ОЛ, с. 9. *Веси* (устар.) — селения. *Весталка* — в Древнем Риме жрица богини домашнего очага и огня Весты.

112. ОЛ, с. 23. В авторском экземпляре ОЛ зачеркнута строфа 5. *Дикий шкипер* — Петр I.

113. ОЛ, с. 31. Строфы 3, 5, 6 в авторском экземпляре зачеркнуты. *Давид* — легендарный иудейский царь (кон. XI в. — ок.

950 до н. э.); ему приписывается авторство псалмов. *От груди еле отнятый, Грош вдовицы зацвел* и т. д. — намек на то, что, по евангельскому преданию, убогая лепта бедной вдовы оказалась более угодной богу, чем самые богатые дары, потому что она принесла ее не от избытка, а отдала последнее, что имела (Лука, XXI, 1—4). *Азраил* — ангел смерти у мусульман.

114. ОЛ, с. 33.

115. ОЛ, с. 35.

116. ОЛ, с. 37. Ст. 1—20 в авторском экземпляре ОЛ зачеркнуты. *Вестминстерское сердце скрипнуло сердито*. Имеются в виду часы на здании английского парламента в Вестминстере (Большой Бен). *Равашоль Л.-Л.* (1860—1892) — французский анархист. *Пикардская земля*, Пикардия — историческая провинция на севере Франции. *Оглушенный царь метался за смуглянкой*. Имеется в виду, по-видимому, царь Соломон, восплававший любовью к Суламифи (см. примеч. 110). *Мессина* — город в Сицилии, неоднократно подвергался землетрясениям; особенно разрушительное произошло в 1908 г.

117. ОЛ, с. 42. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 385. В ОЛ перед 1-й строфой еще 2 (в авторском экземпляре ОЛ они отчеркнуты):

Не сумерек боюсь — такого света,
Что вся земля — одно дыханье мирт,
Что даже камень Ветхого завета
Лишь золотой и трепетный эфир.
Любви избыток, и не ты, а диво:
Белы глазницы, плоть отлучена.
Средь пирных вскриков и трещанья иволг
Внезапная чужая тишина.

118. ОЛ, с. 43. *Сын Давидов, Филистимлян я не прощу* и т. д. Филистимляне — древний народ, населявший южную часть Палестинского побережья; вели длительную борьбу с древнесврейскими племенами. Филистимлянского великана Голиафа победил, бросив камень из пращи, юноша Давид, ставший впоследствии легендарным царем Израиля.

119. ЗТ, с. 24. *Стяжатель истины* — Ньютон.

120. ЗТ, с. 25. *Но есть ладони — много губ Им заменяло гвозди* — намек на распятие Христа.

121. ЗТ, с. 27. Стих. посвящено Пушкину. *Камергер* — придворный чин высшего ранга; Пушкин был лишь камер-юнкером (младший придворный чин). *Маршуга* — персонаж поэмы Пушкина «Цыганы».

122. ЗТ, с. 38. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 386, ошибочно датировано: 1923. «*Звериное тепло*» — название стихотворного сборника И. Эренбурга (1923).

123. ЗТ, с. 40. *Самуил* — легендарный пророк и верховный жрец израильтян, который помазал на царство *Саула*, ставшего израильским царем в 1040—1012 гг до н. э. *Двенадцать колен* (израильтян) — потомки двенадцати сыновей Иакова (Бытие, 49, 28).

124. «Поэты наших дней», М., 1924, с. 101 (др. ред.). Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 387. Отдельные строфы (с разночтениями) включены в «Книгу для взрослых» (М., 1936) Эрэнбурга как стихи героини Надежды Кроль. Эрэнбург писал об этом стихотворении: «Шагая по длинным улицам Берлина... я иногда сочинял стихи, которые потом не печатал. Вот одно из стихотворений, написанных в то время... Форма как будто была заемной — пастернаковской, но содержание моим: я продолжал работать, бушевать и, разумеется, иронизировать, а на сердце скребли кошки» (Собр. соч., т. 8, с. 446).

125—126. Печ. впервые по авториз. машинописи (ЛА). Датруется по аналогии с предыдущим стих. — на основании идейно-стилистической близости.

127. Л, 1924, № 5, с. 6.

128. Зн., 1939, № 7-8, с. 231; В под загл. «Мадрид»; Д под загл. «Мадрид»; Соч., т. 4. Печ. по С, с. 13. Авториз. машинопись ЦГАЛИ под загл. «Мадрид»; черновые наброски ЛА. *Карабанчель* — рабочий район Мадрида.

129. В, с. 72.

130. Зн., 1939, № 7-8, с. 231; Д под загл. «Испания». Печ. по С, с. 4. Черновой автограф ЛА. *Эскуриал* — город близ Мадрида; знаменит своим дворцом-монастырем, выдающимся памятником архитектуры XVI в. В комплекс Эскуриала входит также «Пантеон королей».

131. Зн., 1939, № 7-8, с. 230; В; СоВ; Д под загл. «Лето 1936»; Соч., т. 4. Печ. по С, с. 3. Черновые наброски ЛА. *Арагон* — историческая область на северо-востоке Испании.

132. Зн., 1939, № 7-8, с. 232. Печ. по В, с. 9. Черновые наброски ЛА. *Рио-Тинто*, *Линарес* — города на юге Испании, центры металлургии.

133. Зв., 1940, № 10, с. 154. Печ. по С, с. 5.

134. Зв., 1940, № 10, с. 154. Черновые наброски ЛА.

135. Зв., 1940, № 10, с. 154.

136. Зн., 1939, № 7-8, с. 234; Д; Соч., т. 4. Печ. по С, с. 9. Черновые наброски ЛА.

137. Зн., 1939, № 7-8, с. 233; Д; Стихи и поэмы. 1917—1947, М.,

1947. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 394, где поэт вернулся к варианту Д. Машинопись ЦГАЛИ под загл. «В Испании»; черновые наброски ЛА.

138. Зн., 1939, № 7-8, с. 234, без загл.; В без загл.; Д; Соч., т. 4, без загл. Печ. по С, с. 6. *Рамбле* — главная улица Барселоны.

139. Зн., 1939, № 7-8, с. 235, без загл.; Д под загл. «Брунете»; С. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 399. *Брунете* — город в Испании, где происходили ожесточенные бои в июне 1937 г. *У победы крыльев нет как нет*. Богиню победы Нику изображали в виде крылатой девы с лавровым венком.

140. Зн., 1939, № 7-8, с. 233, без загл.; В под загл. «В Андалузии»; СоВ под загл. «В Андалузии»; Д; Соч., т. 4 без загл. Печ. по С, с. 16. Авториз. машинопись ЦГАЛИ; черновые наброски ЛА. *Андалузия* — крупнейшая область в Испании.

141. Зн., 1939, № 7-8, с. 233, без загл.; В без загл.; Д под загл. «Эбро»; Соч., т. 4 без загл. Печ. по С, с. 15. *Эбро* — река на северо-востоке Испании.

142. Зн., 1939, № 7-8, с. 235; В. Печ. по С, с. 7. Черновые наброски ЛА.

143. Зн., 1939, № 7-8, с. 232, без загл. Печ. по СоВ, с. 41. Черновые наброски ЛА. *Хаэн* — город и провинция на юге Испании.

144. Зн., 1939, № 7-8, с. 233; В под загл. «Кино». Печ. по Соч., т. 4, с. 611. Машинопись ЦГАЛИ под загл. «Возле Мадрида»; черновые наброски ЛА.

145. Д, с. 49. Печ. по С, с. 30.

146. Зн., 1939, № 7-8, с. 234. Печ. по В, с. 54. Черновые наброски ЛА. В журнале перед ст. 1 было еще 10:

Ночью бомбят и бомбят.
Слушаешь крики ребят.
Кто теперь пишет стихи?
Глупо орут петухи.
Грохот и всхлипы стекла.
Громкие наши дела.
Громок торжественный век.
Только молчит человек.
Молча берет на прицел,
Молча идет под расстрел.

147. Зв., 1940, № 10, с. 155; В; Д. Печ. по АРСП, с. 786.

148. В, с. 23; Д под загл. «Париж 1938». Печ. по С, с. 35. Авториз. машинопись ЦГАЛИ под загл. «Париж 1938». *Расин Ж.* (1639—1699) — французский драматург. *Летейские воды* (греч. миф.) — воды Леты, реки забвения в подземном царстве мертвых.

149. Зв., 1940, № 10, с. 154, под загл. «В парижском предместье»; В; Д. Печ. по С, с. 27. Авториз. машинопись ЦГАЛИ. *Монруж* — район Парижа.

150. Зн., 1940, № 9, с. 87; В. Печ. по С, с. 31. Авториз. машинопись ЦГАЛИ.

151. Зв., 1940, № 10, с. 155. Печ. по В, с. 17.

152. В, с. 59, с исправлением опечатки в ст. 13 по черновому автографу ЛА.

153. НМ, 1941, № 5, с. 147; В под загл. «В Перпиньяне». Печ. по С, с. 38.

154. В, с. 20, под загл. «В Савойе»; Д. Печ. по С, с. 28.

155. Зн., 1940, № 9, с. 86; В; Д. Печ. по С, с. 29. Авториз. машинопись ЦГАЛИ.

156. Зн., 1939, № 7-8, с. 231; В. Печ. по С, с. 18. Черновые наброски ЛА. В сб. В и СоВ вместо ст. 10—12:

Расцеловать бы всех! Какой покой!
Как пахнут разогретые левкон!
А детский гомон звонок за рекой.
Всё это было жизнью, и вчера лишь
Он баловал, он обнимал детей.
Но в сердце скрыта истинная залежь
Непримиримых и больших страстей —
Чтоб выпрямиться. Жизнь не отдается,
Как высота. И вот поет труба.
Любовь ведет под пули полководца
И прикрывает знаменем гроба.

157. Зн., 1939, № 7-8, с. 235; В. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 423. Черновые наброски ЛА.

158. Зн., 1940, № 9, с. 86 (др. ред.); В. Печ. по С, с. 23. Авториз. машинопись ЛА; машинопись ЦГАЛИ.

159. Зн., 1940, № 9, с. 86, без загл. (др. ред.); В под загл. «Митинг», с датой: 1938. Печ. по С, с. 24.

160. Зн., 1940, № 9, с. 87, под загл. «Старому другу»; В под загл. «Друзьям»; Д; Соч., т. 4 под загл. «Мы победим»; АРСП под загл. «Друзьям». Печ. по С, с. 25.

161. Зн., 1939, № 7-8, с. 232. Черновые наброски ЛА.

162. В, с. 21; Д; Соч., т. 4 без загл. Печ. по С, с. 33.

163. В, с. 22. Печ. по С, с. 34.

164. В, с. 25; Д под загл. «У радиоприемника». Печ. по С, с. 26.

165. Зн., 1939, № 7-8, с. 230; В под загл. «Май 1939». Печ. по С, с. 36. Авториз. машинопись ЦГАЛИ. В сб. В вместо ст. 21—24:

Как в старину, как домочадцы,
Пока еще горит окно,
И пчелы в пчельнике роятся,
И винодел несет вино.
Потом вскричит горнист, как лебедь,
И в песню громкую бойца
Вмешается жестокий щелбет
Невыносимого свинца.

166. Зн., 1940, № 9, с. 86, без загл. Печ. по С, с. 63. *Верность — августа слава и дым* — вероятно, воспоминание об ожесточенных боях в Испании в августе 1936 г.

167. «Ленинградская правда», 1939, 22 июля, без загл.; то же: Зн., 1939, № 7-8, без загл.; В под загл. «Январь 1939». Печ. по С, с. 21. Черновые наброски ЛА.

168. В, с. 15, без загл.; Д под загл. «Воспоминание об Испании». Печ. по С, с. 22. *Куэнка* — город и провинция в центральной Испании. *Малага* — город и провинция на юге Испании.

169. «Ленинградская правда», 1939, 22 июля; Зн., 1939, № 7-8. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 405, где поэт вернулся к газетному варианту. Черновые наброски ЛА. *Эбро* — см. примеч. 141.

170. Зн., 1940, № 9, с. 88. Печ. по В, с. 7.

171. Зн., 1940, № 9, с. 87.

172. Зн., 1940, № 9, с. 88. Печ. по В, с. 30.

173. Зн., 1940, № 9, с. 88.

174. Зн., 1940, № 11-12, с. 197, под загл. «Ночная тревога»; Д без загл. Печ. по С, с. 39. Авториз. машинопись ЦГАЛИ.

175. Печ. впервые по машинописи ЛА (сб. «Парижская исповедь»). Авториз. машинопись ЛА.

176. «День поэзии», М., 1971, с. 160 (публикация Б. Слуцкого по сб. «Парижская исповедь» — ЛА).

177. «День поэзии», М., 1971, с. 160 (публикация Б. Слуцкого по сб. «Парижская исповедь» — ЛА). Авториз. машинопись ЛА — др. ред.:

Всё сложено. Никто не скажет «сжался».
 Минуты смутные скользят меж пальцев.
 Скорей бы крик колес, вся одурь шума, —
 Чтоб только не очнуться, не подумать!
 Уеду, как ушел, как засиделся.
 Не поперхнется горем эта стрелка.
 Останутся привычные заботы,
 И на паркете солнца позолота,
 Накроют к ужину, и будет вечер
 Такой же хрупкий и такой же вечный.
 К чему слова, дожука и примерка?
 Давно привыкло к расставанью сердец.
 Я знаю: будет золотой и долгий,
 Как мед густой, непроходимый полдень,
 И будут с гирями часы на кухне,
 В саду гудеть шмели и сливы пухнуть,
 И женский плач молчанья не нарушит,
 Избытка жизни и ее безумья.

178. Зв., 1940, № 10, с. 157, под загл. «У приемника». Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 398.

179. Зн., 1940, № 9, с. 89; Д. Печ. по С, с. 41.

180. «30 дней», 1940, № 9-10, с. 53.

181. «30 дней», 1940, № 9-10, с. 53; Зн., 1940, № 11-12; СоВ; Д. Печ. по С, с. 52.

182. Зн., 1940, № 9, с. 87, под загл. «Родина». Печ. по В, с. 69.

183. Зн., 1940, № 11-12, с. 198, под загл. «Красное знамя»; Д. Печ. по С, с. 53. Машинопись ЦГАЛИ под загл. «В 1940 году».

184. Зн., 1940, № 9, с. 88, под загл. «Иль де Франс»; Д; Соч., т. 4 под загл. «Иль де Франс»; С под загл. «Возле Фонтенбло». Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 432. Авториз. машинопись ЛА. *Фонтенбло* — одна из загородных резиденций французских королей с дворцовым ансамблем и парком.

185. Зв., 1941, № 4, с. 8. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 436.

186. Зв., 1940, № 10, с. 156, под загл. «После бомбардировки». Печ. по В, с. 48.

187. Зн., 1940, № 9, с. 89. Печ. по В, с. 40.

188—195. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 427.

1. Зв., 1940, № 10, с. 156, под загл. «Армия отходит»; В. Машинопись ЦГАЛИ под загл. «В Париже».

2. Зв., 1940, № 10, с. 157, под загл. «18 марта»; В под загл. «18 марта»; СоВ. Машинопись ЦГАЛИ под загл. «Июнь 1940».

18 марта — День Парижской коммуны. *Делеклюз Л.-Ш.* (1809—1871) — революционер, активный участник Французской революции 1848 г., член Парижской коммуны. Погиб на баррикадах Парижа в дни последних боев коммунаров.

3. «30 дней», 1940, № 9-10, с. 53; В; Д; Соч., т. 4. Машинопись ЦГАЛИ под загл. «Париж 1940». В сб. В после ст. 12:

Гуляли мыши. Был день, как клей.
Старухи вышли из всех щелей,
Забрали сахар — за делом шли,
Омыли тело, потом ушли.
От камня в воду еще круги,
Как заступ оземь, чужих шаги.
Идут за гробом, и горе тут.
А камень розов, и розы лгут.

4. НМ, 1941, № 5, с. 147; Д; С. В журнале после ст. 16:

Пусть, как деревья, рушатся народы,
Пусть ломок сон, как посиневший лед,
Сильнее гнева мертвая природа,
В ней человек себя переживет.

5. Зв., 1940, № 10, с. 157, под загл. «Памятники Парижа» Зн., 1940, № 11-12, под загл. «Памятники»; СоВ под загл. «Памятники»; Соч., т. 4. Авториз. машинопись ЦГАЛИ.

6. Зн., 1940, № 11-12, с. 197.

7. Зн., 1940, № 9, с. 89, под загл. «Rue Cherche-Midi»; Соч., т. 4.

8. Зв., 1941, № 4, с. 7, с датой: 1941; В; Д; Соч., т. 4; С. Автограф ЛА с датой: январь 1941.

196—197. В, с. 28, 43.

198. НМ, 1971, № 1, с. 114.

199. Печ. впервые по автографу ЛА.

200. «День поэзии», М., 1971, с. 160 (публикация Б. Слуцкого). Автограф ЛА. *Персефона* (греч. миф.) — богиня плодородия, похищенная богом подземного царства Аидом.

201. В, с. 52. Автограф ЛА. Это и последующие стих. (№ 202—204) датированы в авторских сборниках: 1940; в настоящем издании даты уточнены по автографам.

202. Зв., 1941, № 4, с. 8; Д. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 437. Автограф ЛА. См. примеч. 201.

203. Зв., 1941, № 4, с. 8; Д. Печ. по С, с. 40. Автограф ЛА; авториз. машинопись ЦГАЛИ. См. примеч. 201. *Ронсар Поль* (1524—1585) — французский поэт, глава «Плеяды». Эренбург перевел его стих. — см. № 364.

204. Зв., 1941, № 4, с. 7, без загл.; В без загл.; СоВ. Печ. по С, с. 51. Автограф ЛА без загл. См. примеч. 201. *Парки* — в античной мифологии богини человеческой судьбы; изображались в виде старух, прядущих нить человеческой жизни.

205. «Правда», 1942, 7 декабря, под загл. «Русская земля»; Д под загл. «Сорок первый». Печ. по С, с. 55. Авториз. машинопись ЦГАЛИ.

206. НМ, 1943, № 2-3, с. 3, под загл. «Киев»; СоВ под загл. «Киев»; Д под загл. «Киев». Печ. по С, с. 58.

207. Зн., 1943, № 1, с. 53, без загл. Печ. по СоВ, с. 5.

208. СоВ, с. 7.

209. Зн., 1943, № 1, с. 52, без загл.; СоВ. Печ. по Д, с. 33.

210. СоВ, с. 10.

211. НМ, 1943, № 2-3, с. 3. Печ. по Д, с. 26. Машинопись ЛА, др. ред.:

Опившись винами Бургундии,
В дорожной голубой пыли,
Кичась, что все границы сдунули
И вытоптали полземли,
Они нажились, неистовы,
Огнем и холодом грозя,
Но есть такое слово «выстоять»,
Когда и выстоять нельзя.
И, целомудрием прикрытая
В пустой заснеженной степи,
Она и не такое вытерпит,
Когда ей скажут «претерпи»,
И всё отдаст, и всем поступится,
Не жалуясь и не дыша,
Но не предаст и не отступится
Большая русская душа.

212. СоВ, с. 16. Печ. по Д, с. 41.

213. СоВ, с. 35. Посвящено одному из трагических эпизодов второй мировой войны. После капитуляции Франции в 1940 г. по условиям перемирия с Германией в Тулоне находилась часть французского военного флота. В ноябре 1942 г. фашисты, с согласия коллаборационистского правительства Ф. Петэна, нарушили перемирие и оккупировали Тулон. Французские моряки-патриоты предпочли частью взорвать, частью потопить свыше 100 кораблей.

214. «Литература и искусство», 1942, 12 декабря, под загл. «Декабрь 1941 года»; СоВ под загл. «Декабрь 1941». Печ. по Д, с. 39.

215. СоВ, с. 46; Д. Печ. по С, с. 61. Авториз. машинопись ЦГАЛИ.

216. СоВ, с 49.

217. Зн., 1943 № 1, с. 52.

218. СоВ, с. 57. Авториз. машинопись ЛА.

219. Зн, 1943, № 1, с. 52; Зв., 1945, № 7. Печ. по Д, с. 68. *Есть упоение в бою — из «маленькой» трагедии Пушкина «Пир во время чумы»*

220. СоВ, с. 60.

221. Зн., 1943, № 1, с. 52. Печ. по СоВ, с. 66.

222. «Красная звезда». 1942, 29 ноября, под загл. «Был лютый мороз. .». Печ. по СоВ, с. 67.

223 Окт., 1943, № 2, с. 97; то же: НМ, 1943, № 2-3; Д; Соч., т. 4. Печ по С, с. 59.

224. НМ, 1943, № 2-3, с. 4; Д. Печ. по С, с. 69.

225. Собр. соч., т 9, с. 372 (в тексте ЛГЖ).

226. Печ. впервые по авториз. машинописи ЦГАЛИ. Черновой автограф ЛА. Это и последующие стихотворения (№ 227—234) входили в цикл «Из дневника (Октябрь — декабрь 1943)», подготовленный Эрэнбургом для публикации в Зн., датируются по этой авториз. машинописи ЦГАЛИ.

227. ЛР, 1971, 29 января. Авториз. машинопись ЦГАЛИ; черновые наброски ЛА. См. примеч. 226.

228. Печ. впервые по авториз. машинописи ЦГАЛИ. Черновой автограф ЛА. См. примеч. 226.

229. НМ, 1944, № 8-9, с. 47, без загл.; Зв., 1945, № 7, без загл.; Д. Печ. по С, с 63. Авториз. машинопись ЦГАЛИ, без загл.; черновые наброски ЛА. См. примеч. 226

230. «Красноармеец», 1945, № 3-4, с. 7. См. примеч. 226.

231. Зв., 1945, № 7, с. 5; Д. Печ. по С, с. 64. См. примеч. 226. *Глухов — город на Украине. «Осенью 1943 года в Глухове, накануне освобожденном нашей армией, я увидел фруктовый сад, а в нем аккуратно подпиленные яблони; листья еще зеленели, на ветках были плоды» (Собр. соч., т. 8, с. 191).*

232. НМ, 1944, № 8-9, с. 47. См. примеч. 226.

233. «Литература и искусство», 1944, 19 августа; то же: НМ, 1944, № 8-9; «Красноармеец» 1945, № 3-4. Печ. по Л, 1945, № 17-18, с. 11, где тот же вариант, что в газ. См. примеч. 226.

234. «Литература и искусство», 1944, 19 августа; то же: Зв., 1945, № 7. См. примеч. 226.

235. «День поэзии», М., 1962, с. 245. *Скребет себя на пепле Иов.* Согласно библейскому преданию, бог, решив испытать, насколько крепка вера Иова, наслал на него страшные бедствия: лишил детей, богатства и поразил проказой. Иов вынужден был уйти из родного города; сидя в пепле и навозе, он скоблил черепком струпья на теле (Книга Иова).

236. Св., с. 3, под загл. «Посвящение»; Д. Печ. по С, с. 67. *Практитель* — древнегреческий скульптор IV в. до н. э. *Безрукая* — всемирно известная статуя Венеры Милосской, хранящаяся в музее Лувра. *И плакал перед нею Глеб Успенский, А Гейне знал, что все слова не те.* Герой очерка писателя-демократа Г. И. Успенского (1843—1902) «Выпрямила» вспоминает рассказ луврского сторожа о том, как воспринимал статую Венеры Милосской Гейне: он «сидел по целым часам и плакал» перед нею.

237. НМ, 1944, № 8-9, с. 47.

238. Д, с. 70. Печ. по С, с. 70. Машинопись ЛА.

239. Д, с. 50. Печ. по С, с. 66. Авториз. машинопись ЦГАЛИ. *Есть время камни собирать, И время есть, чтоб их кидать* — перефразированное библейское изречение «Всему свое время... Время разбрасывать камни, и время собирать камни» (Екклесиаст, III, 15).

240. НМ, 1945, № 9, с. 29. Печ. по Д, с. 44. Авториз. машинопись ЛА; черновые наброски ЛА.

241. НМ, 1945, № 1, с. 16. Печ. по С, с. 76. Черновой автограф ЛА.

242. Зв., 1945, № 7, с. 5. Печ. по С, с. 71. Авториз. машинопись ЦГАЛИ; машинопись ГПБ.

243. НМ, 1945, № 1, с. 16, без загл.; Соч., т. 4. Печ. по С, с. 72. *Бабий Яр* — овраг в Киеве, где фашисты в сентябре 1941 г. расстреляли около 70 тысяч советских граждан. Затем там был концлагерь, узники которого были уничтожены в августе-сентябре 1943 г., трупы сожжены.

244. Д, с. 47, под загл. «В гетто»; в гранках сборника (ЛА) — под загл. «В польском гетто» («польском» — зачеркнуто). Печ. по С, с. 74. Машинопись и черновые наброски ЛА.

245. Д, с. 48.

246. ЛР, 1971, 29 января.

247. НМ, 1971, № 1, с. 114.

248. ЛР, 1971, 29 января. Машинопись ЛА.

249. Печ. впервые по машинописи ЛА. Машинопись ЛА, с разночтениями. Черновой автограф ЛА в записной книжке, где стихи не позднее 1945 г. (датировано на этом основании).

250. Печ. впервые по машинописи ЛА. В ЛА еще 3 машинописных варианта, существенно отличающихся от публикуемого. Приводим один из них:

Я не завидую
Ни кораблям,
Ни журавлям,
Ни древним грекам,
Ни сердцевине дуба,
Ни синеве пернатых,
Ни человеку, чьи зубы
Уже сверкают на плакатах
Задуманного века.
Как все, я знал любимый край,
Как все, я ждал, что будет рай,
В музеях плакали бывшие боги.
Рыдали истуканы.
А человек был нем.
И вот теперь в конце дороги
Завидую я только тем,
Кто умер на пороге
Земли обетованной.

Датировано по аналогии с № 249.

251. НМ, 1945, № 9, с. 29. Печ. по Д, с. 52. Авториз. машинопись ЛА.

252. Зв., 1945, № 7, с. 6; Д. Печ. по С, с. 84. Машинопись ЛА, без загл.

253. Д, с. 3. Машинопись ЛА.

254. НМ, 1945, № 9, с. 30; то же: Л, 1945, № 17-18; Д. Печ. по С, с. 80. Машинопись ЛА, др. ред.:

Когда я был молод, была уж война,
Я жизнь мою прожил — и тоже война,
И что мне припомнить, сказать мне о чем бы,
О том, что весною чирикают бомбы,
О том, что всю жизнь простучал напролет
Один очень громкий и злой пулемет?
А тихо бывало — я знал: ненадолго,
Мне каждая радость казалась обмолвкой,
Казалась отсрочкой и сна тишина,
А точной и прочной одна лишь война.

Но что я запомнил из жизни той громкой,
Не зорю горниста и, право, не бомбы,
А где-то в рыбацком селенье одном
Повисший над морем бушующим дом,
И как там матрос расставался с хозяйкой,
И грустные руки кружились, как чайки,
И годы и годы мерещатся мне
Всё те же две тени на белой стене.

255. НМ, 1945, № 9, с. 29. Печ. по С, с. 83. Авториз. машинопись ЦГАЛИ.

256. НМ, 1945, № 9, с. 29; Д; С. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 469.

257. НМ, 1945, № 1, с. 16; С. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 470. Черновой автограф ЛА.

258. Зв., 1945, № 7, с. 6; НМ, 1945, № 9; Д. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 463.

259. НМ, 1945, № 1, с. 16; то же: «Красноармеец», 1945, № 3-4. Печ. по Д, с. 84, где входило в цикл «В феврале 1945». Машинопись ЛА, в составе цикла «Стихи февраля 1945» (вместе со стих. 260, 261, 267).

260—261. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 464. Машинопись ЛА — см. примеч. 259.

1. НМ, 1945, № 1, с. 16; то же: «Красноармеец», 1945, № 3-4. Черновые наброски ЛА. *Медынь* — город в Калужской области.

2. Зв., 1945, № 7, с. 5; Д; С под загл. «В феврале 1945». Авториз. машинопись ЦГАЛИ под загл. «В феврале 1945»; авториз. машинопись ЛА.

262. НМ, 1945, № 9, с. 30; то же: Л, 1945, № 17-18. Печ. по Соч., т. 4, с. 608.

263. НМ, 1945, № 9, с. 30, без загл. Печ. по Д, с. 97. Машинопись ЛА без загл., в составе цикла «Ленинградские стихи» (вместе со стих. 269); черновые наброски ЛА.

264. Зв., 1945, № 7, с. 6, под загл. «Май 1945»; НМ, 1945, № 9. Печ. по Д, с. 98, где входило в цикл «В мае 1945». Машинопись ЛА, в составе цикла «Стихи мая 1945» (вместе со стих. 265 и 266); черновой автограф ЛА, в составе цикла «Май 1945» (тоже вместе со стих. 265 и 266).

265—267. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 465.

1. НМ, 1945, № 9, с. 29; Л, 1945, № 17-18; Д. Машинопись ЦГАЛИ под загл. «В мае 1945»; машинопись и черновой автограф ЛА — см. примеч. 264. *О них когда-то горевал поэт* и т. д. — намек на стих. Лермонтова «Они любили друг друга так долго и нежно...», представляющее перевод из Гейне (стих. «*Sie liebten sich beide...*»).

2. НМ, 1945, № 9, с. 29; Л, 1945, № 17-18; Д. Машинопись ЦГАЛИ под загл. «9 мая 1945 года»; машинопись и черновой автограф ЛА — см. примеч. 264.

3. НМ, 1945, № 1, с. 16; Д в цикле «В феврале 1945». Машинопись ЦГАЛИ; машинопись ЛА — см. примеч. 259.

268. Д, с. 100. Машинопись ЛА.

269. НМ, 1971, № 1, с. 115. Печ. по машинописи ЛА. См. примеч. 263. Авториз. машинопись ЛА. Эпиграф из стих. И. Анненского «„Расе“. Статуя мира».

270. С, с. 87. Отдельные строфы с разночтениями — НМ, 1947, № 8, с. 120, 126—127, в тексте романа «Буря». Машинопись ЛА. По-видимому, навеяно песней французских партизан-маки, которую Эренбург услышал во время поездки во Францию в 1946 г. (см.: Собр. соч., т. 9, с. 542).

271. Соч., т. 4, с. 632. Два черновых автографа ЛА; машинопись ЛА, в составе цикла «Франция» (вместе со стих. 272—273). «Во Францию два гренадера...» — первая строка стих. Гейне «Гренадеры» в пер. М. Михайлова.

272—273. НМ, 1971, № 1, с. 116. Беловой и черновой автографы ЛА; машинопись ЛА — см. примеч. 271.

274. НМ, 1971, № 1, с. 116. Черновой автограф ЛА под загл. «Воспоминание»; авториз. машинопись ЛА.

275. Собр. соч., т. 9, с. 557 (в тексте ЛГЖ). Автограф ЛА под загл. «Село Тарханы»; машинопись ЛА под загл. «Село Тарханы»; авториз. машинопись ЛА под загл. «Село Тарханы»; машинопись ЛА под загл. «Село Тарханы-Лермонтово». Тарханы (ныне село Лермонтово) Пензенской обл. — имение бабки Лермонтова Е. А. Арсеньевой, в настоящее время — музей-усадьба поэта. Демон — герой одноименной поэмы Лермонтова. *Здесь нет ни топота, ни свиста* — намек на строки из стих. Лермонтова «Родина»: «Смотреть до полночи готов На пляску с топаньем и свистом...». «Люблю отчизну я, но странною любовью...» — первая строка того же стих.

276—278. ЛР, 1971, 29 января. Авториз. машинопись ЛА. Датировано на том основании, что черновые наброски 2-го стих. в ЛА находятся среди черновых автографов стихов, написанных в 1948 г.

279. Печ. впервые по авториз. машинописи ЛА. Авториз. машинопись ЛА; машинопись ЛА; два черновых автографа ЛА, приводим один из них (др. ред.):

Признаться — море мне сродни:
Его томительные дни,
Когда с усердьем кропотливым
Прилив сменяется отливом,

И то, как всякий раз упорно
Оно пытается восстать,
Шумит, грозит, а после шторма
Всё та же бирюза и гладь.
Ему должно быть отвратительно,
Когда поэты и ценители,
Припомнив лет своих тюрьму,
Стоят, завидуют ему,
Когда дурак клянётся женщине,
Что если море переменчиво,
То он незыблем, как гранит,
А море слышит и шумит.
Скажи мне, сколько нужно странствий,
Как отвергал, как был отвергнут,
Чтоб море говорило сердцу
О верности, о постоянстве,
Чтоб стало всё, чем жил и жив,
Как тот прилив, как тот отлив?

Датировано по аналогии со стих. 276—278.

280. НМ, 1971, № 1, с. 116. Авториз. машинопись ЛА и машинопись ЛА; черновой автограф ЛА. Датировано по аналогии со стих. 276—279.

281. Соч., т. 4, с. 635, с датой: 1947; С. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 473.

282. С, с. 91.

283. С, с. 92. Авториз. машинопись ЛА; машинопись ЛА (несколько вариантов); авториз. машинопись ЦГАЛИ с датой: 1958.

284. С, с. 94. Машинопись ЦГАЛИ, под загл. «Ночью в Нагасаки», машинопись ЛА (несколько вариантов); черновые наброски ЛА; авториз. машинопись ЛА, где после строки 14-й еще 6:

Что никому сегодня не охота
Примерить шлем дурацкий Дон-Кихота,
Что классиков неоспоримо слово,
Дубасят ведь не мертвого — живого.
Она скулит от жалости и страха,
Как на цепи дворовая собака.

285. «Дснь поэзии», М., 1962, с. 245. «Мысль изреченная есть ложь» — из стих. Ф. И. Тютчева «Silentium!».

286. Печ. впервые по машинописи ЛА.

287. С, с. 96. Машинопись ЦГАЛИ; авториз. машинопись ЛА; машинопись ЛА (два варианта).

288. С, с. 95. Черновые автографы ЛА; авториз. машинопись ЛА;

машинопись ЦГАЛИ. В Собр. соч. датировано: 1958; дата уточнена по автографу.

289. ЛГ, 1959, 21 июля. Печ. по С, с. 97.

290. ЛГ, 1959, 21 июля, под загл. «Товарищи»; С. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 479. Машинопись ЛА (несколько вариантов); черновые наброски ЛА.

291. С, с. 100. Авториз. машинопись ЛА (несколько вариантов), в т. ч. и без загл.; машинопись ЛА без загл.; машинопись ЦГАЛИ. *Равенсбрук* — фашистский женский концлагерь на территории Польши.

292. НМ, 1971, № 1, с. 117. Черновой автограф ЛА без загл.; машинопись ЛА без загл. (два варианта).

293. С, с. 102. Авториз. машинопись ЛА под загл. «О взрывах»; машинопись ЦГАЛИ.

294. С, с. 103. Авториз. машинопись ЛА без загл.

295. С, с. 104. Авториз. машинопись ЛА с эпиграфом: «Фомой-неверным называют человека, который не сразу верит тому, что ему рассказывают. Словарь»; машинопись ЛА без загл. *Фома Неверный* — один из учеников Христа, не поверил в воскресение его из мертвых, пока не вложил персты свои в его раны (Иоанн, XX, 27—28).

296. ЛГ, 1959, 21 июля, под загл. «Северная весна». Печ. по С, с. 106. Машинопись ЛА (два варианта) под загл. «Весна на севере»; черновые наброски ЛА.

297. С, с. 108. Авториз. машинопись ЛА и ЦГАЛИ; черновые наброски ЛА.

298. С, с. 109. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 488. Машинопись ЦГАЛИ под загл. «В Дельфах»; авториз. машинопись ЛА под загл. «В Дельфах»; машинопись ЛА без загл.

299. С, с. 111. Авториз. машинопись ЛА (два варианта, в одном — под загл. «Почти басня»).

300. С, с. 114. Черновой автограф ЛА.

301. С, с. 115. Машинопись ЛА (несколько вариантов, в том числе и без загл.).

302. С, с. 117. Авториз. машинопись ЛА; машинопись ЛА; черновые наброски ЛА.

303. С, с. 119. Машинопись ЛА (два варианта).

304. С, с. 121. Печ. по Собр. соч., т. 3, с. 491. Авториз. маши-

нопись ЛА под загл. «Отступники»; машинопись ЛА под загл. «Отступники».

305. Зн., 1965, № 11, с. 77. Авториз. машинопись ЛА (два варианта) без загл.

306. Зн., 1965, № 11, с. 76. Печ. по Собр. соч., т. 9, с. 791. Авториз. машинопись ЛА без загл.

307. Зн., 1965, № 11, с. 78. Печ. по Собр. соч., т. 9, с. 788. Авториз. машинопись ЛА под загл. «Перед посадкой»; другой вариант — без загл.; черновые наброски ЛА. *Вознесенск* — город в Московской обл., вблизи которого в селе Бабкино Чехов жил в 1885 г. *Мы видели в алмазах небеса* и т. д. — перефразированы слова Сони в пьесе Чехова «Дядя Ваня».

308. Зн., 1965, № 11, с. 75. Авториз. машинопись ЛА.

309. П, 1966, № 1, с. 63. Авториз. машинопись ЛА (два варианта, один — без загл.).

310. П, 1966, № 1, с. 62.

311. П, 1966, № 1, с. 62. Черновые наброски ЛА. *Так с Тютчевым на склоне лет То необычное случилось*. Речь идет о «последней любви» Тютчева к Е. А. Денисьевой (см. т. н. «денисьевский цикл» его стих.). *Уже скудела в жилах кровь* — неточная цитата из стих. Тютчева «Последняя любовь».

312. П, 1966, № 1, с. 63. *В королевстве Датском По-прежнему не всё благополучно* — перефразированная реплика Горацио из трагедии Шекспира «Гамлет».

313. П, 1966, № 1, с. 63, без загл. Печ. по Собр. соч., т. 9, с. 773. Авториз. машинопись ЛА. *Тинторетто* Я. (1518—1594) — итальянский живописец. О впечатлении, произведенном на него картинами художника, Эренбург писал: «...Тинторетто, который видел, ощущал, понимал мир трагически, сумел это выразить; ему было достаточно пальцев ноги, складок бархата, сползающего вниз, облака, куска стены, чтобы рассказать миру то, о чем начал вскоре писать Шекспир» (Собр. соч., т. 8, с. 102—103).

314—323. Печ. по Собр. соч., т. 9, с. 782.

1. Зн., 1965, № 11, с. 75. Авториз. машинопись ЛА; машинопись ЛА.

2. Зн., 1965, № 11, с. 74. Авториз. машинопись ЛА, где перед ст. 1:

Говорят порой — и это под руку:
«Дело, милый мой, совсем не в бодрости,
Но о жизни лучше не судите вы,
Жизнь вы прожили, теперь дожитие».

После ст. 8:

Хочется задуматься по-честному,
Да мешает жизненная бестолочь.

3. Авториз. машинопись ЛА; машинопись ЛА, два варианта, в одном перед ст. 1:

У человека много родин,
Разноречивым жизнь полна,
Но если жить он непригоден,
То родина ему одна.

5. Авториз. машинопись ЛА.

6. Авториз. машинопись ЛА; машинопись ЛА.

7. Зн., 1965, № 11, с. 75. Авториз. машинопись ЛА.

8. Зн., 1965, № 11, с. 76. Авториз. машинопись ЛА; машинопись ЛА; черновой автограф ЛА.

9. Машинопись ЛА, где вместо ст. 12:

В чет и нечет играть.
Больше нет ничего.
Только холод и мгла.
Я хочу одного —
Хоть немного тепла.

10. Авториз. машинопись ЛА; машинопись ЛА.

324. Собр. соч., т. 9, с. 772. Авториз. машинопись ЛА (два варианта) под загл. «Люди, годы, жизнь»; машинопись ЛА под загл. «Люди, годы, жизнь»; черновые наброски ЛА. *Пять лет описывал не пестрядь быта* и т. д. Речь идет о мемуарах «Люди, годы, жизнь», которые печатались в «Новом мире» в 1960—1965 гг. *Янус* — в античной мифологии бог времени; изображался в виде человека с двумя лицами: одно было обращено в прошлое, другое — в будущее. *Истоптанный, но мыслящий тростник*. Перефразированы слова Паскаля, которые Эренбург приводит в мемуарах: «Человек только тростник, самое хрупкое из всего существующего, но это мыслящий тростник. Капля воды может его убить. Но даже если вся вселенная на него ополчится, он все же будет выше своих убийц, ибо он может осознать смерть, а слепые силы лишены сознания. Итак, все наше достоинство в мысли. . .» (Собр. соч., т. 8, с. 473).

325. Собр. соч., т. 9, с. 774. Авториз. машинопись ЛА (два варианта). «От жажды умираю над ручьем» — первая строка из «Баллады поэтического состязания в Блуа» Ф. Вийона (см. примеч. 63) в переводе Эренбурга — см. стих. 343.

326. Собр. соч., т. 9, с. 775, с восстановлением по автографу ЛА, ст. 11. Авториз. машинопись ЛА (два варианта); машинопись ЛА (два варианта), без загл. *Пандора* (греч. миф.) — женщина, сотворенная по воле Зевса в наказание людям за деяния Прометея. Несмотря на запрет, открыла шкатулку, в которой были заключены всяческие пороки, болезни, несчастья, и выпустила их на горе людям.

327. Собр. соч., т. 9, с. 776. Авториз. машинопись ЛА (несколько вариантов, в том числе: без загл.; под загл. «Ветхая история»; под загл. «Старая история»); машинопись ЛА под загл. «Ветхая история». *Но те, что в сушь, в обрез, в огрыз* и т. д. Речь идет о ранних христианах. *Назарет* — город в Палестине, где, по евангельскому преданию, провел детство Иисус Христос.

328. Собр. соч., т. 9, с. 792. Авториз. машинопись ЛА.

329. ИМ, 1971, № 1, с. 115. Авториз. машинопись ЛА.

330. Печ. впервые по машинописи ЛА.

331. Печ. впервые по машинописи ЛА. Машинопись ЛА (др. вариант).

332. Печ. впервые по машинописи ЛА. Авториз. машинопись ЛА; черновой автограф ЛА; машинопись ЛА (др. вариант).

ПОЭМЫ

333. Повесть о жизни некой Наденьки и о вещих знамениях, явленных ей, Париж, 1916. Отрывки с разночтениями: альм. «Весенний салон поэтов», М., 1918, с. 174; К, с. 19; Собр. соч., т. 8, с. 475—476 (в тексте ЛГЖ). *Любовь никогда не перестает* и т. д. — из Библии (Первое послание к коринфянам, 13, 8). *Ультра-лучизм, светопэзы, теософия* — модные течения в живописи, литературе, философии. *Ты дал нам холодную воду Из копья пронзенного ребра* — см. примеч. 1. *Савл* — прежнее имя апостола Павла, который сначала был неистовым гонителем христиан. *Прогимназия* — неполное среднее общеобразовательное учебное заведение. *Шакон* — модный танец. *Над своими птенцами, Рахиль, плачь* — перефразировано библейское изречение из Книги пророка Иеремии: «голос слышен в Риме, вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет» (Иеремия, 31, 15). *И в той же губке тот же уксус* — намек на муки распятого Иисуса Христа: когда он попросил пить, ему поднесли губку, смоченную уксусом. *Иосиф Благолепный* — любимый сын патриарха Иаков² и Рахили, которого замыслили погубить братья. О его судьбе рассказано в Книге Бытия. *Иакова я возлюбил, Исава я возненавидел*. Библейский миф рассказывает о том, что Исава, будучи старшим из близнецов и наследником рода, легкомысленно уступил своему брату Иакову право первородства за чечевичную похлебку, чем разгневал бога. *Много Марий у крестов*. По евангельской легенде, когда распинали Иисуса, у его креста стояли «мать его, и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина» (Иоанн, XIX, 25).

334. О жилете Семена Дрозда. — Молитва, Париж, 1917. Отдельные строки с разночтениями — Собр. соч., т. 8, с. 118 (в тексте ЛГЖ);

там же о прототипах *Михеевых* в поэме. «Отдохнешь и ты» — строка из стих. Лермонтова «Горные вершины». *Надсон* С. Я. (1862—1887) — русский поэт. *Бальмонт* К. Д. — см. примеч. 58—70. *Гоген* П. (1848—1903) — французский художник. *Сезанчик* — Сезанн П. (1839—1906) — французский художник, основоположник кубизма. *Штейнер* Р. (1861—1925) — немецкий теософ, основатель религиозно-мистического общества; в Дорнахе близ *Базеля* ученики Штейнера строили храм. *Ловчен* — населенный пункт в Герцеговине. *Об ухе Ван-Гога*. Голландский живописец В. Ван-Гог (1853—1890) в припадке безумия отрезал себе мочку уха. *Им не скажет крик петуший О великом отечении* — см. примеч. 63.

335. «Комсомольская правда», 1943, 1 мая. Печ. по Св., с. 5 с исправлениями по автографу (ЛА). Авториз. машинопись ГЛМ (отд. разрозненные листы). *Конкорд* — площадь Согласия. *Луксорский обелиск* вывезен из египетского г. Луксора и установлен на площади Согласия. *Дантон* Ж.-Ж. (1759—1794) — деятель Великой французской революции. *Померания* — историческая область в Польше, находилась долгое время под властью Пруссии. *Триумфальная арка* воздвигнута в Париже на площади Звезды в честь наполеоновских побед. *Верден* — см. примеч. 107. *Пастушка на коне* — Жанна д'Арк. *Роланд* — герой французского средневекового эпоса «Песнь о Роланде». *Франтирер* (франц.) — партизан. *Эмма Бовари* — героиня романа Г. Флобера (1821—1880) «Госпожа Бовари». *Маршал* — Ф. Петэн, возглавил правительство, подписавшее соглашение с гитлеровской Германией о капитуляции Франции. *Эпир* — историческая область на северо-западе Греции. *Савойя* — историческая провинция на юго-востоке Франции. *Шампань* — провинция на северо-востоке Франции. *Эринии* (греч. миф.) — богини мщения. *Ронсар* — см. примеч. 203.

336. Зн., 1943, № 5-6, с. 30. Печ. по Св., с. 17 с исправлениями по автографу (ЛА). *Франц-Иосиф* — австрийский император (1846—1916). *Швейк* — герой сатирического романа Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны». *Эпир* — см. примеч. 335. *Гейдрих* — фашистский протектор Чехии и Моравии; убит чешскими патриотами в 1942 г. *Протектор он*. Преемником Гейдриха стал Франк. *Табор*, *Мельник*, *Детва*, *Злин* (ныне Готвальдов) — города в Чехословакии. *Орава* — река в Чехословакии. *Над Лидице гроза*. Шахтерский поселок Лидице был разрушен до основания фашистами после покушения на Гейдриха; большинство жителей расстреляно.

ТРАГЕДИЯ В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ

337. И. Эренбург, Золотое сердце. Мистерия. — Ветер. Трагедия, М. — Берлин, 1922, с. 97. *Картаген* (прав. Картагена) — город на юге Испании (древний Новый Карфаген). В 1873 г. город был одним из центров т. н. кантональных восстаний бакунистов. В драме отражены события пятой испанской революции (1868—1874 гг.), в ходе которой в феврале 1873 г. король отрекся от престола.

В июне 1873 г. было образовано республиканское правительство, выдвинувшее программу прогрессивных реформ. Однако в июле 1873 г. в ряде провинций вспыхнуло кантональное восстание мелкобуржуазных республиканцев («непримиримых») и анархистов, сторонников Бакунина. Оно подорвало позиции первого республиканского правительства и содействовало поражению революции: в декабре 1874 г. в Испании была восстановлена монархия.

Действие 1. *Песет* — денежная единица в Испании. *Законы Бытия*. Речь идет о Книге Бытия — части Библии, повествующей о сотворении мира. *Саламанка* — университетский город в Испании. *Кант И.* (1724—1804) — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии. *Прудон П.-Ж.* (1809—1865) — французский экономист и социолог, один из основоположников анархизма. *Королевство Лсон и Кастилия* — одно из феодальных королевств на территории Испании в XI—XV вв. *Херес* — город на юге Испании, центр виноделия.

Действие 2. *Голгофа* — гора близ Иерусалима, где был распят Христос (здесь: символ нравственных страданий, подвижничества). *Санкюлот* (франц.) — представитель революционных народных масс в период французской буржуазной революции конца XVIII в. *Карманьола* — революционная песня эпохи французской буржуазной революции. *Робеспьер М.* (1758—1794), *Марат Ж.-П.* (1743—1793) — выдающиеся деятели французской буржуазной революции. *Мурильо Б.-Э.* (1618—1682) — испанский живописец. *Миро* — благовонное масло, употребляемое при христианских церковных обрядах. *Он поднял только раз ее — на торгашей*. Согласно Евангелию, Христос изгнал торговцев из иерусалимского храма. *Фарисеи* — члены религиозно-политической партии в древней Иудее, отличавшейся крайним фанатизмом и лицемерием в соблюдении правил благочестия. «*Не мир, но меч*» — перефразировано изречение Иисуса Христа «Не мир пришел я принести, но меч» (Матф., X, 34).

Действие 3. *Бланкист* — сторонник французского революционера О. Бланки. *Бургос* — испанский город, древняя резиденция королей Старой Кастилии. *Гойя Ф.* (1746—1828) — испанский живописец. *Фаланстер* — коллективные поселения, являющиеся средоточием жизни коммуны-фаланги, согласно учению социалистов-утопистов. *Бакунин М. А.* (1814—1876) — русский мелкобуржуазный революционер, один из основоположников и идеологов анархизма, будучи членом I Интернационала, вел фракционную борьбу с Марксом. *Сан-Симон* (Сен-Симон) *А.-К.* (1760—1825), *Фурье Ш.* (1772—1837) — французские социалисты-утописты. *Халдеи* — древнее семитическое племя.

Действие 4. *Тьер А.* (1797—1877) — французский государственный деятель; кровавый усмиритель Парижской коммуны. *Ипокрена* (греч. миф.) — ключ на вершине горы Геликон, где обитали музы; обладал чудесным свойством — даровать вдохновение. *Шарлотта Кордэ* (1768—1793) — участница контрреволюционного заговора, убившая Марата. *Бильбао* — город на севере Испании.

ПЕРЕВОДЫ

ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ

Народные песни

338. М, 1957, № 3, с. 44. *Лоррэн* — Лотарингия.

339. М, 1957, № 3, с. 46.

340. «Биржевые ведомости» (утр. вып.), 1916, 25 декабря (7 января 1917), в статье И. Эренбурга «Моряки Тулона» (др. ред.). Печ. по М, 1957, № 3, с. 47.

341—342. М, 1957, № 3, с. 48, 49.

Франсуа Вийон

Вийон Ф. — см. примеч 63. В 1916 г. вышли отдельным изданием переводы Эренбурга из Ф. Вийона. В предисловии Эренбург указывал: «Я перевел несколько отрывков из «Большого завещания», большую часть баллад... В ряде стихотворений («Баллада толстой Марго», «Жалобы кабатчицы» и др.) по внешним причинам пришлось сделать выпуски. Переводя баллады, составленные из отдельных образов и определений («Баллада примет», «Баллада противоречий» и т. п.), я, сохраняя, мне кажется, общий дух и форму, был принужден часто заменять выражения, картины другими, более или менее им соответствующими» (ФВІ, с. 13). В 1957 г. большинство стихотворений Ф. Вийона были напечатаны Эренбургом в новых, переработанных редакциях.

343. ФВІ, с. 15, под загл. «Баллада состязания в Блуа»; ПФВ под загл. «Состязания в Блуа», ИЛ, 1957, № 1; ФВІІ. Печ. по Собр. соч., т. 6, с. 384. Перевод стих. «Ballade du concours de Blois». «Однажды принц Карл Орлеанский устроил в своем замке, в Блуа, поэтический турнир. Такие состязания были любимой забавой просвещенной знати. Карл Орлеанский предложил участникам турнира написать балладу, которая должна была начинаться словами: «От жажды умираю над ручьем...». Для принца это было нелепицей, забавной шуткой... Вийон, однако, принял всерьез предложенную тему и в свою балладу вложил многое: это — исповедь человека, освобожденного от догмы, да и от веры, его сомнения, его противоречия, его внутренняя сложность» (Собр. соч., т. 6, с. 379).

344. ФВІ, с. 18; ИЛ, 1957, № 1. Печ. по ФТІ, с. 72. Перевод строф 39—41-й из «Testament». *Парис* — один из героев «Илиады» Гомера, сын царя Трои Приама; похитил жену спартанского царя прекрасную *Елену*, что явилось поводом к Троянской войне.

345. ФВІ, с. 28. Печ. по ИЛ, 1957, № 1, с. 162. Перевод стих. «Ballade et oraison». *Ной, Лот* — библейские персонажи. *Котар Ж.* — прокурор клерикального суда Парижа.

346. ФВІ, с. 21, под загл. «Из „Жалоб прекрасной кабатчицы“»; ИЛ, 1957, № 1. Печ. по ФТІІ, с. 76. Перевод строф 53—56-й из стих. «Les regrets de la belle heaumière».

347. ФВІ, с. 30, под загл. «Баллада прекрасной кабатчицы к девицам». Печ. по ИЛ, 1957, № 1, с. 163. Перевод стих. «Ballade de la belle heaumière aux filles de joie».

348. ФВІ, с. 44, под загл. «Баллада, в которой Вийон благодарит каждого». Печ. по ИЛ, 1957, № 1, с. 164. Перевод стих. «Ballade de merci».

349. ФВІ, с. 17. Печ. по ИЛ, 1957, № 1, с. 165. Перевод строф 85—86-й из «Testament».

350. ФВІ, с. 36; ИЛ, 1957, № 1; ФТІІ; ФВІІ. Печ. по Собр. соч., т. 6, с. 391 (вариант ФТІІ). Перевод стих. «Ballade de contre-vérités». *Фома* — см. примеч. 295.

351. ФВІ, с. 38, под загл. «Спор между сердцем и телом Вийона. В форме баллады». Печ. по ИЛ, 1957, № 1, с. 167. Перевод стих. «Le débat du cœur et du corps de Villon».

352. ФВІ, с. 53; ИЛ, 1957, № 1 Печ. по ФТІ, с. 78. Перевод 10-ти заключительных строк стих. «L'Épitarphe et rondeau».

353. ФВІ, с. 48, под загл. «Эпитафия, написанная Вийоном в форме баллады для него и его сотоварищей перед повешением». Печ. по ИЛ, 1957, № 1, с. 168. Перевод стих. «L'Épitarphe de Villon en forme de ballade».

354. ФВІ, с. 26. Печ. по ИЛ, 1957, № 1, с. 168. Перевод стих. «Ballade des menus propos».

355. ФВІ, с. 23. Перевод строфы 22-й из «Testament».

356. ФВІ, с. 34. Перевод стих. «Ballade à s'amie».

357. ФВІ, с. 51. Перевод стих. «Ballade finale».

358. ФВІ, с. 54. Перевод 4-х начальных строк стих. «L'Épitarphe et rondeau».

359. ФВІ, с. 24. Перевод стих. «Ballade des dames du temps jadis». *Таис* — греческая куртизанка первой половины IV в., жила в Египте, впоследствии ушла в монастырь. *Флора* — римская куртизанка, оставившая римскому народу огромные богатства. *Святая девственница* — *дщерь Лоррени* — Жанна д'Арк. *Нимфа Эхо* (греч. миф.). По одному из сказаний, полюбила юношу Нарцисса, который остался к ней равнодушен; от страданий нимфа высохла настолько, что от нее остался только голос. *Берта, Алиса* — персонажи средневековых французских сказаний. *Где дама, плакавшая в тишине, Что*

Буридана утопила в Сене? Буридан Ж. (ок. 1300 — ок. 1358) — французский философ-схоластик; средневековая легенда гласит о том, что он был наказан за свою любовь к французской королеве (брошен в Сену, но спасся). *Где Элоиза, из-за коей век Окончил Пьер под схимой отречений?* Речь идет о французском философе, богослове и поэте П. Абеляре (1079—1142); его любовная переписка с монахиней Элоизой вдохновляла многих поэтов. *Королева Бланш* — по-видимому, королева Бланка Кастильская, мать Людовика IX. *Елена* — см. примеч. 344.

360. ФВІ, с. 32, с исправлением опечатки в загл. Перевод стих. «Ballade de la grosse Margot».

361. ФВІ, с. 41. Перевод строфы 89-й из «Testament».

362. ФВІ, с. 42. Перевод стих. «Ballade pour prier Notre Dame», *Магдалина* — см. примеч. 1.

363. ФВІ, с. 50, под загл. «Четверостишие, сложенное Вийоном, когда он был приговорен к смерти». Печ. по ФВІІ, с. 188. Перевод стих. «Quatrain».

Пьер Ронсар

Ронсар П. — см. примеч. 203.

364. ФТІ, с. 100, в статье «Поэзия Иоахима Дю Белле». Перевод стих. «Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle...».

Иоахим Дю Белле

Дю Белле И. (1522—1560) — французский поэт. «Моим любимым поэтом французского Возрождения я ... назову не блистательного Ронсара, а его близкого друга Иоахима Дю Белле, — писал Эренбург. — Они вместе возглавляли новую школу, которую назвали «Плеядой»... Дю Белле я полюбил как поэта, сумевшего в своих глубоко личных поэтических признаниях выразить нечто близкое нам, подымающееся над границами и времени, и пространства» (ФТІ, с. 100—101).

365. ФТІ, с. 110. *Голубка над кипящими валами* и т. д. — см. примеч. 106.

366. ФТІ, с. 110. Перевод стих. «Dejà la nuit en son rarc amasait...». *Анжу* — историческая область на северо-западе Франции, родина поэта.

367. ФТІ, с. 111. Перевод стих. «Nouveau venu, qui cherches Rome en Rome...».

368. ФТІ, с. 111. Перевод стих. «Sacrés coteaux, et vous, saintes ruines...».

369. ФТІ, с. 112. Печ. по ФТІІ, с. 119. Перевод стих. «Toi qui de Rome émerveillé contemples...».

370. ФТІ, с. 112. Перевод стих. «Je ne veux point fouiller au sein de la nature...».

371. ФТІ, с. 112. Печ. по ФТІІ, с. 120. Перевод стих. «Ceux qui sont amoureux, leur amour chanterant...».

372. ФТІ, с. 113. Перевод стих. «France, mère des arts, des armes et des loix...».

373. ФТІ, с. 113. Перевод стих. «Vu le soin ménager, dont travaillé je suis...».

374. ФТІ, с. 114. Печ. по ФТІІ, с. 121. Перевод стих. «Heureux qui, comme Ulysse...». *Одиссей* — герой древнегреческого эпоса Гомера; после долгих странствий и удивительных приключений возвратился на родину. *Лирé* — местечко, где родился Дю Белле.

375. ФТІ, с. 114. Печ. по ФТІІ, с. 122. Перевод стих. «J'aime la liberté, et languis en service...».

376. ФТІ, с. 115. Печ. по ФТІІ, с. 122. *Король троянский* — Приам. См. примеч. 344.

Поль Верлен

Верлен П. — см. примеч. 22.

377. ПФ, с. 17. Перевод стих. «Promenade sentimentale».

378. ПФ, с. 18. Перевод стих. «Colloque sentimentale».

379. ПФ, с. 19. Перевод стих. «L'Amour par terre».

380. ПФ, с. 20. Перевод стих. «La lune blanche...».

381. ПФ, с. 21. Перевод стих. «L'ombre des arbres dans la rivière embrumée...».

382. ПФ, с. 22. Перевод стих. «Le piano que baise une main frêle...».

383. ПФ, с. 23. Перевод стих. «Il pleure dans mon cœur...». Эпиграф, по-видимому, заимствован из потерянного стихотворения А. Рембо (см.: P. Verlaine, *Oeuvres poétiques complètes*, Paris, 1938, p. 902). (Bibliothèque de la Pléiade).

384. ПФ, с. 24. Перевод стих. «Vous voilà, vous voilà, pauvres bonnes pensées...».

Артю́р Рембо

Рембо А. — см. примеч. 65.

385. ПФ, с. 27. Перевод стих. «Rêve pour l'hiver».

386. ПФ, с. 28. Перевод стих. «Les chercheuses de poux».

Франсис Жамм

Жамм Ф. — см. примеч. 29.

387. ФЖ, с. 17. Печ. по ПФ, с. 86. Перевод стих. «Le calendrier utile». Руссо А. (1844—1926) — французский художник.

388. ФЖ, с. 22. Перевод стих. «C'était affreux ce pauvre petit veau. . .».

389. «Хмель», 1913, № 7-9, с. 43, в статье И. Эренбурга «Заметки о французской поэзии». Перевод стих. «L'eau coule dans la boue. . .».

390. ФЖ, с. 39. Перевод стих. «Prière pour demander une étoile». Су — старинная французская разменная монета.

391. ФЖ, с. 40. Перевод стих. «Prière pour aller au Paradis avec les ânes».

ИЗ ИСПАНСКОЙ ПОЭЗИИ

Гонсало из Берсео

Гонсало из Берсео (Гонсало де Берсео) (конц XII в. — после 1246) — родоначальник испанской религиозной поэзии; автор житий, поэм, прославлявших деву Марию; наряду с религиозными мотивами в его стихах нашли отражение антиаскетические настроения.

392. «Гермес» (Киев), 1919, сб. 1. Печ. по ТД, с. 183. Автограф ГБЛ. Перевод 7-го явления поэмы «Los Milagros de Nuestra Señora».

Хуан Руис

Руис Х. (прозвище; протопресвитер Итский) (1283 — ок. 1350) — испанский поэт, автор поэмы «Книга благой любви».

393. «Гермес» (Киев), 1919, сб. 1. Печ. по ТД, с. 185. Перевод части стих. «Figuras de enamorados. De las figuras del Arcipreste». Протоиерей — старший священник, настоятель соборного клира.

Хорхе Манрике

Манрике Х. (1440—1479) — испанский поэт, участник гражданских войн эпохи становления испанского абсолютизма. Особенно зна-

менита его поэма «Строфы на смерть отца...». «... Этому произведению суждена была редкая слава. В века, когда к искусству средневековья относились пренебрежительно, «Стихи на смерть отца» всеми признавались. Они переведены на другие европейские языки... Им подражали многие». «В „Стихах на смерть отца“ все удивительное и совершенно. Это не общие рассуждения о смерти, это сдержанный стон, страстная молитва. Христианский аскетизм, стойкость в смирении порождают не ужас перед смертью, но достойную человека скорбь» (ТД, с. 241).

394. «Понедельник», 1918, 16 (29) апреля. Перевод ряда строф поэмы «Coplas por la muerte de su padre».

1. Перевод строфы 1-й «Recuerde el alma dormida...».
2. Перевод строфы 3-й «Nuestras vidas son los ríos...».
3. Перевод строфы 5-й «Este mundo es el camino...».
4. Перевод строфы 7-й «Ved de cuan poco valor...».
5. Перевод строфы 12-й «Los placeres y dulzores...».
6. Перевод строфы 14-й «Esos reyes poderosos...».
7. Перевод строф 15-й «Dejemos a los troyanos...», 16-й «Qué se hizo el rey don Juan?...», 17-й «Qué se hicieron las damas...».
8. Перевод строфы 23-й «Tantos duques excelentes...».
9. Перевод строфы 25-й «Aquél de buenos abrigo...».
10. Перевод строфы 26-й «Amigo de sus amigos...».
11. «Утро России», 1916, 15 января (с вариантами). Перевод строфы 29-й «No dejó grandes tesoros...».
12. Собр. соч., т. 8, с. 569, с разночтениями. Перевод строфы 33-й «Después de puesta la vida...».
- (13). Перевод строфы 34-й «...diciendo: Buen caballero...».
- (14). Перевод строфы 38-й «No tengamos tiempoya...».
- (15). Перевод строфы 39-й «Tú que por nuestra maldad...».
- (16). Перевод строфы 40-й «Así con tal entender...».

ИЗ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ

Пабло Неруда

Неруда П. (1904—1973) — чилийский поэт и общественный деятель.

395. Испания в сердце, с. 10. Перевод строф 1—11-й стих. «Eхрlісо algunas cosas». *Рауль* — Гонсалес Туньон Р. (р. 1905) — аргентинский поэт. *Рафаэль* — Альберти Р. (р. 1902) — испанский поэт-коммунист. *Федерико* — Гарсиа Лорка Ф. (1898—1936) — испанский поэт и драматург. Расстрелян испанскими фашистами.

396. Испания в сердце, с. 12. Перевод строф 12—14-й стих. «Eхрlісо algunas cosas».

397. Испания в сердце, с. 18. Перевод стих. «Llegada a Madrid de la Brigada Internacional».

Николас Гильен

Гильен Н. (р. 1902) — кубинский поэт и общественный деятель.

398. Зн., 1949, № 8, с. 110. Печ. по Гильен, Стихи, с. 45. Перевод строфы 2-й «Coroneles de terracota...» поэмы «West-Indies Ltd».

399. Зн., 1949, № 8, с. 111. Печ. по Собр. соч., т. 6, с. 617. Перевод строфы 5-й «Para encontrar la butuba...» поэмы «West-Indies Ltd».

400. Зн., 1949, № 8, с. 110. Печ. по Собр. соч., т. 6, с. 618. Перевод строфы 7-й «Me matan si no trabajo...» поэмы «West-Indies Ltd».

401. Зн., 1949, № 8, с. 109. Перевод стих. «Elegía».

402. Зн., 1949, № 8, с. 108. Печ. по Собр. соч., т. 6, с. 622. Перевод стих. «Cuando yo vine a este mundo...».

403. Зн., 1949, № 8, с. 110; Гильен, Стихи, под загл. «Венецуэла». Печ. по Собр. соч., т. 6, с. 625. Перевод стих. «Barlovento (Venezuela)».

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Амур на земле («Сегодня ночью ветер тягостный и хмурый...») *Верлен* 386
- «„Атаки отбиты... победа...“» 62
- Бабий Яр («К чему слова и что перо...») 187
- Баллада («Закрывается здесь Завещанье...») *Вийон* 373
- Баллада Вийона к толстой Марго («Люблю красотку я, служу ей страстно...») *Вийон* 375
- Баллада, в которой Вийон просит у всех пощады («У солдата в медной каске...») *Вийон* 367
- Баллада и молитва («Ты много потрудился, Ной...») *Вийон* 364
- Баллада истин наизнанку («Мы вкус находим только в сене...») *Вийон* 368
- Баллада, которую Вийон написал своей матери, чтоб она прославляла богородицу («Небесная царица и земная...») *Вийон* 377
- Баллада о дамах былых времен («Скажите, где они, в какой стране...») *Вийон* 374
- Баллада поэтического состязания в Блуа («От жажды умираю над ручьем...») *Вийон* 363
- Баллада прекрасной оружейницы девушкам легкого поведения («Швея Мари, в твои года...») *Вийон* 366
- Баллада примет («Я знаю, кто по-щегольски одет...») *Вийон* 371
- «Батарейю скрывали оливы...» 134
- Бедные добрые помыслы... *Верлен* 388
- «Бедный мэтр Франсуа!...» (Над книгой Вийона) 72
- «Белесая, как марля, мгла...» 167
- «Белеют мазанки. Хотели сжечь их...» 182
- «Близ Толедо жил священник, верил в бога...» (Явления богородицы, записанные монахом Гонсало из Берсео) *Гонсало из Берсео* 395
- «Блузник, на лбу твоём пот...» 113
- «Боже, дай мне одну золотую звезду...» (Молитва, чтобы получить звезду) *Жамм* 393
- «Боже, милый, ласковый, как ты мне близок минутами...» 55
- «Бои забудутся, и вечер щедрый...» 152

- Бой быков («Зевая восторженные крики...») 132
 «Большая черная звезда...» 174
 «Бомбы осколок. Расщеплены двери...» 148
 «Боролись с ветром, ослабли...» 111
 «Бродят Рахили, Хаимы, Лии...» 167
 «Будет день — и станет наше горе...» 117
 «Будет солнце в тот день, или дождь, или снег...» 194
 «Будут времена, когда, мертвы и слепы...» (Возврат) 41
 «Бухгалтер он, — счетов охалка...» (Сердце солдата) 219
 «Бывала в доме, где лежал усопший...» 178
 «Был бомбой дом как бы шутя расколот...» 160
 «Был дом обжит, надышан мной...» 180
 «Был лютый мороз. Молодые солдаты...» 178
 «Был нищий пригород, и день был сер...» (Монруж) 142
 «Был пятый час среди январских сумерек...» 214
 «Был скверный день — ни отдыха, ни мира...» (У приемника) 149
 «Был тихий день обычной осени...» 206
 «Был час один — душа ослабла...» 182
 «Была трава, как раб, распластана...» 191
 «Были когда-то небеса для влюбленных...» (Париж — Токио) 213
 «Были липы, люди, купола...» 185
 «Были слоны из кипарисового дерева...» (Из цикла «Ручные тени», 4) 67
 «Было в жизни мало резеды...» 182
 «Было в слове «русский» столько доброты...» 183
 «Быть может...» 240
 В августе 1914 года («Издыхая и ноя...») 82
 В Барселоне («На Рамбле возле птичьих лавок...») 135
 В Белоруссии («Мы молчали. Путь на запад шел...») 181
 В вагоне («В купе господин качался, дремал, качаясь...») 79
 «В городе брошенных душ и обид...» 156
 В Греции («Не помню я про ход резца...») 217
 В детской («Рано утром мальчик просыпался...») 73
 «В дни Марны на горячей пашне...» (После смерти Шарля Пеги) 81
 В зоопарке Лондона («До слез доверчива собака...») 218
 «В их мире замкнутом и спертном...» 209
 «В кастильском нищенском селенье...» 139
 «В колбасной дремали головы свиньи...» (Прогулка) 85
 В Копенгагене («Кому хулить, а прочим наслаждаться...») 229
 В костеле («Не говори о маловеках...») 238
 «В купе господин качался, дремал, качаясь...» (В вагоне) 79
 «В лесу деревьев корни сплетены...» 160
 «В лесу ягненок блеет — знать...» *Дю Белле* 382
 «В любой трущобе, где и камню больно...» (Товарищам) 211
 «В маленькой клетке щебечет и мечется...» (Из цикла «Ручные тени», 2) 66
 «В марте (знак Овена) начинают сеять...» (Полезный календарь) *Жамм* 390
 «В музеях Рима много статуй...» (В римском музее) 227
 «В нежном свете гаснущего газа...» 57
 «В окопе или в маленькой землянке...» 188
 В переулке («Переулок. Снег скрипит. Идут обнявшись...») 98

- «В печальном парке, где дрожит зола. . .» 199
 В ливной («Приходили четыре безногих солдата. . .») 84
 «В покинутом парке, печальном, пустом. . .» (Сентиментальный разговор) *Верлен* 385
 «В полдень было — шли солдат ряды. . .» (У Брунете) 136
 В римском музее («В музеях Рима много статуй. . .») 227
 «В рощерк спички он, глумясь, вложил. . .» 181
 В самолете («Носил учебники я в ранце. . .») 224
 «В сей горнице стрелой ужасной. . .» (Эпитафия) *Вийон* 374
 «В сырую ночь ветра точили скалы. . .» (В январе 1939) 151
 В театре («Хоть славен автор, он перестарался. . .») 239
 «В тысяча девятьсот шестнадцатом году. . .» (Повесть о жизни некой Наденьки и о вещих знаменьях, явленных ей) 245
 В феврале 1945 (1—2) 194
 «В час, когда далекая заря. . .» (Мои слова) 64
 «В это гетто люди не придут. . .» 187
 В январе 1939 («В сырую ночь ветра точили скалы. . .») 151
 «Вдалек. . .» (Прости меня — нерадивого, 4) 92
 Венесуэла («Она — как сало. . .») *Гильен* 413
 Верлен в старости («Лысый, грязный, как бездомная собака. . .») 51
 Верность («Верность — прямо дорога без петель. . .») 150
 Верность («Жизнь широка и пестра. . .») 214
 «Верность — прямо дорога без петель. . .» (Верность) 150
 Ветер («Ох, ветер, ветер! . .») 287
 «Ветер летит и стенает. . .» 109
 «Ветер разогнал серебряные тучи. . .» (Вечером) 49
 «Вечера, тенистые, как пальмы. . .» 58
 Вечером («Ветер разогнал серебряные тучи. . .») 49
 Вздохи из чужбины (1—2) 53
 Вийон своей подруге («О нежность, полная жестоких мук. . .») *Вийон* 372
 «„Во Францию два гренадера. . .“» 200
 Возврат («Будут времена, когда, мертвы и слепы. . .») 41
 Возвращение моряка («Моряк изможденный вернулся с войны. . .») 359
 Воздушная тревога («Что было городом — дремучий лес. . .») 154
 Возле Фонтенбло («Обрывки проводов. Не позвонит никто. . .») 159
 Враги, нет, не враги, просто многие. . .» 103
 Враки («— Я видела — лягушка. . .») 360
 «Всё взорвали. Но гляди — среди щебня. . .» 181
 «Всё за беспамятство отдать готов. . .» 165
 «Всё призрачно, и свет ее неярок. . .» (Старость, 1) 230
 «Всё простота: стекольные осколки. . .» 145
 «Всё тех же ветхих ставней переплет. . .» (Париж) 267
 «Вчера казалась высохшей река. . .» 216
 «Вы спросите: где же сирень. . .» (Объяснение) *Неруда* 405
 «Где играли тихие дельфины. . .» 157
 «Где крепкие, тугие груди? . .» (Из жалоб прекрасной оружейницы) *Вийон* 365
 «Где люди ужинали — мусор, щебень. . .» (Гончар в Хаэне) 138
 «Где солнце как желток, белы потемки. . .» 125

- «Глаза погасли, и холод губ. . .» (Париж, 1940, 3) 162
 «Гляжу на снег, а в голове одно. . .» 185
 «Говорит Москва» («Трибун на цоколе безумца не напоит. . .») 130
 Гоголь («Неуклюжий иностранец. . .») 63
 Год («Что лучше зимнего рассвета. . .») 47
 «Годы проходят, годы уходят. . .» (На смерть дона Родриго, рыцаря ордена св. Иакова, его отца) *Манрике* 398
 «Голубка над кипящими валами. . .» *Дю Белле* 378
 Гончар в Хаэне («Где люди ужинали — мусор, щепень. . .») 138
 «Горбится, мелкими шажками бежит. . .» (Из цикла «Ручные тени», 11) 70
 «Города горят. У тех обид. . .» 158
 «Горят померанцы, и горы горят. . .» 138
 Господин Ля Палисс («Кто ни разу не встречал. . .») 361
 «Гроб несли по розовому щепню. . .» (Русский в Андалузии) 136
 «Громкорыкого хищника. . .» 119
 «Да разве могут дети юга. . .» 216
 «Давно то было. Смутно помню лето. . .» (Сонет) 230
 Двадцать пятого марта («Под золотом марта снегá в оврагах вскипали. . .») 72
 Девичье поле («Уж слеза за слезою. . .». Вздохи из чужбины, 2) 54
 9 мая 1945 (1—3) 196
 «День придет, и славок громкий хор. . .» (В феврале 1945, 1) 194
 «Для матери молитва скреплена. . .» (Из «Большого завещания») *Вийон* 376
 До конца («Есть жизни точно тонкис тропинки. . .») 59
 «До слез доверчива собака. . .» (В зоопарке Лондона) 218
 «Додумать не дай, оборви, молю, этот голос. . .» 140
 Дождь в Нагасаки («Дождь в Нагасаки бродит, разбужен, рассержен. . .») 210
 «Дорога вьется, тянет, тянется. . .» (Франция, 1) 200
 «Дорогой моря. . .» (Элегия) *Гильен* 411
 «Доходил смердящий ветер. . .» (О соборе Реймса) 61
 Дыхание («Мальчика игрушечный кораблик. . .») 148
 Европа («Летучая звезда и моря ропот. . .») 184
 «Елей как бы придуманного имени. . .» (Из цикла «Ручные тени», 7) 68
 «Если б сегодня пророк пришел. . .» 62
 «Если бы ты была козой, я бы выгонял тебя в поле. . .» 55
 «Если ночью не уснешь, бывало. . .» (О маме) 52
 «Если слово в строке перечеркнуто. . .» (Над рукописью) 222
 «Если ты к земле приложишь ухо. . .» 46
 «Есть в Ленинграде, кроме неба и Невы. . .» (Ленинград) 195
 «Есть время камни собирать. . .» 185
 «Есть в севере чрезмерность, человеку. . .» 210
 «Есть в хаосе самом высокий строй. . .» 165
 «Есть город с пыльными заставами. . .» (О Москве) 52
 «Есть жизни точно тонкие тропинки. . .» (До конца) 59
 «Есть надоедливая вдоволь повесть. . .» 208
 «Есть нечто милое в самом том слове. . .» (Спутник) 212
 «Есть перед боем час — всё выжидает. . .» 145

- «Жизнь широка и пестра. . .» (Верность) 214
 «Жилье в горах как всякое жилье. . .» 144
- «За то, что зной полуденный Эсфири. . .» 188
 «За что он погиб? Он тебе не ответит. . .» 195
 «Заберусь в уголок. . .» (Прости меня — поэта. 3) 91
 «Заезжий двор. Ты сердца не щади. . .» 124
 «Зайдешь к танкистам, и в чужой землянке. . .» 177
 «Закрывается здесь Завещанье. . .» (Баллада) *Вийон* 373
 «Замерзшее окно как глаз слепца. . .» 166
 «Запомни этот ров. Ты всё узнал. . .» 183
 «Зачем глаза им? Ведь посмотрит кто-то. . .» *Дю Белле* 384
 «Звезд у бога много — целый светлый рай. . .» 56
 «Зевак восторженные крики. . .» (Бой быков) 132
 «Зимой уедем мы в вагоне розовом и скромном. . .» (Сон на зиму)
Рембо 389
 «Злобный ветер, злобный холод. . .» (Сумерки) 51
 «Знакомые дома не те. . .» 171
 «Значит, снова мечты о России. . .» (Плющиха. Вздохи из чужби-
 ны, 1) 53
- «. . . И уж не золотом по черни. . .» (Старость, 3) 231
 Из «Большого завещания» («Для матери молитва скреплена. . .») *Вийон* 376
 Из «Большого завещания» («О юности могу грустить я. . .») *Вийон* 372
 Из «Большого завещания» («Я душу смутную мою. . .») *Вийон* 368
 Из «Большого завещания» («Я знаю, что вельможа и бродяга. . .») *Вийон* 364
 Из жалоб прекрасной оружейницы («Где крепкие, тугие груди? . .») *Вийон* 365
 «Из желтой глины, из праха, из пыли. . .» 110
 Из цикла «Ручные тени» (1—11) 65
 «Издыхая и ноя. . .» (В августе 1914 года) 82
 «Из-за деревьев и леса не видно. . .» (Старость, 7) 233
 «Иногда вспоминаю костры на снегу. . .» 57
- «К вечеру улегся ветер резкий. . .» 205
 «К чему слова и что про. . .» (Бабий Яр) 187
 «Как восковые, отекли камельи. . .» 141
 «Как давно сказано. . .» (Коровы в Калькутте) 223
 «Как дерево в большие холода. . .» (Париж, 1940, 8) 164
 «Как кровь в виске твоём стучит. . .» (Убей!) 170
 «Как радостна весна родная. . .» 46
 «Как скучно в «одиночке», вечер длинный. . .» 43
 Как умру («Комната в том же отеле — оббиты углы паутиной. . .») 54
 «Как эти сосны и строенья. . .» 157
 «Календарей для сердца нет. . .» (Последняя любовь) 229
 Канун («На площади пел горбун. . .») 71
 «Каторжница, и в минуты злобы. . .» (Из цикла «Ручные тени», 1) 65
 «Когда в Париже осень злая. . .» 45
 «Когда в пургу ворвутся кони. . .» (Россия) 189

- «Когда враждебным небо стало. . .» 177
 «Когда встают туманы злые. . .» 44
 «Когда вы уйдете навек, я буду верить. . .» 57
 «Когда еще не совсем стемнело. . .» 64
 «Когда закончен бой, присев на камень. . .» 176
 «Когда замолкнет суесловье. . .» 123
 «Когда зима, берясь за дело. . .» 228
 «Когда она пришла в наш город. . .» 196
 «Когда подымается солнце и птицы стрекочут. . .» 153
 «Когда ребенок, полный красной муки. . .» (*Les chercheuses de poux*)
Рембо 390
 «Когда ты, господи, прикажешь мне идти. . .» (Молитва, чтоб войти
 в рай с ослами) *Жамм* 393
 «Когда ты с грустью терпеливой. . .» 46
 «Когда я был молод, была уж война. . .» 192
 Когда я пришел на эту землю *Гильен* 412
 «Комната в том же отеле — обвиты углы паутиной. . .» (Как умру) 54
 «Кому предам прозренья этой книги? . . .» 114
 «Кому хулить, а прочим наслаждаться. . .» (В Копенгагене) 229
 «Кончен бой. Над горем и над славой. . .» 157
 Корозы в Калькутте («Как давно сказано. . .») 223
 «Крепче железа и мудрости глубже. . .» 133
 «Крылья выдумав, ушел под землю. . .» 167
 «Кто ни разу не встречал. . .» (Господин Ля Палисс) 361
 «Кто-то тащит на убой телят. . .» *Жамм* 392
 «— Кто это? — Я. — Не понимаю, кто ты? . . .» (Спор между Вийоном
 и его душою) *Вийон* 369
- Ленинград («Есть в Ленинграде, кроме неба и Невы. . .») 195
 Летним вечером («Я приду к родимой, кинусь в ноги. . .») 85
 «Летучая звезда и моря ропот. . .» (Европа) 184
 Лондон («Не туманами, что ткали Парки. . .») 168
 «Лысый, грязный, как бездомная собака. . .» (Верлен в старости) 51
 «Лыстецы покажут нам искусство лести. . .» *Дю Белле* 381
 «Люблю красотку я, служу ей страстно. . .» (Баллада Вийона к тол-
 стой Марго) *Вийон* 375
 «Люблю немецкий старый городок. . .» 65
 «Люблю твое лицо — оно непристойно и дико. . .» (Из цикла «Руч-
 ные тени», 10) 70
 «Любой сутяга или скаред. . .» (Надежда) 238
- «Майское утро, и плачет шарманка. . .» 73
 «Мальчика игрушечный кораблик. . .» (Дыхание) 148
 «Мир велик, а перед самой смертью. . .» 186
 «Мне было многое знакомо. . .» 193
 «Мне всё мерещится одна. . .» 201
 «Мне двадцать первый год. Как много! . . .» 43
 «Мне никто не скажет за уроком «слушай». . .» 43
 «Мне снился мир, и я не мог понять. . .» (В феврале 1945, 2) 194
 «Могила солдата, а имени нет. . .» (У Ржева, 2) 203
 «Мое уходит поколенья. . .» (Старость, 10) 236
 «Может, можно отойти, вернуться. . .» 53

- Мои слова («В час, когда далекая заря. . .») 64
 «Мои стихи не исповедь певца. . .» 112
 Молитва, чтоб войти в рай с ослами («Когда ты, господи, прикажешь мне идти. . .») *Жамм* 393
 Молитва, чтобы получить звезду («Боже, дай мне одну золотую звезду. . .») *Жамм* 393
 «Молодому кажется, что к старости. . .» (Старость, 2) 230
 «Молча — короткий привал. . .» 140
 Монруж («Был нищий пригород, и день был сер. . .») 142
 «Морили прежде в розницу. . .» 226
 «Моряк изможденный вернулся с войны. . .» (Возвращение моряка) 359
 Моряки Тулона («Скажи мне, приятель, мы склянки прослушали? . .») 173
 «Мы вкус находим только в сене. . .» (Баллада истин наизнанку) *Вийон* 368
 «Мы говорим, когда нам плохо. . .» 221
 «Мы жили в те воинственные годы. . .» 155
 «Мы молчали. Путь на запад шел. . .» (В Белоруссии) 181
 «Мы плясали с тобой долго. . .» 58
 «Мяли танки теплые хлеба. . .» (1941) 169
- «На Болоте стоит Москва, терпит. . .» (Пугачья кровь) 96
 На войну («Уходили маленькие дети. . .») 80
 На вокзале («Помнишь ты на вокзале. . .») 42
 На закате («На закате. . .») 82
 «На ладони — карта, с малолетства. . .» 143
 На митинге («Судеб раздельных немота и сирость. . .») 147
 «На небо зенитки смотрят зорко. . .» 176
 «На ночь глядя выслали дозоры. . .» (У Эбро) 137
 «На площади пел горбуи. . .» (Канун) 71
 «На подоконнике приятен мушиный лазарет. . .» (Прости меня — злобного. 5) 94
 «На Рамбле возле птичьих лавок. . .» (В Барселоне) 135
 На смерть дона Родриго, рыцаря ордена св. Иакова, его отца («Годы проходят, годы уходят. . .») *Манрике* 398
 «На холму унынье и вереск. . .» 61
 Над книгой Вийона («Бедный мэтр Франсуа! . .») 72
 «Над крышами Парижа весна не зашумит. . .» (У приемника) 160
 «Над Парижем грусть. Вечер долгий. . .» (Париж, 1940, 7) 164
 Над рукописью («Если слово в строке перечеркнуто. . .») 222
 Над стихами Вийона («„От жажды умираю над ручьем“ . . .») 237
 Надежда («Любой сутяга или скаред. . .») 238
 Напутствие («О летящая мимо. . .») 79
 «Настанет день, скажи — неумолимо. . .» 172
 «Наступали. А мороз был крепкий. . .» 170
 Натюрморт («От этой законченной осени. . .») 78
 «Наши внуки будут удивляться. . .» 104
 «Не время года эта осень. . .» (Старость, 8) 233
 «Не говори о маловерах. . .» (В костеле) 238
 «Не для того писал Бальзак. . .» (Париж, 1940, 2) 161
 «Не здесь, на обломках, в походе, в окопе. . .» 144

- «Не нежен, беженцем на тормоз. . .» 128
 «Не осуди — разумный виноградарь. . .» 124
 «Не помню я про ход резца. . .» (В Греции) 217
 «Не раз в те грозные, большие годы. . .» 168
 «Не сухостой — живое тело резать. . .» 128
 «Не торопясь, внимательный биолог. . .» 142
 «Не туманами, что ткали Парки. . .» (Лондон) 168
 «Не уйти нам от теплой плоти. . .» 109
 «Небесная царица и земная. . .» (Баллада, которую Вийон написал своей матери, чтоб она прославляла богородицу) *Вийон* 377
 Ненависть («Ненависть — в тусклый январский полдень. . .») 171
 «Нет, не забыть тебя, Мадрид. . .» 130
 «Нет, не зеницу ока и не камень. . .» 133
 «Нет, я не поэт, я или пророк. . .» 99
 «Неуклюжий иностранец. . .» (Гоголь) 63
 «Ни к богатым, ни к косматым. . .» 81
 «Номера домов, имена улиц. . .» (Париж, 1940, 5) 163
 «Носил учебники я в ранце. . .» (В самолете) 224
 «Ночь была, и было темно. . .» (Рено) 358
 «Ночь была. И на Пинегу падал длинный снег. . .» 122
 «Ночью такие звезды! . .» (Прославление земной любви) 101
 «Ночью тихие грехи. . .» (Отходное) 86
- «„О госпожа, — старуха ей сказала. . .» (О наружности протоиерея и о встрече с доньей Гаросой) *Руис* 396
 О жилете Семена Дрозда («Тихо на вилле «Вега» И. С. Михеева. . .») 260
 «О летящая мимо. . .» (Напутствие) 79
 О маме («Если ночью не уснешь, бывало. . .») 52
 О Москве («Есть город с пыльными заставами. . .») 52
 О наружности протоиерея и о встрече с доньей Гаросой («„О госпожа, — старуха ей сказала. . .») *Руис* 396
 «О нежность, полная жестоких мук. . .» (Вийон своей подруге) *Вийон* 372
 «О них когда-то горевал поэт. . .» (9 мая 1945, 1) 196
 О соборе Реймса («Доходил смердящий ветер. . .») 61
 «О той надежде, что зову я вещей. . .» 146
 «О чем-то скучно и лениво. . .» (Осенью) 49
 «О юности могу грустить я. . .» (Из «Большого завещания») *Вийон* 372
 «Обрывки проводов. Не позвонит никто. . .» (Возле Фонтенбло) 159
 Объяснение («Вы спросите: где же сирень. . .») *Неруда* 405
 «Однажды черт меня сподобил. . .» 241
 «Он идет, седой и сутулый. . .» (Сосед) 220
 «Он много знал, во имя бога. . .» (Статуя Афродиты) 191
 «Он пригорюнится, притулится. . .» 175
 «Она была в линялой гимнастерке. . .» (9 мая 1945, 2) 196
 «Она — как сало. . .» (Венесуэла) *Гильен* 413
 «Они накинулись, неистовы. . .» 172
 «Они убивают, когда я работаю. . .» *Гильен* 410
 Осенью («О чем-то скучно и лениво. . .») 49

- «Остановка. Несколько примет. . .» 126
 «От жажды умираю над ручьем. . .» (Баллада поэтического состязания в Блуа) *Вийон* 363
 «„От жажды умираю над ручьем“...» (Над стихами Вийона) 237
 «От лампы ровный круг. . .» 56
 «От этой законченной осени. . .» (Натюрморт) 78
 Отрывок из ненапечатанной «Оды» («Секите сердца златорудые! . . .») 113
 Отходное («Ночью тихие грехи. . .») 86
 «Ох, ветер, ветер! . . .» (Ветер) 287
 «Ошибся — нужно повторить. . .» 207
- Париж («Всё тех же ветхих ставней переплет. . .») 267
 Париж («Тяжелый сумрак дрогнул и, растаяв. . .») 40
 Париж — Токио («Были когда-то небеса для влюбленных. . .») 213
 Париж, 1940 (1—8) 161
 «Парча румяных жадных богородиц. . .» 131
 «Переулоч. Снег скрипит. Идут обнявшись. . .» (В переулке) 98
 Плющиха («Значит, снова мечты о России. . .». Вздохи из чужбины, 1) 53
 «Пляши вокруг жара его волос! . . .» (Из цикла «Ручные тени», 6) 68
 По дороге, по лоррэнской 357
 «По небу струились закатные чары. . .» (Сентиментальная прогулка) *Верлен* 384
 «По рывтинам, средь мусора и пепла. . .» 180
 «По тихим плитам крепостного плаца. . .» 145
 Повесть о жизни некой Наденьки и о вещих знаменьях, явленных ей («В тысяча девятьсот шестнадцатом году. . .») 245
 «Повсюду славен, повсеместно чтим. . .» *Дю Белле* 380
 «Под золотом марта снега в оврагах вскипали. . .» (Двадцать пятого марта) 72
 «Позабыть на одну минуту. . .» (Старость, 5) 232
 «Полезного, пора в школу. . .» 56
 Полезный календарь («В марте (знак Овна) начинают сеять. . .») *Жамм* 390
 «Полковники из терракоты. . .» *Гильен* 409
 «Помнишь ты на вокзале. . .» (На вокзале) 42
 «Пора признать — хоть вой, хоть плачь я. . .» (Старость, 6) 232
 После. . . («Проснусь, и сразу: не увижу я. . .») 151
 После смерти Шарля Пегги («В дни Марны на горячей пашне. . .») 81
 Последняя любовь («Календарей для сердца нет. . .») 229
 Прага говорит («Приподнял бубен полоумный трагик. . .») 278
 «Пред зрелищем небес, пред мира ширью. . .» 153
 Предатели генералы *Неруда* 406
 Прибытие в Мадрид интернациональной бригады («Утром, в холодный месяц. . .») *Неруда* 407
 «Привели и застрелили у Днепра. . .» 169
 «Приподнял бубен полоумный трагик. . .» (Прага говорит) 278
 «Приходили четыре безногих солдата. . .» (В пивной) 84
 «Пришельца потрясает запустенье. . .» *Дю Белле* 380
 «Про первую любовь писали много. . .» 219
 Прогулка («В колбасной дремали головы сви́ньи. . .») 85

- Прославление земной любви («Ночью такие звезды!..») 101
 «Проснусь, и сразу: не увижу я...» (После...) 151
 Прости! («Ты простил змею ее страшный яд!..») 6) 95
 Прости меня — блудливого («Утром не было письма...») 1) 87
 Прости меня — богохульника («Тик-так...») 2) 89
 Прости меня — злобного («На подоконнике приятен мушиный лазарет...») 5) 94
 Прости меня — нерадивого («Вдалеке...») 4) 92
 Прости меня — поэта («Заберусь в уголок...») 3) 91
 «Прости — одна есть рифма к слову «смерть»...» 190
 «Прохожий, подойди. Лежим в могиле братской...» (У Ржева, 3) 204
 «Прошу не для себя, для тех...» (9 мая 1945, 3) 198
 Пугачья кровь («На Болоте стоит Москва, терпит...») 96
 «Пять лет описывал не пестрядь быта...» 236
- «„Разведка боем“ — два коротких слова...» 134
 «Разграбив житницы небес...» 116
 «Ракеты салютов. Чем небо черней...» 186
 «Рано утром мальчик просыпался...» (В детской) 73
 Рено («Ночь была, и было темно...») 358
 Рондо («Того ты упокой навек...») *Вийон* 370
 России («Ты прости меня, Россия, на чужбине...») 50
 Россия («Когда в пургу ворвутся кони...») 189
 «Россия — в слове том не только славы...» 189
 «Рта и надбровья смутное строенье...» 158
 Рука печальная ласкает пианино... *Верлен* 387
 Русский в Андалузии («Гроб несли по розовому щебню...») 136
 «Рядила нас в путь обида...» 155
- «С ручной гранатой иль у пушки...» 176
 «Самоубийцею в ущелье...» 149
 Самый верный («Я не знал, что дважды два — четыре...») 215
 «Сбсгают с гор, грозят и плачут...» 143
 Свадьба на площади («Уж звезды глядели подслеповато...») 74
 Свет луны туманной... *Верлен* 386
 «Свет погас...» (Старость, 9) 233
 «Светлое поле. Вечер был светел...» 190
 «Свободу не подарят...» (Французская песня) 199
 «Сегодня ночью ветер тягостный и хмурый...» (Амур на земле) *Верлен* 386
 «Секите сердца златорудые!..» (Отрывок из ненапечатанной «Оды») 113
 Сентиментальная прогулка («По небу струились закатные чары...») *Верлен* 384
 Сентиментальный разговор («В покинутом парке, печальном, пустом...») *Верлен* 385
 Сердце солдата («Бухгалтер он, — счетов охапка...») 219
 Сердце тихо плачет... *Верлен* 388

- «Сердце, это ли твой разгон? . . .» 131
 «Скажи мне, приятель, мы склянки прослушали? . . .» (Моряки Тулона) 173
 «Скажите, где они, в какой стране. . .» (Баллада о дамах былых времен) *Вийон* 374
 «Скребет себя на пепле Иов. . .» 183
 «Скрипки, сливки, книжки, дни, недели. . .» 115
 Слава труду («Я шел, я упал, я снова иду. . .») 106
 «Слов мы боимся, и всё же прощай. . .» 186
 «Служу — я правды от тебя не прячу. . .» *Дю Белле* 382
 «Слышишь, как воев волчиха. . .» 79
 «Собирает кинжалы, богов китайских. . .» (Из цикла «Ручные тени», 9) 69
 Сси на зиму («Зимой уедем мы в вагоне розовом и скромном. . .») *Рембо* 389
 Сонет («Давно то было. Смутно помню лето. . .») 230
 Сосед («Он идет, седой и сутулый. . .») 220
 «Сочится зной сквозь крохотные ставни. . .» 141
 Спор между Вийоном и его душою («— Кто это? — Я. — Не понимаю, кто ты? . .») *Вийон* 369
 Спутник («Есть нечто милое в самом том слове. . .») 212
 «Стали сны единой достоверностью. . .» 120
 Старость (1—10) 230
 «Старухой после медленного дня. . .» *Ронсар* 378
 Статуя Афродиты («Он много знал, во имя бога. . .») 191
 «Судеб раздельных немота и сирость. . .» (На митинге) 147
 Сумерки («Злобный ветер, злобный холод. . .») 51
 «Счастлив, кто, уподобясь Одиссею. . .» *Дю Белле* 383
- «Та заморская чужая сырость. . .» 166
 «Так ждать, чтоб даже память вымерла. . .» 175
 «Так умирать, чтоб бил озноб огни. . .» 127
 «Так устали согнутые руки. . .» 39
 «Тарханы — это не поэма. . .» 202
 «Твои манеры милой тетки. . .» (Из цикла «Ручные тени», 3) 66
 «Тело нежное строгаев стругом. . .» 118
 «Темно. . .» (У окна) 97
 Тень деревьев. . . («Тень деревьев, склоненных над ручьем неживым. . .») *Верлен* 387
 «Тик-так. . .» (Прости меня — богохульника. 2) 89
 «Тихо на вилле «Вега» И. С. Михеева. . .» (О жилете Семена Дрозда) 260
 Товарищам («В любой труппе, где и камню больно. . .») 211
 «Тогда восстала горная порода. . .» 132
 «Того ты упокой навек. . .» (Рондо) *Вийон* 370
 «Трагедия закончена, так пишут. . .» (У Ржева, 1) 203
 «Трибун на цоколе безумца не напоит. . .» («Говорит Москва») 130
 «Ты вспомнил всё. Остыла пыль дороги. . .» 154
 «Ты говоришь, что я замолк. . .» 192
 «Ты жив, прохожий. Погляди на нас. . .» (Эпитафия, написанная Вийоном для него и его товарищей в ожидании виселицы) *Вийон* 371

- «Ты знаешь, Он не Добрый Пастырь!..» 59
 «Ты много потрудился, Ной..» (Баллада и молитва) *Вийон* 364
 «Ты помнишь — жаловался Тютчев..» 208
 «Ты прости меня, Россия, на чужбине..» (России) 50
 «Ты простил змею ее страшный яд!..» (Прости! 6) 95
 «Ты сидел на низенькой лестнице..» (Из цикла «Ручные тени», 8) 68
 «Ты смеешься весьма миловидно и просто..» (Из цикла «Ручные тени», 5) 67
 «Ты тронул ветку, ветка зашумела..» 147
 1941 («Мяли танки теплые хлеба..») 169
 «Тяжелы несжатые поля..» 117
 «Тяжелый сумрак дрогнул и, растаяв..» (Париж) 40
 У Брунете («В полдень было — шли солдат ряды..») 136
 «У маленькой речушки на закате..» 205
 У окна («Темно..») 97
 У приемника («Был скверный день — ни отдыха, ни мира..») 149
 У приемника («Над крышами Парижа весна не зашумит..») 160
 У Ржева (1—3) 203
 «У солдата в медной каске..» (Баллада, в которой Вийон просит у всех пощады) *Вийон* 367
 У Эбро («На ночь глядя выслали дозоры..») 137
 Убей! («Как кровь в виске твоём стучит..») 170
 «Увидев Рим с холмами неживыми..» *Дю Белле* 379
 «Уж звезды глядели подслеповато..» (Свадьба на площади) 74
 «Уж ночь на небо выгоняла стадо..» *Дю Белле* 379
 «Уж сердце снизилось, и как!..» 120
 «Уж слеза за слезою..» (Девичье поле. Вздохи из чужбины, 2) 54
 «Умереть и то казалось легче..» (Париж, 1940, 1) 161
 «Умрет садовник, что сажает семья..» 241
 «Умру — вы вспомните газеты шорох..» 198
 «Упали окон вековые веки..» (Париж, 1940, 4) 163
 «Устала и рука. Я перешел то поле..» (Старость, 4) 231
 «Утром в Иванов день..» 99
 «Утром, в холодный месяц..» (Прибытие в Мадрид интернациональной бригады) *Неруда* 407
 «Утром не было письма..» (Прости меня — блудливого. 1) 87
 «Уходили маленькие дети..» (На войну) 80
 «Уходят улицы, узлы, базары..» (Париж, 1940, 6) 163
 Франсису Жамму («Часто, блуждая вечером по Парижу..») 55
 Франция (1—2) 200
 Французская песня («Свободу не подарят..») 199
 «Хоть славен автор, он перестарался..» (В театре) 239
 «Хочу я верить, а кругом — неверье..» *Дю Белле* 383
 «Часто, блуждая вечером по Парижу..» (Франсису Жамму) 55
 «Чем расставанье горше и труднее..» 152
 Четверостишие, которое написал Вийон, приговоренный к повешению («Я Франсуа — чему не рад!..») *Вийон* 378
 «Читаешь, пишешь, говоришь..» (Франция, 2) 201
 «Что было городом — дремучий лес..» (Воздушная тревога) 154

- «Что за дурацкая игра? . . .» 240
 «Что лучше зимнего рассвета. . .» (Год) 47
 «Что седина? Я знаю полдень смерти. . .» 123
 «Чтоб заработать на хлеб. . .» *Гильен* 409
 «Чужое горе — оно как овод. . .» 193

«Швея Мари, в твои года. . .» (Баллада прекрасной оружейницы де-
 вушкам легкого поведения) *Вийон* 366

Элегия («Дорогой моря. . .») *Гильен* 411

Эпитафия («В сей горнице стрелой ужасной. . .») *Вийон* 374

Эпитафия, написанная Вийоном для него и его товарищей в ожида-
 нии виселицы («Ты жив, прохожий. Погляди на нас. . .») *Вийон*
 371

- «Я бродил, я любил здесь когда-то. . .» (Ars) 84
 «Я бы мог прожить совсем иначе. . .» 50
 «Я в море вижу не свободу. . .» 204
 «— Я видела — лягушка. . .» (Враки) 360
 «Я должен вспомнить — это было. . .» 150
 «Я душу смутную мою. . .» (Из «Большого завещания») *Вийон* 368
 «Я знал, что утро накличет. . .» (P. S.) 83
 «Я знаю: будет золотой и долгий. . .» 156
 «Я знаю, кто по-щегоольски одет. . .» (Баллада примет) *Вийон* 371
 «Я знаю: ты глядишь часами. . .» 45
 «Я знаю, что вельможа и бродяга. . .» (Из «Большого завещания»)
Вийон 364
 «Я любил ветер верхних палуб. . .» 126
 «Я не берусь проникнуть в суть природы. . .» *Дю Белле* 381
 «Я не завидую ни долголетью дуба. . .» 190
 «Я не знал, что дважды два — четыре. . .» (Самый верный) 215
 «Я не знаю грядущего мира. . .» 105
 «Я не трубоч — труба. Дуй, Время! . .» 115
 «Я помню — был Париж. Краснели розы. . .» 179
 «Я помню серый, молчаливый. . .» 44
 «Я приду к родимой, кинусь в ноги. . .» (Летним вечером) 85
 «Я сегодня вспомнил о смерти. . .» 60
 «Я скажу вам о детстве ушедшем, о маме. . .» 42
 «Я слышу всё — и горестные шепоты. . .» 222
 «Я смутно жил и неуверенно. . .» 192
 «Я смутно помню шумный перекресток. . .» 209
 «Я так любил тебя — до грубых шуток. . .» 129
 «Я Франсуа — чему не рад! . .» (Четверостишие, которое написал
 Вийон, приговоренный к повешению) *Вийон* 378
 «Я читал романы, сборники стихов. . .» *Жамм* 393
 «Я шел, я упал, я снова иду. . .» (Слава труду) 106
 Явления богородицы, записанные монахом Гонсало из Берсео («Близ
 Толедо жил священник, верил в бога. . .») *Гонсало из Берсео* 395

Ars («Я бродил, я любил здесь когда-то. . .») 84

Les chercheuses de roux («Когда ребенок, полный красной муки. . .»)
Рембо 390

P. S. («Я знал, что утро накличет. . .») 83

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис*. И. Г. Эренбург. 1956 г. Собрание А. Д. Гдалина (Ленинград).
2. *Между с. 64 и 65*. И. Г. Эренбург с сестрами и матерью. Слева направо: Е. Г. Эренбург, А. Б. Эренбург, И. Г. Эренбург, М. Г. Эренбург, Из. Г. Эренбург. 15 июля 1909 г. Киссинген. Собрание И. И. Эренбург.
3. *На обороте*. И. Г. Эренбург. 1915 г. Париж. Собрание И. И. Эренбург.
4. *Между с. 96 и 97*. И. Г. Эренбург. 1924 г. Собрание И. И. Эренбург.
5. *На обороте*. На Первом съезде писателей. Слева направо: Ж.-Р. Блок, И. Г. Эренбург, Б. Л. Пастернак, парашютистка Н. Камнева, П. Яшвили, И. Рахилло, И. Л. Сельвинский, Н. С. Тихонов. Москва. 1934 г. Фото Б. Кудсярова. Собрание Б. Я. Фрезинского (Ленинград).
6. *С. 197*. Машинопись стихотворения «Умру — вы вспомните газеты шорох...» с правкой И. Г. Эренбурга. Собрание И. И. Эренбург.
7. *С. 225*. Машинопись стихотворения «В самолете» с правкой И. Г. Эренбурга. Собрание И. И. Эренбург.
8. *С. 234—235*. Автограф стихотворения «Мое уходит поколение...». Собрание И. И. Эренбург.
9. *Между стр. 352 и 353*. Слева направо: Б. А. Лавренев, Н. С. Тихонов, В. А. Каверин, И. Г. Эренбург. Декабрь 1940 г. Дом писателей (Ленинград). Фото М. Редькина.
10. *На обороте*. Вручение знамени центурии «Илья Эренбург». Испания, Барселона, казарма им. Карла Маркса. 1936 г. Собрание И. И. Эренбург.
11. *Между с. 384 и 385*. И. Г. Эренбург за письмами. 2 января 1945 г. Москва. Фото Е. Тиханова. Собрание А. Д. Гдалина (Ленинград).
12. *На обороте*. И. Г. Эренбург в Новом Иерусалиме (под Москвой). 1966 г. Собрание Б. Я. Фрезинского (Ленинград).

СОДЕРЖАНИЕ¹

Илья Эренбург — поэт. <i>Вступительная статья С. С. Наровчатова</i>	5
---	---

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. «Так устали согнутые руки...»	39
2. Париж («Тяжелый сумрак дрогнул и, растаяв...»)	40
3. Возврат	41
4. На вокзале	42
5. «Я скажу вам о детстве ушедшем, о маме...»	42
6. «Мне двадцать первый год. Как много!...»	43
7. «Мне никто не скажет за уроком «слушай»...»	43
8. «Как скучно в «одиночке», вечер длинный...»	43
9. «Когда встают туманы злые...»	44
10. «Я помню серый, молчаливый...»	44
11. «Когда в Париже осень злая...»	45
12. «Я знаю: ты глядишь часами...»	45
13. «Как радостна весна родная...»	46
14. «Когда ты с грустью терпеливой...»	46
15. «Если ты к земле приложишь ухо...»	46
16. Год	47
17. Осенью	49
18. Вечером	49
19. России	50
20. «Я бы мог прожить совсем иначе...»	50
21. Сумерки	51
22. Верлен в старости	51
23. О Москве	52
24. О маме	52
25. «Может, можно отойти, вернуться...»	53

¹ Стихотворения, отмеченные знаком *, печатаются впервые.

26—27. Вздохи из чужбины	
1. Плющиха	53
2. Девичье поле	54
28. Как умру	54
29. Франсису Жамму	55
30. «Боже, милый, ласковый...»	55
31. «Если бы ты была козой...»	55
32. «Звезд у бога много...»	56
33. «Полдевятого, пора в школу...»	56
34. «От лампы ровный круг...»	56
35. «Когда вы уйдете навек...»	57
36. «Иногда вспоминаю костры на снегу...»	57
37. «В нежном свете гаснущего газа...»	57
38. «Вечера, тенистые, как пальмы...»	58
39. «Мы плясали с тобой долго...»	58
40. «Ты знаешь, Он не Добрый Пастырь!...»	59
41. До конца	59
*42. «Я сегодня вспомнил о смерти...»	60
*43. «На холму унынье и вереск...»	61
44. О соборе Реймса	61
*45. «Если б сегодня пророк пришел...»	62
*46. «„Атаки отбиты... победа...“»	62
47. Гоголь	63
48. Мои слова	64
49. «Когда еще не совсем стемнело...»	64
*50. «Люблю немецкий старый городок...»	65
51—61. Из цикла «Ручные тени»	
*1. «Каторжница, и в минуты злобы...»	65
*2. «В маленькой клетке щебечет и мечется...»	66
3. «Твои манеры милой тетки...»	66
*4. «Были слоны из кипарисового дерева...»	67
*5. «Ты смеешься весьма миловидно и просто...»	67
*6. «Пляши вокруг жара его волос!...»	68
*7. «Елей как бы придуманного имени...»	68
8. «Ты сидел на низенькой лестнице...»	68
*9. «Собирает кинжалы, богов китайских...»	69
*10. «Люблю твое лицо — оно непристойно и дико...»	70
*11. «Горбится, мелкими шажками бежит...»	70
62. Канун	71
63. Над книгой Вийона	72
64. Двадцать пятого марта	72
*65. «Майское утро, и плачет шарманка...»	73
66. В детской	73
67. Свадьба на площади	74
68. Натюрморт	78
69. В вагоне	79
70. «Слышишь, как воеет волчиха...»	79
*71. Напутствие	79
72. На войну	80
73. «Ни к богатым, ни к косматым...»	81
74. После смерти Шарля Пегги	81
75. На закате	82

76. В августе 1914 года	82
77. P. S.	83
78. В пивной	84
79. Агс	84
80. Летним вечером	85
81. Прогулка	85
82. Отходное	86
83—88.	
1. Прости меня — блудливого	87
2. Прости меня — богохульника	89
3. Прости меня — поэта	91
4. Прости меня — нерадивого	92
5. Прости меня — злобного	94
6. Прости!	95
89. Пугачья кровь	96
90. У окна	97
91. В переулке	98
92. «Утром в Иванов день...»	99
93. «Нет, я не поэт, я или пророк...»	99
94. Прославление земной любви	101
95. «Враги, нет, не враги, просто многие...»	103
96. «Наши внуки будут удивляться...»	104
97. «Я не знаю грядущего мира...»	105
98. Слава труду	106
99. «Не уйти нам от теплой плоти...»	109
100. «Ветер летит и стенает...»	109
101. «Из желтой глины, из праха, из пыли...»	110
102. «Боролись с ветром, ослабли...»	111
103. «Мои стихи не исповедь певца...»	112
104. «Блузник, на лбу твоём пот...»	113
105. Отрывок из ненапечатанной «Оды»	113
106. «Кому предам прозренья этой книги?...»	114
107. «Скрипки, сливки, книжки, дни, недели...»	115
108. «Я не трубач — труба. Дуй, Время!...»	115
109. «Разграбив житницы небес...»	116
110. «Будет день — и станет наше горе...»	117
111. «Тяжелы несжатые поля...»	117
112. «Тело нежное строгаёт стругом...»	118
113. «Громкорыкого хищника...»	119
114. «Уж сердце снизилось, и как!...»	120
115. «Стали сны единой достоверностью...»	120
116. «Ночь была. И на Пинегу падал длинный снег...»	122
117. «Что седина? Я знаю полдень смерти...»	123
118. «Когда замолкнет суесловье...»	123
119. «Не осуди — разумный виноградарь...»	124
120. «Засезжий двор. Ты сердца не щади...»	124
121. «Где солнце как желток, белы потемки...»	125
122. «Остановка. Несколько примет...»	126
123. «Я любил ветер верхних палуб...»	126
124. «Так умирать, чтоб бил озноб огни...»	127
*125. «Не нежен, беженцем на тормоз...»	128
*126. «Не сухостой — живое тело резать...»	128

127.	«Я так любил тебя — до грубых шуток...»	129
128.	«Нет, не забыть тебя, Мадрид...»	130
129.	«Говорит Москва»	130
130.	«Парча румяных жадных богородиц...»	131
131.	«Сердце, это ли твой разгон?...»	131
132.	«Тогда восстала горная порода...»	132
133.	Бой быков	132
134.	«Крепче железа и мудрости глубже...»	133
135.	«Нет, не зеницу ока и не камень...»	133
136.	«Батарейю скрывали оливы...»	134
137.	«„Разведка боем“ — два коротких слова...»	134
138.	В Барселоне	135
139.	У Брунете	136
140.	Русский в Андалузии	136
141.	У Эбро	137
142.	«Горят померанцы, и горы горят...»	138
143.	Гончар в Хаэне	138
144.	«В кастильском нищенском селенье...»	139
145.	«Додумать не дай, оборви, молю, этот голос...»	140
146.	«Молча — короткий привал...»	140
147.	«Сочится зной сквозь крохотные ставни...»	141
148.	«Как восковые, отекли камельн...»	141
149.	Монруж	142
150.	«Не торопясь, внимательный биолог...»	142
151.	«На ладони — карта, с малолетства...»	143
152.	«Сбегают с гор, грозят и плачут...»	143
153.	«Не здесь, на обломках, в походе, в окопе...»	144
154.	«Жилье в горах — как всякое жильё...»	144
155.	«По тихим плитам крепостного плаца...»	145
156.	«Есть перед боем час — всё выжидает...»	145
157.	«Всё простота: стекольные осколки...»	145
158.	«О той надежде, что зову я вещей...»	146
159.	На митинге	147
160.	«Ты тронул ветку, ветка зашумела...»	147
161.	«Бомбы осколок. Расщеплены двери...»	148
162.	Дыхание	148
163.	«Самоубийцею в ущелье...»	149
164.	У приемника («Был скверный день, ни отдыха, ни мира...»)	149
165.	«Я должен вспомнить — это было...»	150
166.	Верность («Верность — прямо дорога без петель...»)	150
167.	В январе 1939	151
168.	После...	151
169.	«Бои забудутся, и вечер щедрый...»	152
170.	«Чем расставанье горше и труднее...»	152
171.	«Пред зрелищем небес, пред мира ширью...»	153
172.	«Когда подымается солнце и птицы стрекочут...»	153
173.	«Ты вспомнил всё. Остыла пыль дороги...»	154
174.	Воздушная тревога	154
*175.	«Рядила нас в путь обиды...»	155
176.	«Мы жили в те воинственные годы...»	155
177.	«Я знаю: будет золотой и долгий...»	156
178.	«В городе брошенных душ и обид...»	156

179.	«Кончен бой. Над горем и над славой...»	157
180.	«Как эти сосны и строенья...»	157
181.	«Где играли тихие дельфины...»	157
182.	«Рта и надбровья смутное строенье...»	158
183.	«Города горят. У тех обид...»	158
184.	Возле Фонтенбло	159
185.	«В лесу деревьев корни сплетены...»	160
186.	«Был бомбой дом как бы шутя расколот...»	160
187.	У приемника («Над крышами Парижа весна не зашумит...»)	160
188—195.	П а р и ж, 1940	
	1. «Умереть и то казалось легче...»	161
	2. «Не для того писал Бальзак...»	161
	3. «Глаза погасли, и холод губ...»	162
	4. «Упали окон вековые веки...»	163
	5. «Номера домов, имена улиц...»	163
	6. «Уходят улицы, узлы, базары...»	163
	7. «Над Парижем грусть. Вечер долгий...»	164
	8. «Как дерево в большие холода...»	164
196.	«Есть в хаосе самом высокий строй...»	165
197.	«Всё за беспмятство отдать готов...»	165
198.	«Та заморская чужая сырость...»	166
*199.	«Замерзшее окно как глаз слепца...»	166
200.	«Крылья выдумав, ушел под землю...»	167
201.	«Бродят Рахили, Хаймы, Лии...»	167
202.	«Белесая, как марля, мгла...»	167
203.	«Не раз в те грозные, большие годы...»	168
204.	Лондон	168
205.	1941	169
206.	«Привели и застрелили у Днепра...»	169
207.	Убей!	170
208.	«Наступали. А мороз был крепкий...»	170
209.	Ненависть	171
210.	«Знакомые дома не те...»	171
211.	«Они накинулись, неистовы...»	172
212.	«Настанет день, скажи — неумолимо...»	172
213.	Моряки Тулона	173
214.	«Большая черная звезда...»	174
215.	«Так ждать, чтоб даже память вымерла...»	175
216.	«Он пригорюнится, притулится...»	175
217.	«Когда закончен бой, присев на камень...»	176
218.	«Нá небо зенитки смотрят зорко...»	176
219.	«С ручной гранатой иль у пушки...»	176
220.	«Когда враждебным небо стало...»	177
221.	«Зайдешь к танкистам, и в чужой землянке...»	177
222.	«Был лютый мороз. Молодые солдаты...»	178
223.	«Бывала в доме, где лежал усопший...»	178
224.	«Я помню — был Париж. Краснели розы...»	179
225.	«По рывинам, средь мусора и пепла...»	180
*226.	«Был дом обжит, надыхан мной...»	180
227.	«В росчерк спички он, глумясь, вложил...»	181

*228. «Всё взорвали. Но гляди — среди щебня...»	181
229. В Белоруссии	181
230. «Было в жизни мало резеды...»	182
231. «Был час один — душа ослабла...»	182
232. «Белеют мазанки. Хотели сжечь их...»	182
233. «Запомни этот ров. Ты всё узнал...»	183
234. «Было в слове «русский» столько доброты...»	183
235. «Скребет себя на пепле Иов...»	183
236. Европа	184
237. «Были липы, люди, купола...»	185
238. «Гляжу на снег, а в голове одно...»	185
239. «Есть время камни собирать...»	185
240. «Слов мы боимся, и всё же прощай...»	186
241. «Ракеты салютов. Чем небо черней...»	186
242. «Мир велик, а перед самой смертью...»	186
243. Бабий Яр	187
244. «В это гетто люди не придут...»	187
245. «За то, что зной полуденный Эсфири...»	188
246. «В окопе или в маленькой землянке...»	188
247. Россия («Когда в пургу ворвутся кони...»)	189
248. «Россия — в слове том не только славы...»	189
*249. «Прости — одна есть рифма к слову «смерть»...»	190
*250. «Я не завидую ни долголетью дуба...»	190
251. «Светлое поле. Вечер был светел...»	190
252. Статуя Афродиты	191
253. «Была трава, как раб, распластана...»	191
254. «Когда я был молод, была уж война...»	192
255. «Я смутно жил и неуверенно...»	192
256. «Ты говоришь, что я замолк...»	192
257. «Чужое горе — оно как овод...»	193
258. «Мне было многое знакомо...»	193
259. «Будет солнце в тот день, или дождь, или снег...»	194
260—261. В феврале 1945	
1. «День придет, и славок громкий хор...»	194
2. «Мне снился мир, и я не мог понять...»	194
262. «За что он погиб? Он тебе не ответит...»	195
263. Ленинград	195
264. «Когда она пришла в наш город...»	196
265—267. 9 мая 1945	
1. «О них когда-то горевал поэт...»	196
2. «Она была в линялой гимнастерке...»	196
3. «Прошу не для себя, для тех...»	198
268. «Умру — вы вспомните газеты шорох...»	198
269. «В печальном парке, где дрожит зола...»	199
270. Французская песня	199
271. «„Во Францию два гренадера...“»	200
272—273. Франция	
1. «Дорога вьется, тянет, тянется...»	200
2. «Читаешь, пишешь, говоришь...»	201
274. «Мне всё мерещится одна...»	201
275. «Тарханы — это не поэма...»	202

276—278. У Р ж е в а	
1. «Трагедия закончена — так пишут...»	203
2. «Могила солдата, а имени нет...»	203
3. «Прохожий, подойди. Лежим в могиле братской...»	204
*279. «Я в море вижу не свободу...»	204
280. «У маленькой речушки на закате...»	205
281. «К вечеру улегся ветер резкий...»	205
282. «Был тихий день обычной осени...»	206
283. «Ошибся — нужно повторить...»	207
284. «Есть надоедливая вдоволь повесть...»	208
285. «Ты помнишь, жаловался Тютчев...»	208
*286. «В их мире замкнутом и спертом...»	209
287. «Я смутно помню шумный перекресток...»	209
288. «Есть в севере чрезмерность, человеку...»	210
289. Дождь в Нагасаки	210
290. Товарищам	211
291. Спутник	212
292. Париж — Токио (<i>Мысли в пути</i>)	213
293. «Был пятый час среди январских сумерек...»	214
294. Верность («Жизнь широка и пестра...»)	214
295. Самый верный	215
296. «Да разве могут дети юга...»	216
297. «Вчера казалась высохшей река...»	216
298. В Греции	217
299. В зоопарке Лондона	218
300. «Про первую любовь писали много...»	219
301. Сердце солдата	219
302. Сосед	220
303. «Мы говорим, когда нам плохо...»	221
304. «Я слышу всё — и горестные шепоты...»	222
305. Над рукописью	222
306. Коровы в Калькутте	223
307. В самолете	224
308. «Морили прежде в розницу...»	226
309. В римском музее	227
310. «Когда зима, берясь за дело...»	228
311. Последняя любовь	229
312. В Копенгагене	229
313. Сонет	230
314—323. Старость	
1. «Всё призрачно, и свет ее неярок...»	230
2. «Молодому кажется, что к старости...»	230
3. «...И уж не золотом по черни...»	231
4. «Устала и рука. Я перешел то поле...»	231
5. «Позабыть на одну минуту...»	232
6. «Пора признать — хоть вой, хоть плачь я...»	232
7. «Из-за деревьев и леса не видно...»	233
8. «Не время года эта осень...»	233
9. «Свет погас...»	233
10. «Мое уходит поколение...»	236
324. «Пять лет описывал не пестрядь быта...»	236
325. Над стихами Вийона	237

326.	Надежда	238
327.	В костеле	238
328.	В театре	239
329.	«Что за дурацкая игра?..»	240
*330.	«Быть может...»	240
*331.	«Однажды черт меня сподобил...»	241
*332.	«Умрет садовник, что сажает семя...»	241

ПОЭМЫ

333.	Повесть о жизни некой Наденьки и о вещих знаменнях, явленных ей	245
334.	О жилете Семена Дрозда	260
335.	Париж	267
336.	Прага говорит	278

ТРАГЕДИЯ

в пяти действиях

337.	Ветер	287
------	-----------------	-----

ПЕРЕВОДЫ

ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ

Народные песни

338.	По дороге, по лоррэнской (XVI век)	357
339.	Рено (XVI век)	358
340.	Возвращение моряка (XVII век)	359
341.	Враки (XVII век)	360
342.	Господин Ля Палисс (XVII век)	361

Франсуа Вийон

343.	Баллада поэтического состязания в Блуа	363
344.	Из «Большого завещания» («Я знаю, что вельможа и бродяга...»)	364
345.	Баллада и молитва	364
346.	Из жалоб прекрасной оружейницы	365
347.	Баллада прекрасной оружейницы девушкам легкого поведения	366
348.	Баллада, в которой Вийон просит у всех пощады	367
349.	Из «Большого завещания» («Я душу смутную мою...»)	368
350.	Баллада истин наизнанку	368

351.	Спор между Вийоном и его душою	369
352.	Рондо	370
353.	Эпитафия, написанная Вийоном для него и его товарищей в ожидании виселицы	371
354.	Баллада примет	371
355.	Из «Большого завещания» («О юности могу грустить я. . .»)	372
356.	Вийон своей подруге	372
357.	Баллада (заключительная)	373
358.	Эпитафия	374
359.	Баллада о дамах былых времен	374
360.	Баллада Вийона к толстой Марго	375
361.	Из «Большого завещания» («Для матери молитва скреп- лена. . .»)	376
362.	Баллада, которую Вийон написал своей матери, чтоб она прославляла богородицу	377
363.	Четверостишие, которое написал Вийон, приговоренный к повешению	378

Ронсар

364.	«Старухой после медленного дня. . .»	378
------	--	-----

Иоахим Дю Белле

365.	«Голубка над кипящими валами. . .»	378
366.	«Уж ночь на небо выгоняла стадо. . .»	379
367.	«Увидев Рим с холмами неживыми. . .»	379
368.	«Повсюду славен, повсеместно чтим. . .»	380
369.	«Пришельца потрясает запустенье. . .»	380
370.	«Я не берусь проникнуть в суть природы. . .»	381
371.	«Льстецы покажут нам искусство лести. . .»	381
372.	«В лесу ягненок блеет — знать. . .»	382
373.	«Служу — я правды от тебя не прячу. . .»	382
374.	«Счастлив, кто, уподобясь Одиссею. . .»	383
375.	«Хочу я верить, а кругом неверье. . .»	383
376.	«Зачем глаза им? Ведь посмотрит кто-то. . .»	384

Поль Верлен

377.	Сентиментальная прогулка	384
378.	Сентиментальный разговор	385
379.	Амур на земле	386
380.	Свет луны туманной.	386
381.	Тень деревьев.	387
382.	Рука печальная ласкает пианино.	387
383.	Сердце тихо плачет.	388
384.	Бедные добрые помыслы.	388

Артюр Рембо

385.	Сон на зиму	389
386.	Les chercheuses de roux	390

Франсис Жамм

387. Полезный календарь	390
388. «Кто-то тащит на убой телят...»	392
389. «Я читал романы, сборники стихов...»	393
390. Молитва, чтобы получить звезду	393
391. Молитва, чтоб войти в рай с ослами	393

ИЗ ИСПАНСКОЙ ПОЭЗИИ

Гонсало из Берсео

392. Явления богородицы, записанные монахом Гонсало из Берсео (Явление седьмое)	395
---	-----

Хуан Руис

393. О наружности протоиерея и о встрече с доньей Гаросой	396
---	-----

Хорхе Манрике

394. На смерть дона Родриго, рыцаря ордена св. Иакова, его отца	398
---	-----

ИЗ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ

Пабло Неруда

395. Объяснение	405
396. Предатели генералы	406
397. Прибытие в Мадрид интернациональной бригады	407

Николас Гильен

398. «Полковники из терракоты...»	409
399. «Чтоб заработать на хлеб...»	409
400. «Они убивают, когда я работаю...»	410
401. Элегия	411
402. Когда я пришел на эту землю	412
403. Венесуэла	413

Примечания	415
----------------------	-----

Алфавитный указатель	455
--------------------------------	-----

К иллюстрациям	468
--------------------------	-----

Илья Григорьевич Эренбург

СТИХОТВОРЕНИЯ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1977,
480 стр. План выпуска 1977 г. № 382

Редактор *Л. С. Гейро*
Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редакторы *В. Г. Комм*
и *М. А. Ульянова*
Корректор *Ф. Н. Аврунина*

ИБ № 784

Сдано в набор 5/IX 1977 г. Подписано к печати 14/XI 1977 г. М 11722. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Печ. л. 15,0+5 вкл. Усл. печ. л. 25,72. Уч.-изд. л. 22,48. Тираж 40 000 экз. Заказ № 875. Цена 2 р. 50 к.

Издательство «Советский писатель»
Ленинградское отделение,
Ленинград, Невский пр., 28.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.

